А. Н. ВУЛЬФ



ДНЕВНИК 1827–1842 ГОДОВ

ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ *и* ВОЕННЫЕ ПОХОДЫ

CORPUS


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дневник А. Н. Вульфа – яркий документ пушкинской эпохи. Читатель найдет на его страницах имена знаменитых деятелей искусства и общественной жизни, ближе познакомится с бытом и культурой русского дворянства 1820–1830-х годов, переживет вместе с автором дневника его военные тяготы и невзгоды. Записи 1828–1829 годов о довоенной жизни Вульфа публикуются без цензурных купюр.

- Алексей Вульф
  - ○
  - ○ “Ученик и последователь” Пушкина
  - ○ Дневник А. Н. Вульфа
    - ■ 1827
      - ■ 10 августа (Тригорское)
      - ■ <Приписка от 8 июня 1828>
      - ■ 16 сентября
    - ■ 1828
      - ■ 10 августа (Петербург)
      - ■ 11 августа
      - ■ 12 августа
      - ■ 13 августа
      - ■ 14 августа
      - ■ 15 августа
      - ■ 16 августа
      - ■ 17 августа
      - ■ 18 августа
      - ■ 19 августа
      - ■ 20 августа
      - ■ 21 августа
      - ■ 22 и 23 августа
      - ■ 24 августа
      - ■ 25–26 августа
      - ■ 27 августа
      - ■ 28 августа
      - ■ 29 августа по 1 сентября
      - ■ 2 и 3 сентября
      - ■ 4–5 сентября
      - ■ 6–8 сентября
      - ■ 9–10 сентября
      - ■ 11–12 сентября
      - ■ 13 сентября

- 14 и 15 сентября
- 14–20 сентября
- 20–26 сентября
- 28 сентября
- 29 сентября
- 30 сентября
- 1 октября
- 2 октября
- 3 октября
- 4 и 5 октября
- 6 октября
- 7 октября
- 8 октября
- 9 октября
- 10 октября
- 11 октября
- 12 октября
- 13 октября
- 14 октября
- 15–17 октября
- 18 октября
- 19 октября
- 20 октября
- 21 октября
- 22 октября
- 23 октября
- 24 октября
- 25 октября
- 26 октября
- 27 октября
- 28 октября
- 29–30 октября
- 30 октября
- 31 октября
- 1 ноября
- 2 ноября
- 3 ноября
- 4 и 5 ноября
- 6 ноября
- 7 ноября
- 8 ноября
- 9 ноября
- 10 ноября
- 11 ноября

- 12 ноября
- 13 ноября
- 14–20 ноября
- 21 ноября
- 22 ноября
- 23 ноября
- 24 ноября
- 25 ноября
- 26 ноября
- 27 ноября
- 28 ноября
- 29 ноября
- 30 ноября
- 1 декабря
- 2 декабря
- 3 декабря
- 4 декабря
- 5 декабря
- 6 декабря
- 7 декабря
- 8 декабря
- 9 декабря
- 10 декабря
- 11 декабря
- 12 декабря
- 13 декабря
- 14 декабря

- 1829
  - 5 января. старица
  - 21 декабря 1829 г. сарыкиой1
  - 29 декабря 1829 г. Сарыкиой
  - 2 января 1830
  - 3 января 1830
  - Монастырище, 7 января 1830
  - 11 января 1830. Монастырище
  - 6 февраля 1830
  - Сарыкиой. 20 февраля 1830
  - 18 августа 1830. Сквира
  - 9 апреля 1829. Дневка в Турче Формозе53
  - 11 апреля. Яссы
  - 15 апреля
  - 19 апреля. Дневка в Фальчи
  - Деревня Ларчи в Бессарабии. 21 апреля
  - Крепость Исакни. 29 апреля

- 5 мая. Лагерь под Карасу
- 13 мая
- 17 августа
- 18 августа
- Лагерь под Шумлой. 20 августа
- 21 августа
- 23 августа
- 24 августа
- 25 августа
- 31 августа
- 2 сентября
- 6 сентября
- 7 сентября
- 18 сентября
- 21 сентября
- 29 сентября
- 2 октября
- 3 октября
- 4 октября
- 9 октября
- 11 октября
- 12 октября
- 14 октября
- 17 октября
- 19 октября
- 20 октября
- Деревня Сарыкиой. 4 ноября
- 5 ноября
- 6 ноября
- 7 ноября
- 8 ноября
- 9 ноября
- 10 ноября
- 11 ноября
- 12 ноября
- 14 ноября
- 15 ноября
- 17 ноября
- 19 ноября
- 20 ноября
- 22 ноября
- 24 ноября
- 25 ноября
- 26 ноября

- 28 ноября
- 29 ноября
- 3 декабря
- 4 декабря
- 5 декабря
- 7 декабря
- 8 декабря
- 9 декабря
- 12 декабря
- 15 декабря
- 17 декабря
- 18 декабря
- 20 декабря
- 23 декабря
- 24 декабря
- 27 декабря
- 28 декабря
- 31 декабря

- 1830
  - 1 января 1830
  - 6 января. Монастырище
  - 7 января
  - 8 января
  - 19 января
  - 23 января
  - 26 января
  - 27 января
  - 3 февраля
  - 5 февраля
  - 6 февраля
  - 9 февраля
  - 10 февраля
  - 13 февраля
  - 15 февраля
  - 19 февраля
  - 21 февраля
  - 27 февраля
  - 1 марта
  - 4 марта
  - 10 марта
  - 13 марта
  - 15 марта
  - 20 марта
  - 23 марта

- 2 апреля
- 15 апреля
- 7 мая
- 28 мая. Бендеры
- 29 мая
- 7 июня. Карантин при Бендерах
- 14 июня
- 28 июня. Херсонская губерния, деревня Шип
- 30 июня. Немецкая колония Bergendorf. Дневка
- 3 июля. Деревня Борщ
- 21 июля
- 29 июля. Сквира
- 16 августа
- 18 августа
- 20 августа
- 21 августа
- 23 августа
- 24 августа
- 25 августа
- 27 августа
- 29 августа
- 1 сентября
- 4 сентября. Деревня Антоновка
- 5 сентября
- 8 сентября
- 16 сентября
- 17 сентября
- 19 сентября
- 20 сентября
- 21 сентября
- 28 сентября
- 2 октября
- 12 октября
- 15 октября
- 17 октября
- 22 октября
- 23 октября
- 25 октября
- 27 октября
- 4 ноября
- 5 ноября
- 6 ноября

- 7 ноября
- 9 ноября
- 10 ноября
- 11 ноября
- 12 ноября
- 14 ноября
- 15 ноября
- 16 ноября
- 17 ноября
- 18 ноября
- 19 ноября
- Антоново, 24 ноября
- 27 ноября
- 28 ноября
- 1 декабря
- 2 декабря
- 3 декабря
- 4 декабря
- 5 декабря
- 6 декабря
- 9 декабря
- 12 декабря
- 14 декабря
- 15 декабря
- 17 декабря
- 18 декабря
- 19 декабря
- 23 декабря
- 30 декабря
- 31 декабря

- 1831
  - Антоново, 4 января
  - Белая Церковь, 6 января
  - 7 января
  - 9 января
  - 10 января. Антоново
  - 12 января
  - 14 января
  - 20 января
  - 21 января
  - 26 января
  - 29 января
  - 30 января
  - 8 февраля. Сквира

- 9 февраля
- 10 февраля
- 15 февраля
- 24 февраля
- 26 февраля
- 27 февраля
- 28 февраля
- 1 марта
- Бердичев. 5 марта
- 12 марта
- 17 марта
- 28 марта. Около Дубно
- 10 мая. Местечко Кашовка
- 12 мая
- 14 мая
- 24 мая. Деревня Шепель около Луцка
- 25 мая
- 26 мая
- 30 мая
- 1 июня. Устилуг
- 3 июня
- 5 июня
- 10 июня. Царство Польское, лагерь при местечке Грубешове
- 24 июня. Устилуг
- 25 июня
- 28 июня
- 21 июля. Бивак под крепостью Замосцской
- 11 августа. Бивак под крепостью Замосцской
- 18 августа

- 1832
  - 9 июня. Варшава
  - 10 июня
  - 12 июня
  - 15 июня
  - 18 (30) июня
  - 19 июня
  - 23 июня
  - 25 июня
  - 26 июня
  - 27 июня
  - 28 июня
  - 3 июля

- 11 августа
- 21 августа
- 23 августа
- 26 августа
- 27 августа
- 1 сентября
- 13 октября
- 16 октября
- 17 октября
- 27 октября

- 1833
  - Город Хелм, 19 февраля (3 марта). Воскресенье
  - 10 часов утра
  - 20 февраля. Понедельник
  - 21 февраля. Вторник
  - 23 февраля. Четверг
  - 24 февраля. Пятница
  - 25 февраля
  - 1 марта. Среда
  - 2 марта
  - 3 марта
  - 8 марта
  - 24 марта
  - 29 марта
  - 23 апреля. Воскресенье
  - 29 апреля
  - 3 (15) мая
  - 5 (17) мая
  - 15 (27) мая
  - 16 (28) мая. Вторник
  - 17 (29) мая. Среда
  - 18 (30) мая
  - 13 июня
  - 15 (27) июня
  - 14 (26) июля…
  - 22 июля (3 августа)
  - 24 июля (5 августа). Понедельник
  - 29 июля (10 августа)
  - 24 августа (5 сентября). Варшава
  - 27 августа (8 сентября). Воскресенье
  - 28 августа (9 сентября)
  - 5 (17) сентября
  - 10 (22) сентября

- 12 (24) сентября
- 13 (25) сентября
- 20 сентября (2 октября). Среда
- 5 (17) октября
- 6 (18) октября
- (12) 24 октября
- 17 (29) октября. Вторник
- 27 октября (8 ноября)
- 20 ноября. Тригорское
- 23 ноября. Четверг

- 1834
  - 18 февраля. Село Малинники
  - 19 февраля. Понедельник
  - 1 апреля
  - 23 августа
  - 4 сентября
  - 3 октября
- 1836
  - 8 декабря
  - 10 декабря
- 1842
  - 9 января. Пятница
  - 6 февраля
  - 21 марта. В Малинниках
  - 19 ноября

○ Приложения
- Памятная книжка А. Н. Вульфа на 1829 год
- Из родословной Вульфов (потомство Ивана Петровича Вульфа)

○ Комментарии
-
- Условные сокращения, принятые в примечаниях
- 1827
- 1828
- 1829
- 1830
- 1831
- 1832
- 1833
- 1834
- 1836
- 1842
- Приложения
  - Памятная книжка А. Н. Вульфа на 1829 год

        - Из родословной Вульфов (Потомство Ивана Петровича Вульфа)
    - Список имен[52]
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37
    - 38
    - 39

- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52

Алексей Вульф
Дневник 1827–1842 годов. Любовные похождения и военные походы

© Строганов М. В., Строганова Е. Н, подготовка текста, вступительная статья, примечания, год публикации, 2016
© ООО “Издательство АСТ”, 2016
© Издательство CORPUS ®

“Ученик и последователь” Пушкина

Русская история богата яркими событиями и личностями. Политические и военные деятели, литераторы и ученые, художники и композиторы – всех не перечислишь. Но вот перед нами человек, не прославившийся ни крупными военными достижениями, ни художественными произведениями, ни научными открытиями. Чем же тогда он интересен для нас?

Мы говорим об Алексее Николаевиче Вульфе, рядовом русском дворянине, помещике, офицере. Специалисты, конечно, помнят о Вульфе и никуда не могут уйти от ссылок на него, потому что это имя встречается в произведениях и письмах Николая Языкова и Александра Пушкина, Антона Дельвига и Петра Плетнева.

Ты поверял мои желанья,
Путеводил моей мечты
Первоначальные созданья,
Мою любовь лелеял ты… —

это строки одного из многочисленных посланий Языкова к Вульфу, которого поэт назвал “мой брат по вольности и хмелю”. Языков с Вульфом учились одновременно в Дерптском университете, и мотив разгульной и беспечной юности звучит в стихотворном послании к Вульфу, написанном Пушкиным в 1824 году:

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой…

Само собой разумеется, что, печатая эти стихи, невозможно обойтись без рассказа о том, кто такой Вульф…

Однако Алексей Николаевич Вульф интересен не только как адресат стихотворных посланий, но и сам по себе – как непосредственный и правдивый рассказчик. Его дневник ценен не только как источник бесценной информации о людях 1820–1830-х годов, но в первую очередь – как увлекательнейший рассказ о самом себе, о своем внутреннем мире и своих житейских злоключениях.

Алексей Вульф родился 17 декабря 1805 года в семье, богатой не столько землями и крестьянами, сколько историческими преданиями. Прадедом его по матери был Максим Дмитриевич Вымдонский, как писалась эта фамилия в XVIII веке, в XIX стала она писаться несколько иначе: Вындомский. Максим Вымдонский выполнял секретнейшее поручение императрицы Елизаветы Петровны. В течение 1739–1753 годов он охранял свергнутую с престола Анну Леопольдовну и ее семью, а позднее, до 1762 года, уже в качестве коменданта Шлиссельбургской крепости, – ее сына Иоанна Антоновича, который представлял угрозу для всех, кто занимал русский престол до его смерти. За эту-то службу Максим Вымдонский и был награжден землями в Псковском уезде, в числе которых было знаменитое ныне Тригорское.[1] По материнской же линии Алексей Вульф был родственником декабристов Сергея, Матвея и Ипполита Ивановичей Муравьевых-Апостолов, князя Евгения Петровича Оболенского и Сергея Николаевича Кашкина.[2]

О предках Вульфа с отцовской стороны известно, что земли в нынешнем Старицком (и частично Торжокском) районе прадед его бригадир Петр Гаврилович Вульф получил в 1726 году от казны за столь незначительную плату, что это заставляет предполагать какие-то особые, неизвестные нам, заслуги. В числе этих земель – входящие в Пушкинское кольцо Верхневолжья Берново и Малинники.[3] Мы мало знаем о Петре Гавриловиче Вульфе, зато сын его Иван известен не только как орловский губернатор, сенатор, чиновный человек, но и как талантливый архитектор, построивший несколько крепостей, Мариинскую и Тихвинскую водные системы.[4] Иван Петрович был женат на Анне Федоровне Муравьевой, двоюродной сестре известного писателя, историка и педагога Михаила Никитича Муравьева, много помогавшего своим родным и описавшего Берново в целом ряде своих произведений. После смерти Муравьева его вдова Екатерина Федоровна гостила в Бернове зимой 1811 года с двумя сыновьями – Никитой и Александром, будущими декабристами.[5] Через Анну Федоровну, родную тетку В. А. Бакуниной, Вульфы состояли в родстве с прямухинскими Бакуниными.[6]

Судьбы семей Вульфов и Вымдонских очень сходны между собой: непременная государственная служба и быстрое упрочение материального состояния. Такова, впрочем, участь многих дворянских фамилий в России XVIII века. Обычна и дальнейшая их судьба: дробление имений между детьми и постепенное разорение к середине XIX века.[7]

Рано умерший отец Алексея Николаевича – Николай

Иванович Вульф – не оставил по себе ярких воспоминаний,[8] хотя его племянница А. П. Маркова-Виноградская (Керн) пишет о нем тепло и проникновенно. Мать же Алексея Вульфа знаменита в русской культуре. Это та самая Прасковья Александровна Осипова, которой посвящены пушкинские “Подражания Корану” и другие стихи. Это та самая Осипова, которой надписывал свои “Северные цветы” Дельвиг, с которой оплакивал Пушкина над его свежей могилой Александр Иванович Тургенев. О Прасковье Александровне сохранилось множество документов и преданий. Воспоминания современников не всегда лестные, часто просто пристрастные, рисуют образ женщины энергичной и сильной, подчас сумасбродной, подчас беззащитной, но, по-видимому, очень обаятельной и умной.

Прасковья Александровна рано потеряла первого мужа, Николая Вульфа, и в 1817 году вышла замуж вторично – за Ивана Сафоновича Осипова. Однако и он вскоре умер, оставив вдову с большой семьей: пятеро детей от первого брака, двое – от второго, да еще падчерица Александра – дочь Осипова от первого брака. Детей (из них пять девиц) надо было воспитывать, содержать, дочерей пристраивать замуж. Кроме того, Прасковья Александровна совершила прямо-таки редкостный по самоотверженности поступок, о чем вспоминает ее племянница А. П. Маркова-Виноградская. Родная сестра Прасковьи Александровны Елизавета, “увлеченная сердцем, вышла против желания отца за Ганнибала <…> бежала из дома родительского. Отец ее не мог простить и лишил наследства, отдав всё Прасковье Александровне, тогда Вульф; после смерти отца Прасковья Александровна разделила имение (состоявшее из 1200 душ) на две равные части и поделилась им с сестрой. Скажите: многие ли бы это сделали? У Прасковьи Александровны тогда было пятеро детей, у той – только двое. Я лично этому не удивляюсь, но жизненный опыт мне доказал, что многие могут удивляться”.[9]

Алексей, старший сын Прасковьи Александровны, определился раньше других. Еще в детстве его записали в Пажеский корпус, но впоследствии решили дать профессиональное военное образование. В течение некоторого времени: с 1818 по 1819 год – он обучается в пансионе Горного кадетского корпуса, а потом переезжает в Дерпт, где после предварительного изучения немецкого языка в 1822 году поступает в университет и обучается на экономическом отделении философского факультета на кафедре военных наук.[10] Военная стезя – весьма обычный выбор для русского дворянина.

Студенческая жизнь в Дерпте нам известна по стихам

Николая Языкова, университетского приятеля Вульфа. И хотя, как это обычно бывает в стихах, здесь много преувеличений, многие детали быта воссозданы в них совершенно точно: сам Вульф также постоянно вспоминает пирушки и гульбу молодых людей.

Однако была и другая сторона этой студенческой жизни. 4 февраля 1823 года “7 благородных пламенных юношей”: Г. Г. Франциус (инициатор), Н. С. Кошкуль, Х. И. Лейтганг, А. фон Рам, а также, видимо, Р. Ф. Байер и Г. А. Вессельс основали студенческий “союз семи”, в который входил и Вульф (см. запись от 19 февраля 1833 года). Этот союз был основан на убеждении, что “важное и высокое назначение жизни” заключается в “стремлении к усовершенствованию умственному и душевному”. Сведения об этом союзе ограничиваются записями в дневнике Вульфа, на основании которых можно легко представить себе, что в обстановке заседаний и в символике, которой увлекались дерптские студенты, отражалась столь распространенная в это время, но уже находившаяся под запретом масонская идеология. А в самом тоне повествования Вульфа об этом союзе звучат ноты декабристские и потому тоже запретные: служение “Богу, Отечеству, Свободе и Чести” (запись от 5 февраля 1830 года). В России того времени тайные общества были запрещены, и под этот запрет подпадали все официально не зарегистрированные молодежные общества. Поэтому можно только удивляться, как в студенческом Дерпте, далеком от политических волнений и страстей, семеро молодых людей осмеливались думать о чем-то подобном. Следует заметить также, что шестеро участников союза были остзейскими немцами, и только один Вульф происходил из российского дворянского рода, а его ближайший друг Языков в этот союз не входил. Это выглядело бы на самом деле странно, если не учитывать, что Вульфы изначально были выходцами из Лифляндии и две ветви Вульфов внесены в родословные книги лифляндского дворянства.

Итак, студенческий разгул и политический (пускай очень умеренный) либерализм – вот диапазон жизни Вульфа в эти годы. Впрочем, был у Вульфа еще один источник энергии – Тригорское, дом. Старицкое поместье после смерти Николая Ивановича и во время вторичного замужества Прасковьи Александровны семья посещала, видимо, редко. Гораздо чаще приезжали в наследственное имение матери в Псковской губернии.

А рядом с Тригорским находилось Михайловское, где с 1824 года жил ссыльный Пушкин. Семьи Осиповых-Вульфов и Пушкиных состояли в довольно близком свойстве: их породнила тетка Алексея Вульфа Елизавета Александровна, та самая, которая против воли отца вышла замуж за Якова Исааковича

Ганнибала, двоюродного брата Надежды Осиповны Пушкиной.[11] На протяжении долгого времени между Пушкиными и семьей Прасковьи Александровны существовали доверительно-интимные отношения. В 1829 году родители Пушкина жили не в своей усадьбе, которая в это время перестраивалась, а в Тригорском. Впоследствии двое Пушкиных – овдовевший Сергей Львович и его сын Лев Сергеевич – наперебой ухаживали за Марией Ивановной Осиповой, дочерью Прасковьи Александровны от второго брака…[12]

Пушкин познакомился с Вульфом, возможно, еще в 1810-е годы, после выхода из Лицея, в Петербурге или Михайловском. Но в то время разница в возрасте между двенадцатилетним мальчиком и восемнадцатилетним юношей препятствовала сближению. В середине же 1820-х годов разница в возрасте стирается, и они сближаются. 21 июля 1825 года Пушкин пишет Анне Николаевне, сестре Алексея:

> …вчера мы с Алексеем проговорили 4 часа подряд. Никогда еще не было у нас такого продолжительного разговора. Угадайте, что нас вдруг так сблизило. Скука? Сродство чувства? Не знаю.[13]

Сближение действительно было вызвано внешними причинами: все дамы, привычно составлявшие круг пушкинского общения и близкие ему по возрасту, уехали, Алексей оставался самым старшим в Тригорском, более общаться было просто не с кем. Но неверно думать, что между Вульфом и Пушкиным не могла возникнуть взаимная заинтересованность.[14] Хотя житейский их опыт был различен – Пушкину шел уже двадцать седьмой год, а Вульфу не исполнилось еще и двадцати, познакомившись ближе, они не могли не оценить друг друга. Пушкину нравились искренность и доверчивость Вульфа, его откровенность и желание помочь. С Вульфом Пушкин, как известно, разрабатывал план своего побега за границу, в котором самому Вульфу отводилась довольно рискованная роль, потому что именно он должен был вывезти за границу Пушкина под видом своего крепостного слуги.[15] Вульф ценил Пушкина как старшего товарища, которому во всем стремился подражать. Впрочем, если учесть, что летом 1825 года Вульф приезжал домой, чтобы лечиться после ранения, полученного на дуэли, должно согласиться с предположением, что и Вульф мог вызывать искренний интерес у Пушкина.[16]

Конечно, пушкинский кругозор, опытность, тонкость обхождения были очень привлекательны. Огромный запас знаний и человеческая зрелость, дающая умение разбираться в людях и

верно обходиться с ними, – слагаемые пушкинского гения. Вульф же, как и многие другие современники Пушкина, смог понять это далеко не сразу. Когда Пушкин был жив, ходил рядом по Михайловскому, Тригорскому, Старице, Петербургу, он казался Вульфу обычным человеком, хотя и талантливым поэтом. Таково, очевидно, общее свойство человеческого зрения.

Все разнообразные и привлекательные свойства Пушкина сфокусировались для Вульфа в одной сфере, которая его самого в силу возраста занимала больше всего, – в сфере любви. Здесь, полагал Вульф, с Пушкиным соперничать легче: стихи писать он не умел, романы сочинять тоже, но для того, чтобы строить любовные романы, особой гениальности не надо, в этом, казалось, любой мужчина может поспорить с Пушкиным. Вульф, естественно, ошибался, и весь его дневник служит опровержением этой гипотезы.

Летом 1825 года в Михайловском и Тригорском у Пушкина начался пока еще вполне невинный роман с А. П. Керн, первая глава которого завершилась созданием знаменитого стихотворения “Я помню чудное мгновенье…”. Узнав об этом романе в Риге, куда А. П. Керн приехала сразу же после получения от Пушкина стихотворения, Вульф начинает со своей кузиной вполне земной роман,[17] продолжавшийся вплоть до 1828 года. Никаких стихов роман Вульфа, разумеется, не оставил, свидетельства о нем сохранились лишь в его дневнике.

Пушкинская “наука страсти нежной” становится в жизни Вульфа слишком головной, слишком рассудочной. У Пушкина характерно сталкиваются два понятия: “страсть” и “наука”, чувство и разум. Уже в четвертой главе “Евгения Онегина”, написанной в октябре 1824-го – январе 1826 года, Пушкин говорил:

> Разврат, бывало, хладнокровный
> Наукой славился любовной,
> Сам о себе везде трубя
> И наслаждаясь не любя.
> Но эта важная забава
> Достойна старых обезьян
> Хваленых дедовских времян:
> Ловласов обветшала слава
> Со славой красных каблуков
> И величавых париков.

Вульф, который хорошо знал тексты Пушкина и любил цитировать их в своем дневнике, ни разу не вспоминает эту

строфу. Она кажется написанной прямо про него, и он не хочет увидеть себя в этом точном и почти зеркальном изображении.

Вряд ли Вульф когда-нибудь хоть кого-то любил. Он и сам говорил, что стремится только влюблять в себя и что страсти как таковой сам он никогда не был подвержен. Вульф слишком любит себя, чтобы отдаться страсти, потому и любовь для него становится не чувством, а наукой.[18] Вульф пишет о Пушкине: "…женщин он знает как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного" (запись от 23 февраля 1830 года). Пушкин для Вульфа – это Мефистофель, который учит и наставляет его, Фауста, в науке любви. Конечно, Пушкин никакой "науки" не сочинял, но в разговорах о женщинах он преподал своему ученику своеобразные уроки любовной игры. Однако у Вульфа игра заменила настоящую жизнь сердца…

Важный принцип этой игры – постепенность в деле любви. Здесь нужно идти за этапом этап. Но постепенность давалась Вульфу с большим трудом:

> Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я первые дни был застенчив с нею и волочился, как 16-летний юноша. Я никак не умел (как и теперь) постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность (запись от 19 ноября 1829 года о событиях 1827-го).

Но и в 1830 году, планируя еще один роман, Вульф снова ставит перед собой те же задачи:

> Молодую красавицу трактира вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля, надо ее воображение занять сладострастными картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, который им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется всё пошлым и вялым после языка чувственности. Для опыта я хочу посмотреть, успею ли я просветить ее, способен ли я к этому. – Надо начать с рассказа ей любовных моих похождений (*запись от 14 ноября 1830 года*).

Однако Вульф не только пользуется советами своего Мефистофеля, но и сам ставит опыты, делает собственные наблюдения и выводы.

> Вальсирую <!> с одною роскошною, хорошо сотворенною и молодою вдовою, которая и лицом не дурна, я заметил, что в это время можно сильно действовать на чувственность женщины, устремляя на нее свою волю. Она в невольное пришла смятение, когда, мерно, сладострастно вертяся, я глядел на нее, как бы глазами желая перелить негу моих чувств: я буду делать опыты, особенно с женщинами горячего темперамента (*запись от 4 декабря 1828 года*).

Любовные опыты наполняют дневник. Они затмевают сведения о литературной жизни Петербурга, столь интересной знакомствами. Они затмевают бурные и важные политические события. Кажется, одна любовь на уме у Вульфа. И именно это делает дневник его документом необычайной ценности. О политических событиях мы узнаем из реляций, которые посылают генералы, о литературных событиях рассказывают сами писатели. Вульф же знакомит нас с любовным этикетом пушкинской эпохи. Поэтому его дневник уникален как единственный в своем роде документ этого времени.

Вульф начал вести свой дневник в Тригорском 10 августа 1827 года не в форме поденных записок, а как связное повествование о себе и о своих предках. Чтобы понять смысл такой повествовательной формы, следует вспомнить, что в это время в Михайловском живет Пушкин. Пушкин же любил воспоминания и придавал им огромное значение, под его влиянием свои записки о прошлом начали писать М. С. Щепкин и П. В. Нащокин. Поэтому легко предположить, что именно он подсказал Вульфу идею писать дневник. Те страницы дневника 1827 года, которые нам известны, – это отклик на пушкинские мысли о воспитании дворянства, о его социальной роли в жизни России.

Но Пушкин уехал из Михайловского, и дневник прервался. Вульф вновь обращается к нему через год, уже живя в Петербурге, – в августе 1828-го. Пушкин в это время тоже живет в Петербурге. 1 июля 1828 года он пишет М. П. Погодину: “На днях читал я стихи Языкова, где говорит он о своих стихах

> Что ж? в Белокаменную с Богом,
> В Моск. [овский] Вестн. [ик]. – Трудно, брат,
> Он выступает в чине строгом,
> Разборчив, строг, Аристократ
> Так и приязнь ему не в лад
> Со мной, Парнасским Демагогом.
> Ну, в Афиней. – Что Афиней?

Журнал казенно-философский,
Отступник Пушкина, злодей,
Благонамеренный Московский”.[19]

Это стихи из языковского послания “А. Н. Вульфу” (“Не называй меня поэтом…”), которое поэт прислал Вульфу в письме от 7 июня 1828 года.[20] Видимо, Вульф поспешил познакомить с этими стихами Пушкина, тем более что в них речь идет и о нем. Значит, Вульф и Пушкин продолжают общаться, и, возможно, в их беседах возникают разговоры о начатом в прошлом году дневнике. Дневник возрождается, хотя встреча с Пушкиным в нем не отмечена.

И теперь, с 1828 года, Вульф регулярно ведет дневник. Даже если обстоятельства мешают ему делать записи систематически, он впоследствии стремится восстановить события, пользуясь памятью и записной книжкой. Ведение дневника стало привычкой на долгие годы.

Мы не будем пересказывать дневник – он перед вами. Рас скажем только о том, что осталось за его пределами.

В течение 1835–1836 годов Вульф не ведет дневник. Но он все это время встречается с Пушкиным, особенно часто – в 1836 году. Как недавно стало известно, Вульф вместе с Пушкиным 8 апреля 1836 года выехал из Петербурга, когда поэт вез хоронить свою мать Надежду Осиповну в Святогорский монастырь.[21] Во время этой поездки с 11 по 13 апреля они провели в Голубове, имении Б. А. Вревского, мужа сестры Вульфа Евпраксии, а 14 апреля Пушкин вместе с Вревским возвратился в Петербург.[22] Таким образом, Вульф сопровождал Пушкина, помогая ему в трудную минуту. Это была их последняя встреча. Впоследствии Вульф вспоминал: “Поехал [из Голубова] в Тверь в 1836, а он в СПб., я уж Пушкина не видал. – Я был в Москве, когда извест[но стало] о † Пушкина”.[23]

15 июня 1836 года, возвратившись в свои Малинники, Вульф пишет Е. Н. Вревской:

> …про Пушкина ничего не слыхал я: вероятно, и в Москве история эта ничем не кончилась; в противном случае молва всё случившееся давно бы разнесла по лицу земли. – Однако он еще не проезжал обратно в Петербург. Я тоже не ожидаю большого успеха его журналу, а это жаль, потому что он ведь человек женатый.[24]

Речь идет в этом письме о намечавшейся дуэли Пушкина с В.

А. Соллогубом, которая должна была произойти в Твери, где противники не встретились и где Вульф, видимо, должен был выступить секундантом,[25] потом в Москве, где благодаря вмешательству П. В. Нащокина противники помирились.[26] Журнал, о котором Вульф ведет речь, – это пушкинский “Современник”.

Вульф находится, таким образом, в курсе всех пушкинских дел. Да и Пушкин – со своей стороны – также небезучастен к Вульфу. Мы не знаем их переписки за эти последние годы, но у нас есть все основания предположить, что отношение Пушкина к Вульфу изменилось. Прежде оно было несколько снисходительным и покровительственным. Пушкин понимал, что интересует Вульфа, и в письмах к нему говорил лишь о своих и Вульфовых любовных “похождениях”. Судя по всему, во второй половине 1830-х годов разговоры их уже не сводились только к любовным похождениям.

Дневник Вульфа этого времени свидетельствует о том, что Пушкин был для него не только наставником в науке любви. Все этапы создания дневника связаны с Пушкиным: он был начат под его влиянием и продолжался в систематическом общении Вульфа с Пушкиным. Вульфовский дневник живет, так сказать, мыслью о Пушкине, как, впрочем, и вся эпоха 1820–1830-х годов.

Мы не знаем полного содержания дневника Вульфа за 1832–1842 годы: первый публикатор, Л. Н. Майков, напечатал только фрагменты, а где находится теперь эта рукопись, неизвестно. И вероятно, что Л. Н. Майков намеренно выбрал для своей публикации в качестве последней записи дневника ту, которая посвящена Пушкину. Но теперь для нас она на самом деле завершает текст дневника и звучит весьма знаменательно:

> Тут опять вспомнишь приятеля нашего Александра Сергеевича, который то же говорил в свое время:
>
> Мне не к лицу и не по летам…
>
> и т. д.
>
> Как верно он передавал ощущения наши, своих почти современников, или, сказать вернее, нас, его учеников и последователей!

Так после смерти Пушкина в сознании Вульфа установилась новая иерархия ценностей. В центре всей культурной жизни стоит теперь Пушкин. Не только Пушкин, который дал язык любовных страстей. Но и Пушкин, который научил говорить о предметах

метафизических. Пушкин, который острой солью приправлял дружескую беседу. Вульф никуда не мог уйти от Пушкина, да и не хотел.

Как писателю, который только начал вести дневник, ему было мучительно трудно. Слов на русском для обозначения самых простых, с нашей точки зрения, понятий не существовало. Вульф потому очень часто пишет слово по-русски, а потом дает в скобках французский или немецкий эквивалент, как бы поясняющий, что он хотел сказать. Дневник Вульфа – это не писание “как попало”: Вульф ищет слова наиболее точные, наиболее верные. 30 сентября 1828 года, рассказывая об одном военном эпизоде, Вульф сначала хотел было сказать: “…откинув посторонние причины, придающие нам, как русским…” Но это показалось ему неясным, он зачеркнул фразу и заменил ее: “… откинув постороннюю занимательность сего происшествия, для нас, как русских, оно весьма важно само по себе…”

Эти поиски точного слова вдохновлены были мыслью Пушкина о важности записок как живого источника знаний о прошлом для будущих поколений. Под влиянием Пушкина Вульф осуществляет свой человеческий (исторический?) долг. Потому-то он и восстанавливает историю рода Вульфов и Вындомских, возвращаясь к этому неоднократно. Потому, отбрасывая стыдливость, свидетельствует о самых интимных сторонах жизни своей и чужой. Потому он наблюдает и фиксирует события литературные, военные и политические.

Работая над словом, Вульф преследовал и чисто практическую цель: поначалу он помышлял о профессиональных занятиях литературным трудом – это тоже было стимулом для внимательного отношения к слову. В его время литературные упражнения были таким же обязательным занятием для дворянина, как музицирование или рисование. У одних, правда, это оставалось домашним делом, другие становились профессионалами. Вульфа можно назвать профессиональным свидетелем бытовой стороны жизни.

Другое дело – всегда ли эти свидетельства ему удавались. Вульф может, например, написать так: “У ней видно было расслабление во всех движениях, которую ее почитатели назвали бы прелестною томностью…” Или: “25 вечером я простил с матерью и с нею, поехавшим вместе отсюда”. Не по-русски? Не по-русски! Но когда нормы литературного языка еще не выработаны, говорить по-русски нелегко: “Петр Маркович у меня остановился; к нему сегодня приходила Анна Петровна, но, не застав его дома, мы были одни”.

Языковые “недочеты” Вульфа мы решили не исправлять: как

уж он писал, так и читать будем. И лучше и яснее поймем ход его мысли, движение его слова, которое нельзя передать в приглаженном и отредактированном виде. Зато на этом фоне гораздо ярче предстанет та последняя фраза, которой Л. Н. Майков завершил публикацию дневника: “Как верно он передавал ощущения наши, своих почти современников, или, сказать вернее, нас, его учеников и последователей!” Едва ли кто из современников Вульфа столь просто и столь ясно сформулировал отношения Пушкина и всего его окружения, понимавшего и не понимавшего его, разделявшего его взгляды и сопротивлявшегося его влиянию. За эту формулу Вульфу можно простить многие недочеты.

Итак, последние записи дневника относятся к 1842 году. А умер Вульф 17 апреля 1881 года. Вел ли он дневник после 1842-го – неизвестно. Однако кое-что об этих сорока годах его жизни мы можем восстановить по переписке, деловым бумагам и по воспоминаниям пушкинистов, которые уже с середины века стали собирать сведения об окружении поэта.

> Последние 40 лет жизни А. Н. Вульфа, – сообщает М. Л. Гофман, – прошли очень однообразно в заботах о хозяйстве, в удовлетворении своей чувственности и в непомерной скупости, доходившей до того, что он питался одною рыбою, пойманной им самим в речке. До сих пор местные крестьяне сохраняют память о строгом и скупом барине-кулаке, рассказы же тверских помещиков о гаремных идеалах А. Н. Вульфа находят себе и документальные подтверждения.[27]

Вульф так никогда и не женился, хотя время от времени помышлял о преимуществах семейной жизни. Но он слишком любил себя самого, чтобы возложить на свои плечи заботы о других людях. Среди его записей за 1833 год есть рассуждение о том, что он мог бы жить с женщиной только без брачных обязательств, чтобы ничто не связывало его и он оставался свободным.

И здесь самое время обратить внимание на два портрета. На акварельном портрете работы А. И. Григорьева (1828) изображен двадцатитрехлетний Алексей Николаевич. А на портрете работы Т. Плотникова (1843) представлен его дядя шестидесятисемилетний Иван Иванович Вульф.[28] Оба они – и престарелый дядя, и молодой племянник – изображены в халатах. Вообще говоря, с халатом в русской культуре этого времени не все так просто. П. А. Вяземский в 1817-м написал, а в 1821 году опубликовал стихотворение “Прощание с халатом”. В нем он

говорил о своих чувствах перед вступлением на государственную службу и прощался с независимой дворянской жизнью:

…В гостиной я невольник,
В углу своем себе я господин,
Свой меря рост не на чужой аршин.
Как жалкий раб, платящий дань злодею,
И день и ночь, в неволе изнурясь,
Вкушает рай, от уз освободясь,
Так, сдернув с плеч гостиную ливрею
И с ней ярмо взыскательной тщеты,
Я оживал, когда, одет халатом,
Мирился вновь с покинутым Пенатом;
С тобой меня чуждались суеты,
Ласкали сны и нянчили мечты.[29]

Халат, таким образом, олицетворял вольную и беспечную, достаточную и самодостаточную дворянскую жизнь. Написанные в разное время разными художниками портреты Алексея и Ивана Вульфов отражают не просто сходство племянника и дяди, но родовые черты русского дворянства: любовь к покою и комфорту, барскую леность и барские замашки. В стихах Вяземского пристрастием к халату оправдывались политический нонконформизм и поэтические занятия. На портрете Ивана Ивановича пристрастие к халату объясняется возрастом. На портрете Алексея Вульфа халат означал независимое положение после выхода из Дерптского университета и перед вступлением на службу в Департамент государственных имуществ.

Думал ли Алексей Вульф, когда с заметным осуждением писал в 1829 году о том, что Иван Иванович завел себе гарем из крепостных девок и утратил потребности в духовной жизни, – думал ли он о том, что сам повторит путь своего дядюшки? Но повторил, поскольку сохранились свидетельства о том, что Вульф развращал крестьянских девочек-подростков.[30]

Фамильное сходство проявилось и в отношениях племянника и дяди к крестьянам. Известно, что в 1827 году крестьяне села Берново оказали неповиновение своему барину И. И. Вульфу, и помещик просил губернское начальство о присылке воинской команды, которая и прибыла в Берново для усмирения крестьян.[31] Аналогичная история произошла и с Алексеем Николаевичем.

В свое время Вульф жаловался на скупость матери,[32] из-за этого у них даже был конфликт, о котором А. П. Маркова-Полторацкая писала: “…они оба зашли очень далеко, – и мое заочное влияние было бессильно при других <…>

недоброжелательных”.[33] С годами он сам стал скуп. В Старицком уезде ему принадлежали деревни Малинники, Негодяиха, Копылово, Бибиково и сельцо Нивы. Как тверской помещик Вульф имел право быть избранным на различные дворянские должности в губернии. Уже в 1836 году он баллотировался и был избран на должность непременного члена губернской комиссии народного продовольствия (см. запись от 8 декабря 1836 года). В 1858-м Вульф избирается членом Тверского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян и занимает в нем довольно прогрессивную позицию. Но когда была объявлена реформа 1861 года, Вульф пришел в недоумение: крестьяне отказались от изнурительной барщины! В этой ситуации он адресует в губернское правление письмо за письмом с просьбами прислать к нему в имение военную экзекуцию, чтобы устрашить крестьян и принудить их выполнять барщину. 29 декабря 1861 года губернское правление постановило послать в имение Вульфа воинскую команду для усмирения крестьян. Но исполнявший в то время обязанности губернатора “тверской вице-Робеспьер” М. Е. Салтыков не утвердил это решение:

> 2 января 1862 г. Сочтя неудобным и преждевременным назначить, согласно предположению старицкого земского исправника, военную экзекуцию в имение г. Вульфа, я предложил вместе с сим г. советнику губернского правления Львову отправиться на место и произвести о беспорядках, возникших в сем имении, формальное (т. е. по всей форме. – *Ре д.*) следствие, приняв вместе с тем меры к водворению между крестьянами спокойствия.[34]

В этот же день М. Е. Салтыков отдал распоряжение Д. С. Львову и о характере расследования:

> Считаю не лишним обратить ваше внимание вообще на положение имения г. Вульфа, и если по дознанию вашему окажется, что крестьяне действительно отягощены повинностями, то об оказавшемся прошу вас донести г. начальнику губернии со всею подробностью и откровенностью.[35]

Д. С. Львов признал, что барщина у Вульфа действительно отяготительна. Но М. Е. Салтыков к этому времени был уже в отставке, и губернское правление, защищая интересы помещика, хотя и не решилось выслать военную экзекуцию в поместья Вульфа (времена уже были не те), но признало доклад Д. С.

Львова “не основательным”. Сам же Вульф жаловался в Сенат на “бездействие местных властей”,[36] и после долгого рассмотрения Сенат своим определением от 18 апреля 1864 года решил взыскивать с крестьян в пользу помещика по 12 рублей с тягла за невыполнение работ в марте—апреле 1861 года.[37] Совершенно очевидно, что рассуждать о правах других людей и участвовать в реализации этих прав – вещи совершенно различные. Вульф, подобно многим своим современникам, оказался неподготовленным к тому, чтобы поступаться своими сословными правами.

И в этом отношении он был самым обычным, самым рядовым человеком. И как каждый рядовой человек, он осознавал жизнь только тогда отчетливо и полно, когда она была предварительно пропущена через фильтры литературы. Не освоенной литературой жизни он как бы просто не замечал и не умел о ней говорить. Может быть, это и объясняет тот факт, что в дневнике мы находим массу цитат и реминисценций. Правда, круг цитируемых авторов невелик, но зато частотность цитат исключительно высока. Вульф смотрит на жизнь во многом глазами современной литературы. И если она научилась говорить о любви, то и Вульф много и точно об этом говорит. Если же какие-то явления жизни еще не освоены литературой (например, смерть), то и Вульф свои впечатления от картин смерти еще не умеет передавать.

Такая зависимость массового сознания от художественных открытий эпохи – вполне обычное дело, и мы можем найти ее не только в дневнике Вульфа, хотя здесь она проявилась со всей очевидностью и полнотой. Но, понимая ординарный характер дневника Вульфа, мы должны с еще большим вниманием прочесть его: ведь мы встречаемся здесь не только с художественной элитой и интеллектуальными вершинами, но и с обычными людьми в их повседневной жизни. Мы узнаем, как жили поместные дворяне первой половины XIX века, дворяне, у которых плохо шли дела на гражданской и военной службе, у которых не ладилось хозяйство, у которых не хватало денег, чтобы жить по столицам, и потому они были вынуждены проводить скучные дни в своих старицких и опочецких имениях. Разумеется, перед нами не такие уж “темные” и незамысловатые скотинины XIX века, это не коробочки и ноздревы Гоголя: им свойственны духовные запросы и сложная душевная жизнь. В среде этих тверских дворян яркой звездой мелькнул Пушкин, навсегда осветив их будничную жизнь, заронив в сердца любовь, оставив их имена литературе.

Дневник Вульфа тем и интересен, что с его страниц на нас смотрит рядовой-не-рядовой человек, который вроде бы и как все,

“негений”, и который тем не менее шагнул чуть дальше других “негениев”, сумев выразить их ощущения и жизнь. И признаем, что это всегда будет интересовать и привлекать к себе читателей.

Е. Строганова, М. Строганов

Дневник А. Н. Вульфа
1827–1842

1827

10 августа (Тригорское)

Я родился 17-го декабря 1805 года.

Мой отец Николай Иванович Вульф, отставленный коллежским асессором, жил по обычаю большей части русских дворян у отца своего Ивана Петровича Вульфа в тверской деревне[1], не имея никакого постоянного занятия. Потеряв его очень рано (в 1813 году), я мало об нем помню, но сколько слышал, все знавшие его любили в нем человека с редкою добротою сердца и с тою любезностью в обращении, которая привлекала всех к нему; чувствительность его души видна была в нежной привязанности к своему семейству: он был равно почтительным сыном, как и нежным братом; любя своих детей, он был и добрым супругом[2]. Я всегда буду жалеть, что лишился его в тех летах, когда еще не мог ни узнать, ни оценить его. Знакомый в лучшем кругу тогдашнего общества обеих столиц, он имел и образование, общее нашему высокому дворянству того времени, то есть он знал французский язык, следственно, всё, что на нем хорошего было написано. Я сам помню его декламирующего трагедии Расина. Вот всё, что я знаю об моем отце.

Мать моя была дочерью Александра Максимовича Вындомского, человека с умом и образованностью, приобретенною им самим собою. Имев большое состояние, долго он был в большом свете, но наконец удалился и жил в своей деревне в Псковской губернии, где, занимаясь разными проектами, потерял он большую часть своего состояния. У него-то провел я первые лета моего детства; он меня очень любил, и естественно, ибо я был старшим сыном его единственной дочери (он имел еще одну дочь, вышедшую замуж за Ганнибала против его воли; она вскоре умерла, оставив одну дочь и сына); к тому же он мне хотел дать отличное воспитание совершенно в своем роде, не такое, как вообще у нас в России тогда давали. У меня не было ни мадамы-француженки, ни немца-дядьки, но зато приходский священник заставлял меня еще шести лет твердить: mensa, mensae, etc.[3]. Кажется, что если бы мой дед долее жил, то бы из меня вышло что-нибудь дельное. Но оставим возможности и будем благодарить судьбу за настоящее. Роковой 813-й год похитил и его!

Положение моей матери было тогда весьма затруднительно. Потеряв мужа и отца в течение нескольких месяцев, получила она

в управление расстроенное имение, которое надобно было привести в порядок и заняться воспитанием пятерых детей (две обязанности, из которых каждая почти выше сил женщины), которым должно было дать воспитание, приличное их состоянию. Нас осталось пятеро: три брата и две сестры, из коих одна, Анна, старее меня, прочие, Михаил, Евпраксия и Валериан, – моложе меня. Мать моя приняла на себя труд быть моею наставницею. Живя уединенно в своей деревне, ей оставалось довольно времени от других занятий, дабы посвятить оное на воспитание своих детей. Но, к несчастью, не имея ни нрава, свойственного к таким занятиям (ибо сколько надобно иметь терпения при наставлении на трудный путь занятий? Даже у детей, одаренных природою особенными способностями, сухие занятия первоначальными науками отбивают охоту от учения. Сколько надобно здесь искусства, чтобы превозмочь природное отвращение от труда и заставить любить умственные занятия! У самых людей с созревшими понятиями только многолетний прилежный труд рождает любовь к наукам), – ни знаний, к тому необходимых, ее благое намерение принесло мало пользы. Признано, сколько способ (метода) учения может затруднять и облегчать занятия, особенно в те лета, когда еще мы не можем рассуждать. Что же может выйти хорошего, когда мы вместо постепенного, систематического учения занимаемся разными предметами на выдержку, как на счастье берут лотерейные нумера? Так было и со мною. Я учился, учился и только, без отдыха, без пользы. Оттого не осталось у меня ни одного приятного впечатления детских лет; я терял охоту от учения, ибо не видал никакой пользы от оного; чем сегодня, боясь наказания, я набивал голову, то завтра я забывал. Не раз должен был я выучить французскую грамматику наизусть от листа до листа, и, несмотря на это, я бы назвал дверь прилагательным именем[4]. Но главною потерею от сего образа воспитания было то, что я привык видеть в моей матери не что иное, как строгого и неумолимого учителя, находившего всякий мой поступок дурным и не знавшего ни одного одобрительного слова. Мы испытали, что на животных гораздо скорее действуют кроткие меры, нежели насильственные; неужели же к людям, существам, одаренным духовными способностями в несравненно высшей степени, нельзя применить сего правила? Но наши отцы об этом не думали, полагая, что страх может то же произвести, что и любовь. Грубая, сожаления достойная ошибка! К несчастью, есть еще много людей, которые держатся таких мнений, кажется, не оттого, чтобы они признавали оные неопровергаемыми или единственно спасительными, но более потому, что они согласны с их

характерами властолюбивыми и своенравными.

Что ж было плодом всего этого? То, что уже один голос моей матери наводил на меня трепет. Я не был спокоен, когда ее знал вблизи. И сколь пагубное влияние имеет такое обращение с детьми на нравственность их! Не смея произнести слова в присутствии грозных своих родителей, привыкают они скрывать свои мысли; убегая их, они естественно попадаются в общество слуг, скопище всех пороков, где потухает последний луч сыновней любви, пока собственный наш рассудок не приведет нас опять на истинный путь.

Странно, с каким легкомыслием отказываются у нас матери (я говорю о высшем классе) от воспитания своих детей; им довольно того, что могли их на свет произвести, а прочее их мало заботит. Они не чувствуют, что лишают себя чистейших наслаждений, не исполняя долга, возложенного на них самою природою, и отдавая детей своих на произвол нянек; оттолкнув их таким образом от себя, они винят детей в неблагодарности, не находя в них любви к себе. Мы везде видим, как преступления против природы наказуемы бывают своими собственными следствиями; так и здесь: в те лета, когда страсти начинают в людях ослабевать и они, вследствие физических причин, начинают искать покоя, тогда, пресытясь суетными наслаждениями рассеянной жизни, ищут они утешения в кругу своего семейства. Но что ж они там находят? Вместо детской любви холодное почтение и чаще равнодушие, если не что-нибудь худшее, и, не сознаваясь в собственной вине своего несчастия, ропщут они на судьбу и на детей. Вот что мы видим всякий день, если заглянем в домашнюю жизнь наших бояр, где мы найдем и причины нашей дурной нравственности и невежества.

Итак, первыми моими успехами в науках обязан я моей матери. Но в 1817 году она вступила во второй брак с Иваном Сафоновичем Осиповым, что было причиною переезду нашему в Петербург, где меня в следующем году отдали в Горный корпус[5]. Итак, на 13-м году я сделал первый шаг за порог моего родительского дома. Меня поручили одному чиновнику, служившему при корпусе, у которого я и жил. Я здесь остался ненадолго, ибо в следующем (1819) году случай меня перенес в Дерпт [6], к вреду ли моему или к пользе – это покажет будущее. Это учебное заведение должно причислить к одному разряду со всеми кадетскими корпусами, про которых можно сказать, что они лучше, нежели ничего, но не более. Все они далеки от того, чтобы приносить ту пользу, которую от них ожидают, ибо за очень необширные познания, которые там приобретают воспитанники, слишком много они теряют в нравственном

отношении, чтобы можно было назвать первое прибылью.

Спартанское воспитание замечательно только тем, что оно доказывает силу великого гения, его создавшего, и до какой степени люди могут предаваться одной идее, даже если она в противоречии со всеми наклонностями человека. История доказала, что безнаказанно человек не может противиться вечным законам естества природы; страсти человеческие, разорвав узы, так долго их связывавшие, не находили уже преград своему неистовству. И Спарта, прежде знаменитая своими добродетелями, стала столь же славна своими пороками. Это естественно: когда законы ослабели и грубые спартанцы узнали наслаждения образованных народов, то что могло выйти иное из людей, не знавших святейших и благороднейших связей человечества? Не знав ни имени отца, ни супруги, ни сына, могли ли они быть хорошими гражданами? Прежде они заключали все сии священные имена в одном имени отечества, но с разрушением сей идеи они потеряли всё святое, ибо их вера, бывшая не что иное, как гражданское постановление, не могла быть опорою. Люди соединились в общества для того, чтобы обезопасить собственность и права каждого члена от насилия, стараясь при том как можно более сохранить первобытной своей свободы; итак, общество у них было средством, а не целью, в Спарте же было это навыворот. Если общественное воспитание и в самой Спарте не было соответственно назначению человека, то сколь вредно должно оное быть у нас, где оно не столь тесной связи с гражданскими постановлениями и где так мало занимаются уменьшением зла, неразлучного с сим постановлением?

Нравственное образование необходимо для человека, который должен сделаться полезным гражданином; могут ли же оное приобрести воспитанники наших кадетских корпусов, брошенные туда отцами своими в самом нежном возрасте (не имея способа дать им другого воспитания), тогда когда им столь нужна подпора и любовь своих родителей? Но чего достойны те отцы, которые для того удаляют от себя детей своих, чтобы избавиться от бремени их воспитания? Конечно, необходимы общественные заведения для образования офицеров, а особливо для морской службы, но не должно туда принимать детей; только молодые люди, окончившие первоначальное воспитание, общее всякому образованному человеку, которое они могли получить или дома, или в гимназиях, к тому правительством устроенных, – сии воспитанники должны бы были быть в таких летах, дабы могли понимать обязанности, на себя принимаемые, избирая себе состояние, которому они думают себя способными. Разумеется,

что тут должно уничтожить варварский обычай телесных наказаний, недостойный образованных людей, истребляющий понятие о чести, столь необходимой для всякого чувствующего свое личное достоинство[7].

<Приписка от 8 июня 1828>

Надобно побывать самому в таком корпусе, чтобы иметь понятие об нем. Несколько сот молодых людей всех возрастов от семи до двадцати лет заперты в одно строение, в котором некоторые из них проводят более десятка лет; в нем какой-то особенный мир: полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоих. Нет разврата чувственности, изобретенного сластолюбием Катона[8] и утонченного греками, подробно поименованного в “Кормчей книге”[9], которого не случалось бы там, и нет казармы, где бы более встречалось грубости, невежества и буйства, как в таком училище русского дворянства! Всем порокам открыт вход сюда, тогда когда не принято ни одной меры для истребления оных. Телесные наказания нельзя к таким причислить, ибо они наказывают, а не предупреждают проступок. Принимаемые без всякого разбора воспитанники приносят с собою очень часто все пороки, которые мы встречаем в молодых людях, в праздности вскормленных в кругу своих дворовых людей, у коих они уже успели всё перенять, и передают их всем своим товарищам. Таким образом ежедневно в продолжение нескольких десятков лет собираются пороки, пока они не сольются в одно целое и составят род обычая, закона, освященного временем (всегда сильною причиною) и общим примером. Тогда уже ничто не может помочь, никакие меры – исправить такое заведение. Воздух, заключенный в этих стенах, самые стены заражены; только с истреблением всего, как бы постигнутого моровою язвою, можно искоренить зло. Зная сие, ясно, отчего новые училища такого рода сначала несколько соответствуют своей цели и потом так скоро упадают. Многие подумают, что здесь всё увеличено, слишком резко описано: нимало! Всякий бывший в корпусе согласится со мною. К тому же причины зла основаны на природе вещей: возьмите несколько человек со всех концов земли, всех степеней образованности, всех исповеданий веры, исключите их из остального мира, подчинив одному образу жизни. Что выйдет? Одинакие занятия, одинакая цель жизни, радости, печали и вообще всё, что они будут чувствовать, касающееся их всех, а не одного из них, даст им всем одну отличительную черту, один характер, общий всем, но составленный из личности каждого (таково было начало каждой

народности). И не будет ли этот характер тем хуже, чем порочнее члены, составившие общество? Примеры сего мы видим в колониях, монастырях, университетах, разбойничьих шайках и даже в некоторых гражданских сословиях, где они сближаются с кастами древних.

Взглянув на учебную часть корпусов кадетских, мы найдем в них немного более утешительного. У нас еще не знают или не хотят знать, что хорошим офицером может быть только образованный, а образованным офицером – только образованный человек. Преимущественно перед всеми другими науками, и исключительно, занимаются преподаванием математики. Впрочем, я не думаю, чтобы и самый Лаплас был бы хорошим генералом. Конечно, офицеру необходимы познания математические, но чтобы сделать их единственными, это не может ни в каком случае быть полезным; даже человеку, посвящающему себя единственно наукам математическим, необходимы сведения – по крайней мере исторические – о предметах знаний, с ними в связи находящихся; например, математик должен быть и логиком и пр. Круг познаний офицера так велик и оные так разнообразны, что, право, у него нет времени лишнего, чтобы он мог его посвящать исчислениям высшей математики, ему ненужной (я не говорю здесь об артиллеристах и инженерных офицерах, которым, разумеется, высшая математика необходима). На исторические, географические науки, столь необходимые, обращают мало внимания, даже и на знания отечественного языка. Также совсем не заботятся о том, чтобы приохотить молодых людей к ученью, отчего те и думают только о том, как бы скорее выйти в офицеры и бросить книги, полагая, что, достигнув эполет, они уже всё нужное знают, не подозревая, что по сию пору их только приготовляли к настоящему ученью, что им только показали путь, по которому они теперь должны сами, без помощи других вперед идти.

Кажется, гораздо полезнее было бы обратить внимание на состояние уездных и губернских училищ, преобразовать их так, чтобы они в состоянии были приготовлять воспитанников своих для вступления как в университет, так и военные академии, кои заменили бы корпуса…

16 сентября

Вчера обедал я у Пушкина в селе его матери[10], недавно бывшем еще месте его ссылки, куда он недавно приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жизни столиц

и чтобы писать на свободе (другие уверяют, что он приехал от того, что проигрался).

По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину первенствующего поэта русского. В молдаванской красной шапочке и халате увидел я его за рабочим его столом, на коем были разбросаны все принадлежности уборного столика поклонника моды; дружно также на нем лежали Montesquieu[11] с Bibliothéque de campagne[12] и “Журналом Петра I”[13], виден был также Alfieri[14], ежемесячники Карамзина[15] и изъяснение снов[16], скрывшееся в полдюжине альманахов; наконец две тетради в черном сафьяне остановили мое внимание на себе: мрачная их наружность заставила меня ожидать что-нибудь таинственного, заключенного в них, особливо когда на бо́льшей из них я заметил полустертый масонский треугольник. Естественно, что я думал видеть летописи какой-нибудь ложи; но Пушкин, заметив внимание мое к этой книге, окончил все мои предположения, сказав мне, что она была счетною книгой такого общества[17], а теперь пишет он в ней стихи; в другой же книге показал он мне только что написанные первые две главы романа в прозе, где главное лицо представляет его прадед Ганнибал, сын Абиссинского эмира, похищенный турками, а из Константинополя русским посланником присланный в подарок Петру I, который его сам воспитывал и очень любил. Главная завязка этого романа будет – как Пушкин говорит – неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и за то была посажена в монастырь[18]. Вот историческая основа этого сочинения. Мы пошли обедать, запивая рейнвейном швейцарский сыр; рассказывал мне Пушкин, как государь цензирует его книги; он хотел мне показать “Годунова” с собственноручными его величества поправками. Высокому цензору не понравились шутки старого монаха с харчевницею[19]. В “Стеньке Разине” не прошли стихи, где он говорит воеводе астраханскому, хотевшему у него взять соболью шубу: “Возьми с плеч шубу, да чтобы не было шуму”[20]. Смешно рассказывал Пушкин, как в Москве цензировали его “Графа Нулина”: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук. Кофта барыни показалась тоже соблазнительною: просили, чтобы он дал ей хотя салоп[21].

Говоря о недостатках нашего частного и общественного воспитания, Пушкин сказал: “Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне

вымыли голову”[22].

Играя на биллиарде, сказал Пушкин: “Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей “Истории”, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову – пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря”[23].

1828

10 августа (Петербург)

Вчера я получил письмо от Языкова, в котором он мне желает чести, славы на поприще воинском[1], оно меня расстроило на весь день, я снова страдал от необходимости отречься от желания славы. Как трудно оставлять мечты, в которых мы находим наше счастье!

Я читал газеты:[2] головы политиков заняты событиями в двух оконечностей Европы, но и сами по себе столь же противоположны, как и их положение географическое. В Португалии меньшой брат сел на престол старшего, опровергнув данную последним конституцию. Желательно знать, стерпят ли сие европейские государи, защитники *законности*?[3] В Греции, напротив, иго рабства уничтожилось, и под влиянием тех же государей основалось свободное правление, которого глава (Каподистрия) ими самими поставлен[4]. Но всего важнее теперь, как и где кончится русско-турецкая война?[5] Как вознаградить Россию за ее издержки? и победитель – турок не слишком ли опасен для остальной Европы?

После обеда я провел с матерью и сестрою; там я читал Жюльена о употреблении времени: прекрасная книга. Я утвердился в намерении вести *Дневник*: вот опыт, дай Бог, чтобы он удался.

Вечер я был с Анной Петровной; Лиза нездорова, грустна. Я грустен, недоволен собою, сожалел о потерянном мною времени и страдал жаждою блистательной воинской славы[6].

11 августа

То же неудовольствие собою, соединенное с неприятным известием из Твери о замедлении хода дел. День провел я совершенно, как вчерашний, с матерью и у Анны Петровны и читал Jullien. Всякое воспитание должно было быть основано на таких правилах; в нас не имеют и понятия о нравственном, а физическое развитие сил с намерением останавливают, думая повредить тем умственному воспитанию.

12 августа

Нынешний день, как много подобных, я провел в

совершенном бездействии – ни одной минуты не осталось у меня в памяти.

13 августа

Был я в департаменте, написал копии с аттестатов моих и подписал обязательство не вступать в тайные общества[7]. Всякая мера, не приносящая пользы, вредна: людей, которые решатся ниспровергнуть правительство по какой бы то ни было причине, удержит ли такое обязательство? – Если не удержит, то к чему оно? – К чему же потеря бумаги и времени? – Справедливо упрекают наше правительство в непомерном многописании. – Мне, кажется, сначала не дадут жалования, не знаю, с каким чином меня определят; одно из двух, по крайней мере: или деньги, или честь. С сестрой я вечер был у Анны Петровны. – Лиза была очень мила, и я нежен.

14 августа

Наконец получено письмо из Старицы о высылке копий с доверенности, и можно надеяться, что на будущей неделе выдадут деньги из ломбарда. В армии ничего важного не делается, осаждают Силистрию, Варну и Шумлу. – "Брамблета House", роман *Смита,* так же занимателен, как и Скотт: в нем прекрасные описания чумы и пожара, но не сохранена постепенность интереса и есть повторения[8]. Сегодня после бани она была очень мила.

15 августа

Еще один день, про который нечего сказать, – это досадно; надеюсь, что впредь менее таких будет встречаться. Я живу теперь надеждою моей будущей деятельности, телесной и умственной; потеряв два года жизни в совершенном бездействии, трудно будет привыкать к занятию; надеюсь, что моя воля довольно будет сильна к исполнению намерения.

16 августа

В департаменте прочитали мне сегодня мое определение: я покуда не буду получать жалования, а о чине представят в Сенат. Вечером был я во Французской комедии[9], – это первое представление после поста. Главная пьеса была хуже всех: чтение "Тартюфа" у Нинон, – это сбор нескольких острых слов всем

известных великих писателей французских того века[10]. Удивляюсь, как могут французы так во зло употреблять имена великих людей.

17 августа

Прекрасная сегодняшняя погода не сделала мне день таким – я был как-то не свой. В ломбарде обещали через неделю выдать деньги. Наши победоносные войска всё еще у подошвы Балкана, а государя ждут сюда; говорят о третьем наборе рекрут. Франция посылает войска в Морею: говорят, не для того, чтобы выгнать Ибрагима Пашу, который сам хочет выйти, но дабы иметь точку, с которой она бы могла, в случае нужды, противодействовать России. Англия не хочет непосредственно принимать участия в делах твердой земли: расстройство финансов причиною ее миролюбия.

18 августа

Лиза сегодня была весьма грустна, упрекала меня во многом справедливо и несправедливо и, как всегда водится, одного меня винила во всём. Я прежде ей это предсказывал. К вечеру буря прошла, и всё взошло в свой порядок. Ответ профессора Адеркаса на мою просьбу о письме к Дибичу меня весьма обрадовал, утешил[11]. Дружба столь почтенного человека неоцененна для меня; как жаль, что теперь я не могу воспользоваться его благорасположением ко мне!

Головные боли, которые вот уже несколько дней меня мучают, происходят, кажется, от густоты крови. Мне должно остерегаться простуды, от которой может сделаться воспаление в легких: большее движение, умеренная пища и сон необходимы для меня.

19 августа

Утром я очень много ходил для избежания головных болей, от чего мне и сделалось немного легче. Читал “Ундину”: слог Фуке мне не нравится, и трудно его переводить; мысль повести этой прекрасна, преимущество человека душевными его способностями над остальным созданием земным выведено в изящном вымысле. – Лиза больна, у ней были нервические припадки и пр.

20 августа

В первый раз я был в департаменте, где, постояв с час, прочитал я одно пустое дело о несправедливо взысканных пошлинах, чтобы познакомиться с родом моих занятий; потом меня отпустили. Я всё еще ничего не делаю, но с будущей недели начну, получив деньги.

21 августа

В департаменте мне дали ведение журнала входящих бумаг в IV отделении 1-й стол и ведомостей от военных чиновников о присылке денег за употребление простой бумаги вместо гербовой – не головоломное занятие, чему я весьма рад, ибо тем более мне останется времени на свои занятия. Сегодня я много ходил и очень устал, от чего и голове моей легче. Вечером она <Лиза> была веселее всех этих дней, не печальна, что мне отвело душу.

22 и 23 августа

Вот еще два пустых дня, которые не оставили ни одного воспоминания после себя. В политическом мире ничего решительного не делается.

24 августа

Сегодня получены из ломбарда 43 752 р.; из них заплочено 4 805 за Тригорское, 25 000 положены на сохранение, 200 отдано чиновникам, а остальные 13 747 отданы матери. Из последних получил я тысячу рублей.

25–26 августа

Ищу, вспоминаю и мало нахожу замечательного, чтобы записать. – Я читаю “Историю Шотландии” В. Скотта[12]. Такой род повествования истории, особливо отечественной, очень хорош для детей – он рождает в них желание узнать более, знакомит с главнейшими событиями и с замечательнейшими лицами и приготовляет к дальнейшему учению. Простой рассказ, оживленный краткими описаниями нрава и частных событий замечательнейших исторических лиц, чрезвычайно занимателен для читателей того возраста, для которого он назначен; желательно, чтобы вся история была у нас так обработана.

От Анны Петровны я получил очень нежное письмо. Елизавета Петровна эти дни была мила, несравненно веселее прежнего и говорит, что опять по-прежнему любит.

27 августа

Сегодня головные боли опять усилились, несмотря на то что я много ходил. Мне необходимо нужно купить много книг, а на это недостает денег.

28 августа

Екатерина Николаевна[13] приехала сегодня из деревни. 17 июня наши войска были всё еще под Шумлою; Варна тоже защищается; под нею ранен ядром напролет мимо ног Меншиков, человек, отличающийся отличными способностями. Паскевич от Карса пошел вправо вдоль границы и взял две крепостцы Ахалканы[14] – вот что известно о военных наших действиях. О турецких военных силах, расположении их и прочем мы ничего из ведомостей не знаем: что пишут в чужестранных, тому нельзя верить.

29 августа по 1 сентября

Вот четыре дня, в которые я не успел записать случившегося, не оттого, чтобы я так чрезвычайно был занят чем-нибудь, но более от лени. Я был на двух скучных вечерах: у Натальи Васильевны[15] и у Миллера, где я играл и немного проиграл; общества такие очень скучны, особливо для женщин, которые не играют. – В Итальянской опере я слышал и видел Россиньеву “Сороку-воровку”; для меня она не уступает в достоинстве “Севильскому цирюльнику” и “Сендрильоне”. Также Millas более мне нравится госпожи Шоберлехнер: она поет прекрасно, но в ее голосе нет (для меня) очарования италиянской певицы; Този мне понравился более, чем прежде, он играл очень хорошо; Марколини – прекрасный мужчина и тоже хорошо играл[16].

Я слышал чрезвычайно замечательное происшествие, исследование которого могло бы много открыть весьма важных истин касательно малоизвестных сил *животного магнетизма*[17]. Ежели можно будет доказать достоверность слышанного мною и человек сведущий, с любовью к знанию, занялся бы исследованием случившегося, тогда бы новый свет излился на сию, доселе непостижимую силу духовную. – Вот слышанное мною. В Тверской губернии, в доме умершего Павла Марковича Полторацкого, живет молодая девушка; в 1825 году она занемогла и впала без всякой посторонней причины в сомнамбулический сон; болезнь ее до того усилилась, что она достигла до самой высокой степени ясновидения: не имея

никакой образованности, она лечила себя, предсказывала очень многим, между прочим, смерть господина Полторацкого, казнь подсудимых 14 декабря и пр. В продолжение года она осталась в таком положении, и ничто ей не помогло. Без содействия магнетизера она говорила, в *<нрзб.>* с нею была (говорила) дочь господина Полторацкого, девушка, которая, разумеется, не могла воспользоваться таким чрезвычайным случаем: она более боялась ее, тем более что разнесшийся слух называл больную нечистым духом исполненною. Эта причина и обычай Великим постом говеть были поводом, что ей предложили причаститься Св. Тайн: она наяву старалась отклонить такое предложение, не говоря, однако, причины, а во сне не хотела об том и слышать, приходя в род бешенства. Такое явное сопротивление еще более устрашило семейство, и наконец настояли на том, прочитали над ней молитвы об изгнании нечистого духа и приобщили ее к Св. Тайнам. Но перед самым приобщением с ней сделалась судрога, столь сильная, как бы кто ее тряхнул, и с тех пор у нее не было более припадков.

Здесь рождаются естественно следующие весьма важные вопросы. 1. Описанные явления до́лжно ли точно приписать животному магнетизму или другой какой-либо силе? 2. Какая причина отвращения больной от причастия? 3. Точно ли сей причине, а не какой другой неизвестной должно приписать выздоровление? – Первый вопрос можно, кажется, удовлетворительно объяснить, подтвердив, что сие явление точно одного рода с испытанными (явлениями) животного магнетизма, но для разрешения других необходимо точное исследование случившегося, соединенное с опытами, тем более что прежде ничего подобного не было замечено.

2 и 3 сентября

В департаменте я по сию пору совершенно ничего не делаю, кроме ведения журнала входящих бумаг – работа нетрудная и не много времени требующая. На этих днях я решился приняться за работу, т. е. переводить с немецкого Ван дер Вельде романы[18]. Головные боли не совсем меня еще оставили. Недавно я обошел напрасно всю Коломну, чтобы отыскать Анну Яковлевну, но напрасно: я ее не нашел. Я очень еще молод должен быть, когда могу бегать так за женщиною, которая верно не Лаиса. – Лиза эти дни немного ревновала меня к Анне Петровне, но вообще была нежна и верила в мою любовь.

4–5 сентября

Я читал еще один роман Смита, “Торгиль”, который мне даже более нравится “Брамблеты”, в ходе происшествий сохранено более постепенности, нежели в первом, и занимательность выдержана до последней главы. Мстительный и жестокий характер владельца Торгиля в прекрасной противоположности с 2-ю женою его. Он только некстати ослабил участие читателя к 1-й его жене, и дав ей другую причину действий, кроме мщения и обиженного самолюбия, и слишком скоро свев ее со сцены. – Я был опять на скучных именинах. – В опекунском совете торговался я с публичного торга для П. М. Полторацкого имение Хорвата – 2090 душ.

6–8 сентября

Не от лени, а единственно от того, что нечего заметить, я опять три дня не писал. Вчера мать моя говорила, что ее встретила здесь молва о дуэлисте Вульфе, – итак, моя удалая слава еще не замолкла и, всё трубя, носится передо мною. Меня зовут дуэлист, – того, который именно во всё пребывание свое старался только о истреблении гибельного сего предрассудка и ежели не убегал клинка, то для того, чтобы доказать, что не из робости я исповедовал миролюбие[19]. Такова молва! так ей должно верить! и можно ли после сего заботиться об ней!?

9–10 сентября

Сегодня я должен был против воли крестить с Анной Ивановной, которая, не найдя никого другого, чтобы заплатить попу, обратилась ко мне. Несмотря на доброту, у ней часто в таких случаях недостает совести; если бы она в других случаях не показала более благорасположения ко мне, то я бы верно не убежал с именин Анны Ивановны, чтобы бросить деньги, за которые мне не сказали благодарствуй, равно как и за то, что я оставил приятное общество[20]. Такая невнимательность весьма неприятна: жертва во сто раз становится тяжелее, когда не хотят заметить, сколько она стоит. Зато Мария Павловна Лихардова старалась сколько могла вознаградить меня: она предложила мне ехать с ними в Французскую комедию[21], кормила в продолжение оной конфетами и наконец дала билетик, чтобы я бросил его в партер. Догадавшись, что это нежность, я спрятал его и после прочитал в нем, что любовь ее против воли моей заставит себя любить; несмотря на такую явную благосклонность, я не умел ею воспользоваться. Этот вечер играли новую драму “L’homme du monde”, взятую из романа того же имени сочинения *J. Ансело,*

известного у нас плохим сочинением своим “6 месяцев пребывания в России”, писанное <!> им во время путешествия на коронацию Николая Павловича. – Драма сия весьма незанимательна, в ней ни действия, ни завязки, ни характеров, ярко обрисованных, – всё скучные разговоры, не связанные один с другим; замечательна одна сцена, в которой *светской человек* хочет под проливным дождем в грозу соблазнить девушку: она противится, но удар грома пугает их, они прячутся в павильон, и невинность погибает там. Пьеса сия так решительно нехороша, что после окончания не раздалось во всем партере ни одного удара в ладони[22].

Этот день замечателен для меня тем, что я не видел Лизы.

На другой день первым моим старанием было загладить сию мою вину, что мне и удалось. Она становится опять печальнее, потому что Петр Маркович хочет на будущей неделе ехать с моею матерью в Тверь, мне бы самому хотелось ее туда проводить, но, видя такие обстоятельства, это невозможно, ибо я бы попался в круг полдесятка красавиц, которым я всеми занимался; мне до́лжно будет <быть> здесь непременно.

11–12 сентября

Эти два дня не оставили после себя много замечательного. Я видел *Пушкина,* который хочет ехать с матерью в Малинники, что мне весьма неприятно, ибо от того пострадает доброе имя и сестры и матери, а сестре и других ради причин это вредно[23]. С Лизой опять припадок грусти по причине скорой разлуки, на будущей неделе она поедет.

Наконец я достал Ван дер Вельде повести и начну их переводить; мне недостает словарей и некоторых книг, касающихся каждой повести в особенности. – Всё это время терплю я сильный насморк, а после чаю бывает иногда изгога[24], мне бы хотелось чем-нибудь заменить питье оного.

13 сентября

Я обедал у моего начальника отделения Шахматова и в департаменте написал первое представление в Сенат. Я хочу списывать формы разных бумаг, это не может быть бесполезным. Познакомился я тоже с Николаем Андреевичем Всеволодским, служившим вместе с моим отцом. С Лизой я был <*нрзб.*> нежен почти.

14 и 15 сентября

Всё это время напрасно я ищу другой дом себе нанять, потому что у меня уже становится очень холодно. Лихардова опять любезничала со мною: ей бы очень хотелось видеть меня у ног своих, но я не котенок, которого дразнят привязанной на нитке бумажкою. Я испортил свой желудок и хочу быть строго воздержным.

14–20 сентября

Обедал я у одного известного г. Никитина, человека, нажившего себе карточною игрою большое состояние, – случай довольно редкий; он весьма забавен: занятый своим богатством, он везде старается оное выказать; также хочет он быть человеком лучшего тону и коротко знакомым с высокою аристократиею. Но всё это ему не удается, везде видна в доме нечистота и безвкусие, которая дает дурное понятие и о хозяйке, – она точно и оправдывает такое мнение об ней. Люди, которые у него бывают, по большой части его клиенты и почитатели, громко вторящие всё, что говорит хозяин. – От него я поехал на вечер к Всеволоду Андреевичу Всеволодскому, человеку весьма богатому и который живет сообразно своему состоянию. Он меня принял по рекомендации дяди моего Петра Марковича очень хорошо, и мне до́лжно будет к нему ходить.

Остальные эти дни я провел в пустых хлопотах по разным делам.

20–26 сентября

Сборы к отъезду матери моей и переезд в другой дом заняли меня эти дни. – Разлука близкая с Лизою заставляла меня тоже чаще с нею быть. Справедливо она жаловалась на мою холодность и прощала ее: любовь всегда снисходительна, легко верит тому, что желает, а самолюбие помогает нам обманывать себя. – Мне хочется кинуть суетное желание нравиться женщинам: это слишком жестокая забава, ради одного времени, которое на нее тратишь, уже вредна она, не упоминая душевного спокойствия, которое она может погубить. 25<-го> вечером я простил<ся> с матерью и с нею, поехавшим<и> вместе отсюда. Я ни за что не хотел бы в другой раз в жизни быть столь же счастливым, как был. – Занимаясь женщиной, несравненно более страдаешь, чем бываешь счастлив. – Не знаю, буду ли я иметь силы вперед отказаться от желания быть любимым и от чувственных наслаждений, но хотел бы никогда не входить в искушение. – Если бы можно было возвратить ей спокойствие! Может быть, это

большое незнание женщин – опасение их верности, но и одна такая возможность мне страшна.

Теперь я здесь совершенно остался один, и кто знает на какое время? Это тяжело тем более, что мне не хочется пускаться в рассеянную жизнь: я хочу занятия, а одно с другим несогласно.

28 сентября

Я получил от Адеркаса еще весьма приятное письмо с дружескими советами и наставлениями для предполагаемой будущей моей воинской деятельности; как жаль, что ими не могу теперь пользоваться, равно как и присланным мне рекомендательным письмом к Дибичу; но кто знает, что еще будет! – Сегодня я был у Бегичевых. Анна Ивановна – прекрасная девушка, и верно счастлив будет ее муж, если он достоин того.

Сегодня также кончил мой портрет Григорьев. Желаю, чтобы мать моя была довольна им; мне кажется он не совсем похожим[25].

29 сентября

Я обедал сегодня у Павлищева, а вечер провел у Надежды Гавриловны[26] и у Лихардова, где за него играл в вист. Перед тем я заезжал к сенатскому обер-секретарю 2 департамента Владимиру Михайловичу Ильину и просил его о деле с Пущиными за неуплату заемного письма, отдав ему под видом записки 200 рублей: весы правосудия у нас столь верны, что малейший лоскуток бумажки дает перевес!.. Здоровье мое эти дни лучше – я возьмусь за перевод Ван дер Вельде повестей (die Erzählungen[27]), во-первых, для образования слога, да и для денег. Нужно мне прочитать несколько сочинений о месте происшествий каждой повести.

30 сентября

Утро я ездил с визитами и обедал у Бегичевых; потом был с Анной Петровной. – Везде только что и говорят о несчастии, случившемся с гвардейским егерским полком: он бежал от турок. Такой стыд беспримерен у нас, чтоб свежий, не разбитый полк, один из лучших русской гвардии, следственно всего мира, побежал от толпы турок, – это неслыханно и непонятно. Каковы должны быть начальники, которые довели до того, что *русской* солдат, признанный всеми за отлично храброго, побежал, про которого Фридрих II сказал, что легче его убить, чем победить, которого мужеством, а не достоинствами генералов, освобождена

Европа, и восторжествовавшего над легионами – победителями остальной Европы. В высокой степени замечания достойны подробности и, если можно узнать, настоящие причины сего несчастного дела; откинув[38] постороннюю занимательность сего происшествия, для нас, как русских, оно весьма важно само по себе как доказательство, что всё знаемое совершенство механического устройства, соединенное с знанием теории, недостаточно без опытности и без способности начальников и что одна необузданная храбрость, без всякого искусства, будет всегда торжествовать над нею.

Ни Варна, ни Силистрия, ни Шумла по сю пору еще не сдались;[28] Паскевич с меньшими силами сделал, кажется, соразмерно и сделал больше. Он взял штурмом две храбро защищавшиеся важные крепости, Каре и Ахалцию[29], и разбил 25 000-ный корпус турок с несравненно меньшими силами. Он слывет человеком гордым и глупым, но, судя по делам, у него должны быть воинские способности.

Я писал сегодня в первый раз к сестре и матери после их отъезда: к последней о делах и новостях, а первой я говорил, как необходимо нужно для поддержания дружеских связей по временам видаться. – Долгая разлука незаметно нас отчуждает друг от друга: привыкаешь обходиться один без другого, привязываешься к другим лицам и предметам, во вред прежним связям, переменяешься, как всё в этом мире, – и с другим образом мыслей и чувствами должна измениться и дружба.

1 октября

День этот я провел у Александра Ивановича Вульфа, обедал там, играл в вист – и проиграл 750. Там была тоже Лихардова и, по обыкновению, любезничала со мною; она, как прежде намеревалась, теперь не едет в деревню. Не знаю, удастся ли мне с ней кончить, но во всяком случае должно мне дойти до чего-нибудь явного для поддержания своего доброго имени. – Вот третий день, как я стал по утрам окачиваться холодною водою, что приятно и здорово. – Говорят, что мы заняли в Голландии 36 миллионов для продолжения войны, – это неутешительно, после набора 16 человек рекрутов с 1000 в один год: это первая выгода наша от этой войны, если мы не будем считать приобретенную нами *славу*.

2 октября

Нигде я не был, кроме с Анной Петровной и в справочное

место. – Египетские войска очищают Морею[30], на место их высажены французские: не знаю, к чему они теперь там нужны, когда Ибрагим Паша оставит Морею? – Мария де Глория, португальская королева, привезена в Плимут[31]. Варна всё еще не сдается, и турки стараются ввести в нее подкрепление.

У меня опять целой почти день была изгага, и я весь вечер проспал.

3 октября

Я продолжаю переводить Ван дер Вельде и собираюсь описать студенческую жизнь мою – очень занимателен был бы рассказ студенческих обычаев, борения их мнений и умов и их вдохновенного стремления к прекрасному. – Вечером я был у Натальи Васильевны[32], чтобы у ней более не бывать. *Сегодня приехала из Одессы императрица*[33].

4 и 5 октября

День рождения Сергея Михайловича Лихардова я провел весь почти у него: играл в карты и рассуждал с ним и женою его о пустяках; последняя, по обыкновению, была благосклонна ко мне.

Вчера Княжевич рассказывал, что Гнедич напечатает скоро свой перевод “Илиады”. – Недавно, заходя к Пушкину, застал я его пишущим новую поэму (?), взятую из истории[39] Малороссии: донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери. – Стихи, как всегда, прекрасные, а любовь молодой девушки к 60-летнему старику и крестному отцу, Мазепе, и характер сего скрытного и жестокого честолюбца превосходно описаны. – Судя по началу[34], объем сего произведения гораздо обширнее прежних его поэм. Картины все несравненно полнее всех прежних: он истощает как бы свой предмет. Только описание нрава Мазепы мне что-то знакомо; не знаю, я как будто читал прежде похожее: может быть, что это от того, что он исторически верен или я таким его воображал себе.

Мне должно писать к Лизе, но не знаю что: голова пуста, язык нем, а воображение застыло, или заснуло, или вовсе его нет…

6 октября

Несмотря на дурную погоду – снег, ветер и грязь, – я был в департаменте, но по-пустому: там нечего было делать. – Обедал я потом у Бегичевых, а вечер был с Анной Петровной.

7 октября

Из дурной осенней погоды сделался сегодня прекраснейший зимний день, который мне тем кажется приятнее, что я сейчас получил презанимательное письмо от Франциуса, в котором он уведомляет меня об всех наших собратьях и друзьях. – Обедал я у Лихардовых на именинах, а вечером приехал барон Дельвиг после 9-месячного отсутствия[35]. По справедливости, мне можно назвать нынешний день счастливым: довольно бы было и одного из сих происшествий, чтобы сделать его таким.

8 октября

Весь день я провел вместе с бароном. Я не встречал человека, который так всеми бы был любим и столько бы оную любовь заслуживал, как он. Его приветливое добродушие имеет неизъяснимую прелесть; он так прост и сердечен в своем обращении со всеми, что невозможно его не любить. – Из Москвы он привез Бальный вечер и Сказку *Баратынского*, которые он скоро тиснет: сам же барон, кажется, ничего не написал.

9 октября

Баронесса меня довольно холодно встретила, и по сю пору мы ни слова не говорили о прошлом.

10 октября

Поутру пришел ко мне Аладьин и принес письмо от Языкова – удовольствие неожиданное и удвоенное новым посланием ко мне, которое он написал по случаю намерения моего ехать на войны[36]. Если бы такое желание и не таилось во мне, то одного подобного вдохновенного привета довольно бы было, чтобы воспламенить меня. – Аладьин мне читал еще Языкова же *послание к Степанову "Развалины"* и переделанное послание к Аделайде; "Развалины" в особенности хороши – жаль, что он дает так много Аладьину[37].

11 октября

Я почти целый день опять пробыл у барона. Пушкин уже пишет 3 песню своей поэмы, дошел до Полтавской виктории[38], тут я видел тоже виршеписца Коншина. Софья становится нежнее

со мною, я от этого в замешательстве: мне не хотелось бы на его счет гулять, а другого средства нет, чтобы избежать опасности, как не ходить ни к нему, ни к Анне Петровне [39], что мне весьма тяжело.

12 октября

Барон мне дал для Языкова списать отрывок Бального вечера, за что я весьма благодарен. Обедал я у Никитина. – Софья была еще нежнее: что будет – будет. *Варна сдалась*[40].

13 октября

Я отвечал Языкову, потом был у Пушкина, который мне читал почти уже конченную свою поэму. Она будет в 3 песнях и под названием “Полтавы”, потому что ни *Кочубеем, ни Мазепой* ее назвать нельзя по частным причинам[41]. Казнь Кочубея очень хороша, раскаяние Мазепы в том, что он надеялся на паладина Карла XII, который умел только выигрывать сражения, тоже весьма истинно и хорошо рассказано. – Можно быть уверену, что *Пушкин* и в этом роде *исторических* повестей успеет не менее, чем в прежних своих. – Обедал я у его отца, возвратившегося из Псковской губернии, где я слышал много про Тригорское.

Софья всё еще так же, как и прежде. Также и Лихардова кокетничает по-старому.

14 октября

В день рождения матери своей приехал сюда государь. Говорят, что взяли Бургас. Поутру я писал к Адеркасу, потом обедал у Бегичевых, а вечер провел с *Дельвигом* и *Пушкиным*. Говорил об том и другом, а в особенности об Баратынском и грибоедовской комедии “Горе от ума”, в которой барон несправедливо не находит никакого достоинства. В 10 часов ушли они ужинать, а я остался с Анной Петровной и баронессою. Она лежала на кровати, я лег к ее ногам и ласкал их. Анна Петровна была за перегородкою; наконец вышла на минуту, и София подала мне руку. Я осыпал ее поцелуями, говорил, что я счастлив, счастлив, как тогда, когда в первый раз целовал эту руку. – “Я не думала, чтобы она имела для вас такую цену”, – сказала она, поцеловав меня в голову. Я всё еще держал руку, трепетавшую под моими лобзаниями; не в силах выдерживать мой взгляд, она закрыла лицо. Давно безделица меня столько не счастливила – но зашумело платье, и Анна Петровна взошла.

15–17 октября

Я получил весьма занимательные письма от сестры, от Евпраксеи, от матери и от Лизы, и ответы на оные так меня заняли, что я пропустил два дни записать. Материно очень нежно; она хочет знать мои желания и надежды и т. п. Лиза прислала целой журнал: сначала она говорит о страданиях и разлуке, а наконец она жестоко ревнует меня к Катерине Ивановне, думая, что я ее (Катерину Ивановну) люблю и что она <Лиза> обманута. На два последние письма я еще не отвечал. – Шахматов, начальник моего отделения, позвал меня к себе и предложил мне жалованье 200 рублей в год. Он извинялся, что предлагает такую безделицу, и советовал мне оное принять для того только, что считают тех, которые на жалованье служат, как истинно и с большим рвением служащих; я благодарил его за хорошее расположение ко мне и принял предлагаемое.

18 октября

Поутру я зашел к Анне Петровне и нашел там, как обыкновенно, Софью. В это время к ней кто-то приехал, ей до́лжно было уйти, но она обещала возвратиться. Анна Петровна тоже уехала, и я остался чинить перья для Софьи; она не обманула и скоро возвратилась. Таким образом были мы наедине, исключая несносной девки, пришедшей качать ребенка. Я, как почти всегда в таких случаях, не знал, что говорить, она, кажется, не менее моего была в замешательстве, и, видимо, мы не знали оба, с чего начать, – вдруг явился тут *Пушкин.* Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в “Северные цветы”, и уехал. Мы начали говорить об нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его об женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больнее, что она его заслуживает[42].

Странное было для меня положение быть наедине с женщиною, в которую я должен быть влюблен, плачущею об прежних своих грехах. Но она вдруг перестала, извинялась передо мною, и мы как-то ощупью на истинный путь напали; она просила меня переменить обращение с нею и не стараться казаться ей влюбленным, когда я такой не есть, – тогда нам будет обоим легче, мы не будем принужденны в обращении друг с другом, и хотела, чтобы я ее просто полюбил, как друга.

Внутренно я радовался такому предложению и согласен был с нею, но невозможно было ей это сказать: я остался при прежнем

мнении моем, что ее люблю, что мое обращение непринужденно с ней, что оно естественно и иначе быть не может, согласясь, впрочем, стараться быть иначе с нею. Я поспешил уйти, во-первых, чтобы прервать разговор, который клонился не в мою пользу, и чтобы не дождаться прихода мужа. Я даже отказался от обеда на ее приглашение, ибо я точно боюсь подозрения барона: я не верю ему. Вечером я нашел ее опять там же. Анна Петровна заснула, и мы остались одни: я, не теряя времени, заметил ей, что всё ею поутру сказанное несправедливо, ибо основано на ложном мнении, что я ее не люблю; она отвечала, написав Баратынского стихи: не соблазняй меня, я не могу любить, ты только кровь волнуешь во мне;[43] я жаловался на то, что она винила меня в своей вине; она мне предложила дружбу; я отвечал, что та не существует между мужчиною и женщиною, да и ее бы столь же скоро прошла, как и любовь, ибо, когда я первой не мог удержать за собою, то невозможно заслужить и последнюю. – "Что же вы чувствуете к Анне Петровне, когда не верите в дружбу", – написала опять она. – "И это следствие любви, – отвечал я, – ее ко мне!" И я остановился, не имея духа ей сказать "люблю": c'est l'amour[44] – вырвалось у меня. Она стала упрекать, что я всё твержу свое и слова мне как в стену горох, и писала, что я должен быть ей другом без других намерений и требований, и тогда она тем более будет меня любить, чем лучше я стану себя вести с нею. Довольный вообще такими условиями, которые я мог толковать всегда в свою пользу и не исполнять, когда невыгодны они, я спешил ее оставить, опасаясь прихода мужа. На прощанье я опять завладел рукою, хотел поцеловать ее, но встретил ее большие глаза, которые должны были остановить дерзкого, – это меня позабавило: я отвечал насмешливо-нежным взором, как бы веселясь слабостию ее и своею собственною невредимостью.

Писал к сестре и Евпраксее и отослал письма, № 2.

19 октября

С отправляющимся к матери в Малинники Пушки ным[45] я писал к ней и отвечал на ее вопрос: чего я желаю? – Я сказал про себя, что я *честолюбив,* недоволен собою, хочу с весною на войну, а потом в отставку. Сегодня был большой парад на Царицыном лугу *(Марсово поле).* 4 полка кирасиров и вся здесь находящаяся пехота были на нем; государь, наследник и императрица с княжнами присутствовали тоже; разумеется, что и стечение народа было очень велико. Зрелище великолепное, но если вспомнишь, как оно тягостно каждому действующему лицу, то очарование исчезнет. Софью я почти не видал, по крайней мере

не сказал ей ни слова.

20 октября

У Анны Петровны я узнал, что сегодня день рождения Софьи, и пошел ее с оным поздравить. Она принуждена была сознаться, что дружбы большой между нами быть не может и что она немного только ее имеет ко мне; вечером я жаловался ей на такое равнодушие ко мне и то, что чем более она меня узнает, тем менее ценит мною: тут снова она стала уверять в дружбе и пр. После я был у Лихардова. – Отвечаю на длинное Лизино письмо.

21 октября

Поутру я писал к Лизе; надеюсь, что это письмо успокоит ее. Обедал я <у> Бегичевых, а после был я <у> моего хозяина Максимовича: у него дочь презабавная вертушка, а сын большой говорун и фокусник; я обещал у них быть в середу. Вечер я был у барона, который спрашивал, не подрался ли я с его женою, что так давно у него не был. Он читал мне Бальный вечер Баратынского: любовь княгини прекрасна, нежна и пламенна, а ревность ужасна. Соболевский, нечаянно приехавший из Москвы, помешал мне дослушать; он иногда довольно забавно врет. – Другой уже день, как я страдаю поносом, который усилился, кажется, от невоздержания моего и от горского вина, которое я пил у барона.

22 октября

Сегодня праздник Казанской Богородицы[46]. Я по шел рано (в 10 часов) в Казанскую церковь, надеясь увидеть там государя и царское семейство. Случай поставил меня за толстяка, который, нещадно расталкивая толпу, провел меня почти до самого иконостаса, ибо я пользовался пустым местом, которое он, подвигаясь, оставлял за собою: толпа, как волны раздвигаясь перед ним, не могла ради его огромности сзади за ним соединяться. Но я не долго мог выдержать эту бесконечную толкотню и очень счастлив был, когда продрался назад. – И после того есть столь бессовестные люди, которые уверяют, что они молятся в церкви и для того туда ходят! Оттуда я пошел в справочное место. Султан с Санджак-Шерифом[47] выступил в лагерь; более ста лет со времен Махмуда II султан не начальствовал сам войсками – теперь-то, вероятно, начнется главная для нас потеха! Португальская королева в Лондоне, где

ее весьма хорошо принимают: чем-то кончится дона Мигеля фарса. Ибрагим Паша очищает Морею,[40] следственно, французам нечего будет там делать. Наш Эриванский, получив подкрепление, двинулся вперед к Требизонду и взял еще важную крепость – это известие еще только что привезли и не объявлено.

23 октября

В день приезда государя открыли поставленную на арке Главного Штаба колесницу, запряженную 6 лошадью <!>, Гений Славы – в одной руке с венком, а другою опирающийся на жезл, на конце коего виден русской двуглавой орел, стоит в ней. – Всё вылито из чугуна на казенных заводах и обшито вызолоченною медью. Площадь и Главный Штаб много выиграли от сего украшения[48]. Обедал я у Ольги Павлищевой, а вечер провел с бароном. *Анна Петровна* сказала мне, что вчера поутру у ней было сильное беспокойство: ей казалося чувствовать последствия нашей дружбы.[41] Мне это было неприятно и вместе радостно: неприятно ради ее, потому что тем бы она опять приведена была в затруднительное положение, а мне радостно, как удостоверение в моих способностях физических. – Но, кажется, она обманулась.

24 октября

В департаменте я узнал, что сегодня в 2 часа утра скончалась императрица Марья Феодоровна; родилась 14 октября 1759, следственно, жила она 69 лет и 10 дней. Болезнь ее не была продолжительной: 22-го, день Казанской Богородицы, она еще вставала, и водили ее в церковь, 23-го после полудня ей стало хуже, в 10 часов вечера приобщили и помазали ее миром, а в 2 утра она скончалась, как говорят, лихорадкою, которая ее всё клонила ко сну. – Много несчастных потеряли в ней свою покровительницу, а воспитательные заведения свою основательницу и попечительницу. Россия ей должна всегда остаться благодарною за тысячи матерей, которые образовались ее попечениями; в последние минуты она еще заботилась о вдовах, оставшихся после убитых офицеров, и она уже была в лучшем мире, когда последние ею пожалованные деньги, 15 тысяч, для раненых не были еще отправлены на почте. – Она не напрасно поставлена была *судьбою* так высоко! После обеда, когда началось смеркаться, во время, называемое между собакою и волком[49], я сидел у Анны Петровны подле Софьи; целуя ее руку, благодарил я за наслаждение, которым она меня дарит, награждает за мое доброе поведение; она уверяла, что этому она

не причиною и что я не заслуживаю награды, ибо я не таков, каковым должен быть; потом смеялась надо мною, что я верно сделал завоевание дочери моего хозяина, и говорила que je suis séduisant[50], в чем я никак не соглашался; она вообще, кажется, была в волнении. – Потом был я у моего хозяина ради дочери, за ней волочился какой-то Хвостов с круглою, как месяц, рожею и пустою, как тыква, головою – его семейство прежде жило в Дерпте.

25 октября

Из департамента заходил я в ломбард по делу тетки Надежды Гавриловны. Ей вот уже более 2 месяцев не высылают из Пскова свидетельства. Обедал я у барона по приглашению Софьи. – Я всё не доволен обращением ее со мною: или это от того, что я взвешиваю каждое слово на весы подозрения? – Вечером я ждал Wessels и Bayer, но последний не пришел ко мне, что весьма досадно.

26 октября

Обедал я у Пушкина[51], потом был у Княжевича, а вечером зашел к Анне Петровне. Она, бедная, страдает болью в груди и прогнала меня от себя. – У ней же на минуту была и Софья. – По-всегдашнему она была любезна со мною, говорила, что я их забываю и что барон спрашивал за обедом, отчего меня нет. Я не хотел бы принять это за насмешку, но опасаюсь, не точно ли оно было что-нибудь на то похожее. – Вот другая неделя, как я всё сочиняю и не могу сочинить письма к Адеркасу, – это досадно. Желудочная боль моя проходит; ежели я долее поживу здесь, то буду страдать от геморроидов.

27 октября

Сегодня я получил письмо от сестры; она пишет, что Лиза с *Сашенькою* неразлучны и что эта рассказала про обещанный портрет. Бедная Лиза каждый день узнает что-нибудь новое про меня, ей мучительное, – надо писать. – Вечером был у Лихардова и имел глупость заспорить и разгорячиться с Анной Ивановной[52] об несносном письме Максимовича. Меня и теперь это сердит: не прощу никогда себе такой нерассудительности – завтра же пойду к ней и буду, сколько умею, с ней любезничать. – Я играл там в скучную мушку и проиграл 2 рубля 50 копеек. Потом заходил к Анне Петровне и барону.

28 октября

Поутру ходил я гулять по Невскому проспекту, не успев окончить к сестре письма по причине прихода ко мне малоросса Литвинова; его процессы всё еще идут весьма дурно, потому что он <не дает> столько денег, сколько нужно давать обер-секретарям; я дал ему еще 20 рублей. – К Бегичевым я опоздал обедать и должен был зайти в трактир; возвращаясь оттуда, я нашел письмо от матери и сестры; она соглашается на мое желание вступить в военную службу, вследствие сего я и буду приготовляться к походу, займусь учением кавалерийской службы и турецким языком. За согласие матери я не могу ей довольно быть благодарным: только желаю, мне бы хотелось ей доказать, сколько я чувствую ее любовь ко мне, сколько сие ценю и как бы сердечно хотел ей за всё воздать. – Провидение, Бог или собственное сознание добра, которое она делает, да наградят ей <!> – я не в силах. Я хочу быть счастливым для того, чтобы, если это возможно, сделать ее такою!!!

Окончив письмо к сестре, я (к великой моей досаде) с 7 до 10 часов вечера проспал, а потом пошел к барону; там был Илличевский и князь Эристов; последний очень приятен в обществе: он имеет дар передразнивать и голосом и движениями, он равно хорошо представляет первых актеров здешних театров и ворон, скачущих около кучи выкинутого сора[53].

29–30 октября

Писал я к сестре и матери, обедал у барона. Я купил турецкие разговоры, I часть; во второй части обещает Сеньковской и краткую грамматику; по-моему, гораздо лучше было бы напечатать прежде грамматику, а потом уже разговоры – тогда и последние были бы понятнее.

30 октября

Вечером у Дельвига видел я Плетнева: он учит русскому языку наследника и великих княжон, про воспитание коих рассказывал он некоторые подробности. Барон читал свое “Видение”, писанное рассказом русских песен; Пастушеская последняя его идиллия[54] тоже очень хороша.

31 октября

Павлищев говорил, что будто носятся слухи о мире с турками

и о конгрессе на сей случай, предполагаемом быть: это было бы мне некстати, мои воинственные планы расстроились бы тогда. Теперь все служащие ездят к телу покойной императрицы.

1 ноября

Всё это время я опять ничего порядочного не делаю; надо заняться теперь военными науками, купить учебные кавалерийские книги и пр. Ван дер Вельде я не успею перевести, так я и оставлю начатое; постараюсь написать что-нибудь об моей студенческой жизни. – Вечером я был у Павлищева, где много было музыкантов, между прочими *Глинка*, который, говорят, лучше сочиняет, чем играет, хотя он в последнем и весьма искусен[55]. – Мне музыка напоминала то Ребентиша[56] с деревенскою моею жизнью, то удалые студенческие наши квартеты, особливо под конец, когда каждый играл свое; недоставало только пунша, чтобы довершить *обман (illusion)*.

2 ноября

Целое утро просидел я над письмом к Адеркасу и всё еще не написал его!!! Потом был я в справочном месте; вечером принесли мне письма от матери и сестры, а в последнем милую приписку от Пушкина, которая начинается желанием здравия *Тверского Ловеласа С. Петербургскому Вальмону*[57]. – Верно, он был в весьма хорошем расположении духа и, любезничая с тамошними красавицами, чтобы пошутить над ними, писал ко мне – но и это очень меня порадовало. – Мать посылает мне благословение на войну, а сестра грустит, бедная, – кажется, ее дела идут к худому концу: это грустно, и не знаю, чем помочь; ежели мне вмешаться в них, то во всяком случае будет только хуже. – Странное дело: людям даже и собственный опыт не помогает, когда страсти их вмешаются!

3 ноября

Сегодня тоже весьма приятно начался для меня день получением от Языкова письма с посланием к барону;[58] он извиняется в замедлении ответа на мое письмо обыкновенным расстройством своих финансов, а послание к Дельвигу посылает в доказательство слабости и нездоровья душевных сил, – в этом он не совсем неправ: есть прекрасные стихи, но есть и старые обороты и мысли. Но для меня всё, что вышло из-под пера Николая Михайловича, прекрасно и так же милы <!>, как

нежные уверения любовницы в своей страсти пламенному любовнику. – Я хотел купить уставы для кавалерийской службы, но они очень дороги, их 3 части, и каждая по 20 рублей; также я не мог найти образцов мундиров гусарских и уланских полков. – Барон читал мне цензурой пропущенные стихи Пушкина, Баратынского, свои и Вронченкины, которые будут помещены в “Северных цветах”[59].

4 и 5 ноября

Эти два дня я ничего не сделал хорошего: всё собирался писать письма и не писал. Я опять отвык от дела: как скоро возьмусь за перо, то уже сон меня и клонит и в голове пусто. Я получил письмо от Лизы от 4 октября, отосланное прежде первого ее письма; вот уже более двух недель, как она ни ко мне, ни к Анне Петровне не пишет, – это удивительно: верно, ее слишком тронуло слышанное обо мне; Пушкин тоже прибавил про баронессу – вот верно причины ее молчания; завтра я хочу и к ней писать, если Бог поможет. Императрицу вчера положили в гроб и поставили в Castrum doloris;[60] и теперь пускают к ней без различия. В политическом мире обещают нам конгресс и именно в Петербурге. Дай Бог, чтобы он был и кончился миром: тогда бы искушение мое кончилось. – Вчера рассказывали, будто бы умерла Елена Павловна <?>. Константин, говорят, приехал сюда[61].

6 ноября

Обедал я у Шахматова. Наконец удалось мне написать Адеркасу; к сестре и матери я тоже писал, а вечер, как всегда почти, был у Анны Петровны и барона.

7 ноября

Всю ночь и утро ишел снег, и установилась прекрасная санная дорога; пушистый мягкий снег мне сильно напоминал прошлый год: мое житье в Твери, пороши, охоту и любовные мои подвиги; я желал снова быть там, городская жизнь являлась мне во всей своей пустоте, холодности, и я бы с восторгом ее поменял на однообразную деревенскую; самая метелица меня радовала: я вспоминал, как под таким же ветром, в легких санях, я носился по белым равнинам то к ногам красавицы, то от нее.

Ночь была, кроме маленького ветра, прекрасная; на чистом темно-синем небе высоко стоял месяц, резкие, недлинные тени

домов лежали на чистой и яркой белизне снега и делили улицы на две половины; черта, их разделявшая, тянулась то ровная, то уступами, сообразуясь с неровною высотою зданий. – Я, Анна Петровна и Софья Михайловна поехали кататься – легко скользили сани по уезженной уже улице, следы полозьев ярко блестели в лучах месяца и параллельно тянулись за санями, летел мелкой снег брызгами из-под копыт лошади, и два столба пара клубились из ее ноздрей; много саней видно было на Невском проспекте: иные постепенно перегоняли нас, другие также отставали, изредка лихой извозчик или купец быстро мчалися мимо на рысаках, которые, казалось, неслись не по воле правящих ими, а как будто закусив удила. – Катание было весьма приятное, холод как-то живил и веселил чувства; мы заезжали в кондитерскую выпить сабайону[62] и возвратились домой, довольные прогулкой. – Остальной вечер я просидел у ног Софьи на полу; она была довольно нежна и пела все: “Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей”[63] etc.

8 ноября

Из департамента я заходил поздравить Софью с именинами ее отца и брата[64], а обедал я у Бегичевых, где, разумеется, кроме вопросов о матери и сестре да разговоров об теле императрицы, ничего замечательного не было слышно. Константин, говорят, очень болен. – Потом пошел я к барону и нашел Софью одну: она была очень печальна, и я не мог быть с нею нежен, ибо ее тоска отнимала дух говорить ей что-нибудь на то похожее. Потом пришел барон с Яковлевым, который много пел[65]. Какая прелесть в человеческом голосе! как завиден дар музыки; его самостоятельность, независимость должны творить мир наслаждений самодовольных! – Мы ездили опять кататься, ночь была тоже прекрасна, но лошадь у нашего извозчика была нехороша.

9 ноября

У барона читал я Языкова прежние стихи, которые он еще не знал; из них он похвалил один “Ручей” и говорил, что они только годны для эпиграфов к романам; я с ним согласен: это самые слабые его пьесы и, как кажется, первые; последние его послания ко мне (об празднике студентов и о журналистах) тоже и к барону[66] не соответствовали тоже моим ожиданиям; в них есть хорошие стихи, сильные слова, но нет новых мыслей, обороты их даже те же.

10 ноября

Сегодня в день именин Лихардовой я обедал у нее, сколько успел любезничал и танцовал с нею не только вальс, но и французскую кадриль; муж был в большом, кажется, страхе, чтобы не подумали, что у него бал в такое печальное и траурное время, тем более что он сам недавно потерял маленькую дочь. – Оттуда я зашел к барону; Софья смеялась надо мной на счет Лихардовой и, сколько мне кажется, над нетерпением видеть Анну Петровну; она была очень внимательна ко мне. – Пришел домой, нашел я письмо от матери с припиской от брата Ивана Петровича Вульф. Мать, по заботливому своему нраву, беспокоится об моем вступлении в службу и, кажется, желала бы меня видеть в гвардии – со временем это возможно, – а Иван Петрович пеняет мне за мое молчание и спрашивает о том, об чем уже я ему писал.

11 ноября

Сегодня я пошел поутру *с визитами* (я не знаю русского слова однозначущего, разве: *навещать*). Погода была очень дурная: прекрасная зима, простоявшая 3 дня, еще вчера совершенно сошла, дождь и слякоть осенняя заменили ее; на Литейной встретил я наследника: завидев издали, я хотел, чтобы не кланяться ему, перейти на другую сторону улицы, но грязь удержала меня, ворот или дверей тоже не случилось, в которые можно бы мне взойти, и, нахмуря брови, должен был поклониться. Странна такая неприязнь во мне *к власти* и всему, что близко к ней; самые лица (например, государя) я скорее люблю, чем не люблю, но коль скоро я в них вижу самодержцев, то невольное отвращение овладевает мною, и я чувствую какое-то желание противодействия (braver), как доказательство, что не страшусь их, пренебрегаю ими. – Пообедав у *Пушкиных*, я поехал с бароном, Софьей и Анной Петровной к телу императрицы. – В первый раз я входил в этот дворец. Идучи по широкой лестнице и по высоким переходам, я вспоминал наших царей, что они так же ходили здесь, как мы, а имя их скоро, так же как и наши, забыто будет, – неприятен вид этих пустых и совершенно голых зал, где только кой-где шатается лакей или стоит часовой. Я прошел залу с портретами генералов, не успев взглянуть на них: жаль, что они так высоко повешены, что нельзя рассмотреть верхние[67]. – Наконец в одной из комнат увидели мы толпу кружащегося народа (его впускали с другого подъезда), который, как длинной полосой обойдя одну залу, тянулся в другую; нас провели прямо

поперек этого круга, мимо караула в печальную залу (Castrum doloris).

Первый предмет, который нам бросился в глаза, был священник, читавший евангелие, далее влево виден был катафалк с гробом на нем, покрытым порфирой; толпа народа, дежурных придворных мужчин и женщин, офицеров, кадетов и гренадеров так были перемешаны между собой и так было тесно, что целое не имело ничего порядочного, чинного и печального.[42] Дым от разных курений и от свеч, закоптив совершенно убранный верх катафалка, был так густ, что не видно было потолка; комната была несообразно мала и казалась совершенно загроможденною. – Вот что мог я заметить в несколько минут пребывания моего у тела; я ожидал, что эта картина пышности и печали произведет впечатление в душе, оставит что-нибудь после себя в памяти – нимало, я был там как бы в маскараде.

12 ноября

Поутру я рано вышел из дому посмотреть на герольдов, но я не увидел их, а заходил в Казанскую церковь, где служил митрополит. Пообедав у Павлищева, я ездил вместе с ним к Александру Ивановичу на Выборгскую сторону.

13 ноября

В 9 часов утра поехал я с Дельвигами и Анной Петровной в Павловские казармы[68], чтобы оттуда смотреть на погребение императрицы; мы нашли уже войска поставленными по обеим сторонам Миллионной улицы, от самого Зимнего дворца до Царицына луга и оттуда до Воскресенского моста. Из занимаемого нами окна в одной офицерской комнате стечение народа, разумеется, было чрезвычайно, следственно, были и обыкновенные происшествия, случающиеся в таких обстоятельствах, как то: споры народа с полициею, давка и т. п. В час пополудни началось шествие, потянулись распущенные шляпы и черные плащи, за ними гербы губерний, царств, цехов, печальные кареты и всё при таких случаях следующее.

14–20 ноября

Вот около недели, что я ленился и не писал, – у меня накопилось к этому времени много писем; на 3 письма Лизы я отвечал двумя; она присылала письмо Анны Петровны, в котором та уверяла, что я ее не люблю, – надеюсь, что последние мои

письма уверят ее в противном; к матери и сестре я тоже несколько раз писал и говорил о намерении моем вступить в военную службу. Всё время я болен был геморроидами, которые, кажется, открылись задним проходом, и теперь я еще нездоров; меня уверяли, что это здоровая болезнь и что с нею доживают до глубокой старости (Steinalt). Я был у Wessels с Bayer, которому отдал письмо Франциуса; он звал меня вместе отправиться к Паскевичу-Эриванскому, но мне кажется это слишком далеко. – Как обыкновенно, я бывал каждый день у барона и Анны Петровны.

21 ноября

Сегодня я было хотел побывать у Миллера, Шахматова и Энгельсона, но нигде не был, а обедал у Анны Петровны, а остаток дня просидел дома и читал китайский роман[69]. В справочном месте я не нашел ничего замечательного в газетах. Судя по грамоте на Андреевский орден Дибичу, война у нас непременно продолжится, следственно, и я поеду туда же. Я писал сегодня к матери, а получил письмо от Лизы: она жалуется на молчание. Сегодня вечером от сильного морского ветра вода начала сильно подыматься; около 9 часов уже она выступила из Фонтанки, а теперь, вероятно, еще выше; не будет ли повторения 7 ноября 1824?[70] – Недавно я прочитал роман итальянского W. Scott'a Manzoni "Сговоренные". Как картина нравов того времени (начало XVII столетия) в Италии и как описание некоторых происшествий, как то: холода в Милане, моровой язвы и частью прохода немецких войск, он заслуживает большую похвалу; особенно два первых несчастия хорошо рассказаны, про последние мы более слышим, чем видим, как от мимо нас пролетающей ночью стаи птиц мы слышим шум, не видя их. – Менее хорошо выведены лицы, их черты не резки и не сильны; еще менее можно похвалить самую драму: завязка не занимательна, есть вводные лица, которые совсем не нужны, ход происшествий не жив, нет постепенно возрастающего интереса, и оный совершенно кончится прежде, нежели сочинитель окончит свой рассказ, который сверх того еще чрезвычайно длинен.

22 ноября

Несмотря на свидетельство, присланное из Псковской гражданской палаты, явилось новое препятствие получению денег Надежды Гавриловны: в доверенности Ка те рины Ивановны не сказано именно, что она дает мужу право закладывать имение,

оттого нужно новое верющее письмо – это досадно. Чтобы поговорить об этом, я проездил к Александру мои последние деньги и к тому же еще по-пустому, ибо не нашел его дома. Обедал я у барона – и после сидел один с Софьей: она была нежна, и, несмотря на чеснок, я обнимал и целовал ее; только что я успел выйти, как пришла к ней Анна Петровна – хорошо, что не несколькими минутами ранее. Вечером я был у Павлищевых.

23 ноября

Обедал я у Павлищева, который после пришел ко мне и пробыл целый вечер; говорили мы всё более про 2-ю армию и Витгенштейна, я расспрашивал о гусарских и уланских полках.

24 ноября

Екатеринин день я ходил поздравить Симанскую и Бегичеву[71], после я обедал у первой. Прогулка такая в Коломну, а оттуда в Сергеевскую и назад отозвалася сильно у меня в ногах; после обеда был я у Вессельса с Байером, оттуда, не нашед Лихардова дома, я был у барона. Там видел я Титова, сотрудника “Московского вестника”, и Туманского (брата Федора Туманского). Софья упрекала меня в нежности к ней – и была со мною еще нежнее прежнего, чесночный дух (третьего дня она с мужем много его ела) не отнимал более ничего от сладости поцелуев – она сидела у фортепиан, и, стоя перед нею на колене, мне ловко было ее обнимать, тогда когда ее рука окружала мою шею… Так наша воля слаба, наши намерения противоречат словам – после каждого поцелуя она закрывала лицо и страдала от того, что сделала и что готова была снова повторить, – я молчал, не смел не только утешать или разуверять, но даже говорить; оставлял ее и бегал по комнате. Надо кончать наслаждаться, забыв всё, или совсем не искушать себя напрасно.

25 ноября

Поутру писал я к Лизе, а потом, зашедши к барону, я остался там целый день; вечером был там Иван Яковлевич Туманский и Сомов. Мы просидели до 2-х часов; Софья была как всегда мила, но мы не имели случая быть очень нежными. – Пришедши домой, я нашел письмо от Франциуса, который зовет меня на свадьбу, имеющую быть через три недели; тяжело мне будет, если я принужден буду не исполнить обещания и не поеду к нему: теперь я не предвижу никакой возможности исполнить мое

желание, однако не теряю еще надежды – 500 рублей довольно бы мне было на эту поездку, – но где их взять?

26 ноября

При мне получили *Пушкины* письмо ото Льва из Тифлиса;[72] как Надежда Осиповна обрадовалась ему – если бы он это видел, верно, чаще и больше бы писал; смотря на нее, я думал: так и моя мать будет радоваться, когда я буду писать с Дуная. – Время приходит, что и мне пора будет ехать, расстаться со всем, что я знаю, что люблю; я должен буду жить с людьми совершенно другого рода и, может быть, Бог знает какими! – но это мелочь, пустота: я должен привыкнуть жить с самим собою; кто желает достигнуть чего-нибудь, произвести из самого себя что-нибудь достойное, должен быть доволен сам себе. – Я вечером был дома, чтобы писать письма, и приготовил к отправлению к матери, сестрам и к Лизе.

27 ноября

Были у меня Байер и Вессельс, а вечером приехал Петр Маркович из Твери совсем неожиданно. Лиза жалуется на мое молчание и говорит, что получила только 2 письма от меня; это удивительно, тогда когда я к ней писал около 6 раз. – Она мне прислала выписку из “Записок современницы” (les Memoires d’une Contemporaine), письма Napoleon к Josephine:[73] они очень хорошо написаны и очень нежны.

28 ноября

Петр Маркович у меня остановился; к нему сегодня приходила Анна Петровна, но, не застав его дома, мы были одни. Это дало мне случай ее жестоко обмануть (la raté); мне самому досаднее было, чем ей, потому что я уверил ее, что я ранее кончил, а в самом деле не то было, я увидел себя бессильным, это досадно и моему самолюбию убийственно. – Но зато вечером мне удалось так, как еще никогда не удавалось. – Софья была тоже довольно нежна, но не хотела меня поцеловать. Я заказал себе новую печать – и раскаялся потом в этой издержке; моего Байрона я тоже отдал переплесть.

29 ноября

Сегодня я тоже получил от Лизы письма от 4 по 8 число и

посылку с вязаным галстухом для дороги: письма очень нежны; я пришел из департамента и тотчас сел отвечать на него <!>; до 7 часов я писал, а потом пошел к Надежде Гавриловне, но не нашел дома; потом катался с бароном и с Анной Петровной, у которой пробыл и вечер.

30 ноября

Сегодня целый день пробыл я дома, ходил к Бегичевым, но они уже обедали, Анны Петровны я тоже не застал дома, а Софья вечером была нездорова и лежала в постеле, следственно, я никого не видал. После обеда (не моего, потому что я не обедал) писал я к Лизе и получил еще письмо от нее от 17 числа. Надо отвечать Франциусу и Языкову, особенно первого поздравить должно с свадьбою.

1 декабря

Поутру я ходил в справочное место, оттуда заходил в юнкерскую школу, где видел Дирина и брата Шепелева; в каморах всё очень чисто и порядочно, но не заметно следа, чтобы кто-нибудь из воспитанников чем-либо занимался. Пообедав у *Пушкиных,* я был *на вечере у* Межуева (чиновника нашего отделения), который праздновал свое обручение, или что-то на то похожее на то <!>. Я не много танцовал, ибо ни одной девушки не было, которая бы по крайней мере порядочно танцовала; одна невеста только довольно хорошо, но и то не очень: молоденькая купеческая дочка – вот и всё. – Был там на днях из Тульчина приехавший адъютант Бистрома, который много рассказывал про войну и осаду Варны. Он был в отряде, которой послан был за лиман против турок Омера Ваиоси. Их было не более 5000 против 30 тысяч турок. Он хвалил их кавалерию с очень длинными тростниковыми пиками. Пехота тоже регулярно обучена и ходила на штыки, но, нашед на Павловских усачей[74], она, разумеется, не устояла. Казачья артиллерия отличилась в этом отряде, особенно один артиллерийский офицер Суворов: быстротою своих движений и меткостью выстрелов он заставил турок узнать себя. Без прикрытия один носился он в аванпостах; подъезжая на близкое расстояние, пока неприятель не успевал опомниться, он уже картечами его бил. – Даже он оставался ночью на форпостах с орудиями. Говорят, некрасовцы служат в турецкой артиллерии, как наши казаки; они настоящие наши мужики, сохранили обычаи и язык турецкий. Правительством они весьма довольны и говорят, что хорошо бы, если русский царь их так берег, как

султан. – В цепи они говорят с нашими казаками и перезывают к себе их, говоря: вы едите черные сухари, а мы белые [75].

2 декабря

Навещал я поутру Наталью Васильевну и Миллеровых, обедал у Бегичевых, где Павла Ивановна больна лежит в постели, как говорят, желудочною лихорадкою; оттуда ходил я к Надежде Гавриловне, играл там с Netty[76] и с Ададуровой (красавицей Петруши)[77] в слова, которые должно отгадывать по последним слогам, и наконец был у барона; Со фья Михайловна больна зубами; там был Илличевский. Вчерашнею ночью выпал большой снег, и, кажется, зимний путь установится, так что мы на санях можем выехать отсюда. Около 15 числа обещает Петр Маркович выехать отсюда – мне бы очень было это приятно.

3 декабря

Обедал я сначала с одной Софьей, а под конец обеда приехал и барон. – После обеда я проспал у Анны Петровны, а вечер дома читал “Красавицу Пертскую”, один из последних романов W. Scott’a. Он, кажется, во всех сочинениях своих остается равно занимателен от соединения исторического описания с описанием нравов, времени вообще, с частными лицами.

4 декабря

Я заходил в департамент с тем, чтобы получить за два месяца следующее мне *скромное, бедное* мое жалование, но не было экзекутора; в отделении Шахматова не было тоже и старшего начальника по случаю именин жены первого. Я сходил поздравить ее и был приглашен на вечер. – Возвращаясь домой, я, к удивлению моему, нашел у себя моего столоначальника Платунова и, судя по времени дня, в слишком веселом расположении духа. Я догадался тотчас <о> причине сего посещения, взглянув на влажные, туманные глаза и вспомнив, что я слышал про его склонность к хмельному. – Сколько я ни люблю вино, пенящееся в дружественной чаше и оживляющее беседу, согревая ум, сердце; как ни весело иногда видеть приятеля, которого головою завладел хмель и которого язык без воли говорящего передает мысли скорей, чем они составятся в душе, – но вид пьяного просто неприятен, жалок и мне. – Вечером я танцовал у Шахматова. Там были: дом Всеволодского, его побочная дочь, княжна Шаховская и пр. Было еще два молодых

человека, братья.[43] Танцы не очень хорошо ишли за недостатком играющих на фортепьяно и танцующих. Вальсирую с одною роскошною, хорошо сотворенною и молодою вдовою, которая и лицом не дурна, я заметил, что в это время можно сильно действовать на чувственность женщины, устремляя на нее свою волю. Она в невольное пришла смятение, когда, мерно, сладострастно вертяся, я глядел на нее, как бы глазами желая перелить негу моих чувств: я буду делать опыты, особенно с женщинами горячего темперамента. С княжной *Шаховской* один из братьев глупо нежничал и ревновал меня к ней, потому что она обращалась несколько раз ко мне, а она и все прочие смеялись над ним. Мне жаль, что я не поддержал знакомства с Всеволодскими – теперь поздно.

5 декабря

Поутру ходил я на второй торг имений для Петра Марковича, а остальное время дня провел я у барона и Анны Петровны. – Барон расспрашивал меня об намерении моем идти в военную службу, удивлялся ему и представлял все невыгоды его. Такие слова, а особливо любовь к спокойствию и удовольствия светской здешней жизни, сильно стали бороться с мужественным моим намерением; все выгоды здешней жизни: приятное общество, легкость занятий службы, способность к учению и расширению знаний, непринужденность и большая свобода поступков – являлись мне во всём своем блеске, между тем как трудность, опасность и неприятность военной жизни еще разительнее казались от сравнения. Весь вечер такие мысли, сравнение одной жизни с другою меня тревожили; мое намерение перемены образа жизни начало колебаться, я стал сожалеть, что так много говорил, и вздумал, что из Твери еще можно сюда воротиться, сделав, как будто я ездил на праздники в отпуск. Но возвышеннейшие чувства, желание прочной славы и достижения какой-нибудь достойной цели восторжествовали над слабою женообразною склонностью к неге и наслаждениям: я решился снова отречься от удовольствий общественной жизни, пожертвовать *всем* ради одной возможности достигнуть *всего*. – И теперь я радуюсь, что имел столько силы устоять против стольких приманок. – Оставшись здесь, я чувствую, что во мне бы заснуло желание усовершенствования самого; я бы привык к бездействию, которое и теперь, я замечаю, уже менее тягостно мне; в мелочных, бесполезных для ума и сердца удовольствиях я бы провел лучшие мои лета, а к чему я после полезен бы был с моим безнаитием и неспособностью? – Слава Богу, слава Богу! Я теперь могу

надеяться чем-нибудь быть полезну себе и человечеству! Ежели же Провидению угодно будет пресечь мою безвременную жизнь, то я верю, что *Его* премудрость устроит это к лучшему; добро, которое я мог сделать, выполнит тогда другой, достойнее меня, и даже ближние мои, верно, не потерпят от того. – А смерть? – она всегда неизбежна, рано или поздно; так к чему же об ней заботиться и опасаться ее! Аминь!

6 декабря

Николин день я делал некоторые посещения, но не заставал дома; обедал у Надежды Гавриловны, а вечером заходил к моему хозяину, а после к барону. – Софья всё раскаивается в нежностях ко мне и винит себя.

7 декабря

В департаменте я узнал, что жалованья мне не назначено. Я не понимаю от<чего>, и если бы я остался, то до́лжно бы было узнать почему, теперь же мне всё равно. – Очень неприятно, что по сю пору не вышло из Сената переименование мое, потому что аттестаты мои теперь там и я их получить не могу, что меня заставит взять только отпуск на 28 дней или более, пока не придет решение Сената. Через несколько дней можно мне, кажется, будет ехать отсюда с Петром Марковичем, которого покупка, по-видимому, не состоится. Нужно мне сделать некоторые покупки, а денег у меня еще нет; много хлопот на эти дни мне будет.

8 декабря

Зашедши на минуту в департамент, где я написал черновое прошение в отпуск, поехал я в Сенат, в герольдию, где узнал, что дело об переименовании меня в 12-й класс уже окончено; для подписания оно находится теперь у министра просвещения и на этих днях будет отправлено в департамент. Это, конечно, хорошо, но лучше бы было, если бы теперь всё уже кончено было и я бы мог получить при отставке и мои дипломы, необходимо нужные для вступления в военную службу. Теперь придется мне ехать с одним отпуском. Я заказал себе саблю и нашел продающиеся пистолеты: таким образом, самым нужным я уже запасся. Я купил Гнезиуса немецкую грамматику и отыскал сочинения Бессмарка о тактике кавалерии; всех купить дорого, а некоторые непременно нужно. Таким образом, я начинаю приготовляться к военной

жизни моей; решено – я натачиваю мой меч боевой, который, может статься, не отразит и первого вражьего удара – кто знает?

9 декабря

Я был у Бегичевых, где довольно долго просидел после обеда, приготовляя корпию; после сидел у своего хозяина с забавной его дочерью, а оттуда пошел к барону. – Я получил от матери и Лизы письма; первая пишет об окончательной сделке касательно имения и зовет меня скорее приехать, а вторая говорит обыкновенные нежности и ждет меня тоже – скоро исполню я их желание.

10 декабря

Наконец я заказал для сестры раму к ее портрету Байрона[78]. Из департамента я ходил искать часов для себя и Миши – для них и других разных покупок нужно мне будет около 400 рублей. – Я еще всё не зная, проситься ли мне в отпуск или прямо в отставку: завтра поутру сходить надо поговорить об этом с Шахматовым. Обедал я у Анны Петровны с Петром Марковичем, а после проспал и просидел дома, за то хочу как можно позже лечь спать. Этими днями надо написать последнее письмо отсюда к Языкову – я по сю пору не отвечал на его последнее. Я видел Вронченкин перевод “Гамлета”:[79] он хорош, но стихи всё еще не гладки и тяжелы у переводчика, хотя перевод его и должен быть верен и близок к оригиналу. Нельзя то же сказать про переводы Шиллера (Wallenstein) и Гёте (Götz) Шевырева[80], язык в них несравненно хуже, и сверх того еще они не верны, как говорят сравнивавшие их. – Вронченко напомнил мне теперь отрывок, переведенный Плетневым тоже из Шекспира: признание в любви Ромео и Юлии, когда ночью из саду Ромео через окно разговаривает с Юлиею; эта сцена есть одна из прекраснейших, которые написал Шекспир; простота, невинность и сила чувств Юлии в ней прелестны, восхитительны – зато и Плетнев прекрасно нам ее передал; он далеко оставляет за собой нашего дерптского переводчика[81]. – В пятницу – 14 число, следственно, через 4 дня и ровно через год после моего отъезда из Тригорского я думаю выехать отсюда. С какими удалыми надеждами я ехал сюда! – и сколько их исполнилось? – ни одной!.. Теперь их тоже много в груди, но через год им такая же будет судьба, может статься, и всю жизнь! [44] В таком случае вопрос Гамлета: “Быть или не быть” – сам разрешится всё равно.[45]

11 декабря

Подал я просьбу об отставке меня из службы и надеюсь скоро получить оную. Петра Марковича задерживают в ломбарде, не выдавая ему денег: обещали прежде выдать завтра, а теперь отсрочили до четверга, а может быть, и до будущего вторника; весьма досадно, если нам придется так долго ожидать по-пустому деньги и терять время. – Весь день я пробыл у барона. Софья очень была мила со мною, уверяла, что ей тяжело будет расставаться со мною и что часто вспоминать будет обо мне. – Там был Плетнев и Подолинский, также один поляк Жельветр, который приезжал заговаривать зубную боль Софьи; он очень смешил нас своим обращением[82].

12 декабря

В департаменте я отдал на гербовую бумагу – на производство дела по просьбе об моем увольнении: всего 9 рублей мне это стоит покуда. О возвращении дипломов моих нужно, как говорят, сделать особенное отношение в герольдию. Я думаю, что я и без них могу обойтись. Петру Марковичу обещают в пятницу (14) выдать деньги, следственно, в субботу можно нам будет выехать: дай Бог успеть нам в нашем намерении. Обедав у Пушкиных, узнал я, что Александр Сергеевич уехал из Малинников и уже в Москве теперь[83], – жаль, что я его не застану у нас. Вечер я провел у барона; Эристов был там очень забавен, Софья, несмотря на зубную боль, в минуты отдыха была любезна, т. е. нежна, охала, что желает, чтобы зубы ее болели, пока я не уеду, чтобы развлечь себя тем; это очень мило и хорошо сказано.

13 декабря

Я еще не получил отставки. Ходил смотреть саблю; она готова, а пистолеты нашел я уже проданными: это меня очень расстроило на целой день, я был не в духе, просидел дома после обеда, а вечер проспал у Анны Петровны. Дельвигов целой день я не видал и по-пустому ездил обедать к Бегичевым.

14 декабря

Наконец Петр Маркович получил деньги, и я с 400 рублями поехал делать покупки и прощальные мои посещения; но в это утро я не успел всех сделать, также не получил я и отставки – завтра обещают ее мне отдать. – Сегодня память бунта, служили

панихиду по Милорадовичу в Невском монастыре;[84] но сколько людей верно плакало и об несчастных, которые пережили и не пережили этот день!! Мир окончившим! и да прекратит судьба скоро страдания еще живых! – После 10 часов я приехал к барону. Софья еще больна, но зубы ей уже заговорил поляк: они перестали болеть. Она была очень любезна, только не удалось мне ни на минуту остаться с ней наедине. – Завтра я буду там обедать, а оттуда тотчас мы и намерены отправиться в путь.

1829

5 января. старица

Вот скоро целый месяц, что я не писал; тому причина то, что я оставил Петербург и кочую теперь в Старице и ее окрестностях. Вот с самого Рождества я живу здесь; с матерью и сестрою Анною мы приехали провести здесь Святки, после приехала Евпраксея от Павла Ивановича, а перед нею Саша с Лизой. Всякий день, и почти целый, мы бываем у Вельяшевых; там я занимаюсь с здешними красавицами: Катинькою, Машенькою Борисовой и Натальею Федоровной Казнаковой. По сю пору они довольно благосклонно принимали мои приношения их прелестям, но Катинька, кажется, более занята любовью Ивана Петровича, хотя и не разделяет ее. 30-летний юноша очень забавен с своей страстью; я его вчера взбесил, сказав, что он влюблен: он считает за недостойное влюбиться и никак не хочет сознаться в своей страсти.[46]

Целые дни он проводит, сидя руку в руку или играя в шашки с прелестницей своею, которая точно мила. Она очень стройна и имеет много приятности во всех своих движениях и обращении. Мне бы очень приятно было ей понравиться, но никак бы не желал в ней родить страсть: это скучно, я желаю только нравиться, занимать женщин, а не более: страсти отнимают только время; хорошо, ежели не имеют дурных последствий; для меня уже довольно – я насытился ими. Ма шенька Борисова сначала улыбалась мне и благосклонно смотрела своими хорошенькими глазками на меня, но теперь кажется недовольна чем, что я не исключительно ею занимался; она вчера уехала. Третьего дня я понравился, кажется, особенно понравился Наташиньке Казнаковой на маскераде у Казнакова; я был к лицу одет и танцовал много с ней. Тут же и Катинька была очень мила со мною. Этот вечер я провел очень приятно; мы танцовали до 5-ти часов утра, хотя танцующих мужчин было мало.

21 декабря 1829 г. сарыкиой[1]

Во всё мое пребывание в Малинниках и Старице, год тому назад, успел я только написать эти страницы. Теперь, на свободе, в уединенной моей хате, воспоминание этих дней часто занимает меня; я вижу и грустную Лизу, которой каждое движение, каждое слово, каждый вздох был сознанием в любви – мне упреком, и

умную Сашу, соперницу холодной Катиньки, которая проста, пуста,

Но эти перси и уста, —
Чего они не заменяют!
(Языков)[2] —

и старицких красавиц, меня соблазнявших. Я решился пополнить, сколько можно, мой дневник, описав эти дни, богатые для меня происшествиями любовными и глупостями с моей стороны. Откровенно сознаюсь я в них в надежде, что впредь подобных не стану делать.

29 декабря 1829 г. Сарыкиой

Выезд из Петербурга. 15 декабря 1828 г. В прекрасную зимнюю ночь по гладкому уезженному шоссе в широкой кибитке поскакали мы, я с Петром Марковичем Полторацким, 15 декабря вечером, после 9 часов, из Петербурга. Несмотря на то что я выезжал с намерением отправиться в армию на Дунай, расставание для меня с столицей Севера было совсем не тягостно; я не жалел об удовольствиях и спокойной жизни, которую я оставлял, зная, что первыми я не имею способов пользоваться вполне, а жизнь, которую я доселе вел, давно меня томила. Людей я тоже не оставлял, к которым бы я столько был привязан, чтобы разлука с ними меня очень печалила; одна Анна Петровна имела право на сожаление по ней. Софья Михайловна, хотя и очень нежная со мною, всегда благосклонная ко мне, как к своему родному, не занимала меня до той степени, чтобы мне очень тяжело было ее оставлять, – следственно, простившись очень нежно с Анной Петровной и с Софьей Михайловной, а с бароном очень дружественно (он рад был, что сбывает с рук опасного друга и от того только смеялся над нежностями его жены со мною), я уехал в очень хорошем расположении духа. Кроме богатых надежд на славные подвиги, на поэзию жизни военной, на удовольствие видеть новые страны и народы, я ожидал еще на первый случай много удовольствия дома между родных, в кругу хорошеньких двоюродных сестриц; одна только встреча с Лизою меня тревожила.

Лиза. Вот история моей связи с ней. За год ровно, день почти в день (я приехал в Петербург 17 декабря 1827) перед сим, приехав в Петербург кандидатом успехов вообще в обществе и

особенно в любви, по слуху, не видев еще Лизу, я решился избрать ее предметом моего первого волокитства: как двоюродная сестра она имела все права на это. Я нашел ее девушкою уже за двадцать лет, высокого роста, с прекрасною грудью, руками и ножками и с хорошеньким личиком: одним словом, она слыла красавицею (une très jolie personne[3]). Родство, короткая связь с сестрою ее, способность всякий день ее видеть – всё обещало мне успех. Сначала он мне даже показался скорым, ибо уже во второй день нашего знакомства, вообще видев ее только несколько часов, я вечером, обнимая ее, лежавшую на кровати, хотел уже брать с нее первую дань любви, однако не успел: она не дала себя поцеловать.

2 января 1830

По первому успеху я думал дело сделанным, но не тут-то было. На другой день я нашел ее совсем не такою, как ожидал, а скучною и совсем со мною не любезною; точно так же и следующие дни. Я никак себе не мог объяснить такого обращения.

Софья Михайловна Дельвиг. Между тем я познакомился в эти же дни и у них же с общей их приятельницею Софьей Михайловной Дельвиг, молодою, очень миленькою женщиною лет 20. С первого дня нашего знакомства показывала она мне очень явно свою благосклонность, которая меня чрезвычайно польстила, потому что она была первая женщина, исключая двоюродных сестер, которая кокетничала со мной, и еще от того, что я так скоро обратил на себя внимание женщины, жившей в свете и всегда окруженной толпою молодежи столичной. – Рассудив, что, по дружбе ее с Анной Петровной и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, что связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою, решился я ее предпочесть, тем более что, не начав с нею пустыми нежностями, я должен был надеяться скоро дойти до сущного. – Я не ошибся в моем расчете: недоставало только случая (всемогущего, которому редко добродетель или, лучше сказать, рассудок женщины противустоит), чтобы увенчать мои желания. – Но неожиданно всё расстроилось. Муж ее, движимый, кажется, ревностью не ко мне одному, принял поручение ехать на следствие в дальнюю губернию и через месяц нашего знакомства увез мою красавицу[4].

Разлученный таким образом, по-видимому, надолго с предметом моего почитания и сделавшись от того свободным, в кругу небольшого моего знакомства не нашел я никого другого, кроме Лизы, чем можно бы было с успехом заняться. –

Обстоятельства были мне чрезвычайно благоприятны. В этот месяц я короче познакомился с ней. Бывая всякой день с нею, принимая живое участие, по родству и дружбе с Анной Петровной, в затруднительном положении их отца, который приехал в Петербург по делам (и не знаю, для чего привез с собою Лизу), а жил там по невозможности, за недостатком денег оттуда выехать, я сделался советником и поверенным обеих сестер, а часто посредником и мирителем между отцом и дочерьми. Эти же затруднительные денежные обстоятельства и болезнь Анны Петровны были причиною, что они никуда совершенно не выезжали и что молодежь перестала у них бывать. Я остался один, который зато всякий день и целый день там сидел. – Давно уже открыл я, что имею счастливого соперника, причину тоски и нервических припадков моей красавицы, молодого человека, богатого, известного красавца… и дурака, но счастье помогло мне его вытеснить тем, что, кажется, она одна была занята им, а не он ею, и тем, что она не имела случая часто его видеть. – После двухмесячных постоянных трудов, снискав сперва привязанность как к брату, потом дружбу, наконец я принудил сознаться в любви ко мне. – Довольно забавно, что, познакомившись короче, я с нею бился об заклад, что она в меня влюбится.

Не стану описывать, как с этих пор возрастала ее любовь ко мне до страсти, как совершенно предалась она мне со всем пламенем чувств и воображения и как с тех пор любовью ко мне дышала. Любить меня было ее единственное занятие, исполнять мои желания – ее блаженство; быть со мною – всё, чего она желала. – И эти пламенные чувства остались безответными! они только согревали мои холодные пока чувства. Напрасно я искал в душе упоения! одна чувственность говорила. – Проводя с нею наедине целые дни (Анна Петровна была всё больна), я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представляются роскошному воображению, однако не касаяся девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, что<бы> в пылу восторгов не переступить границу, – ибо она сама, кажется, желала быть совершенно моею и, вопреки моим увериниям, считала себя такою.

После первого времени беззаботных наслаждений, когда с удовлетворенной чувственностью и с прошедшею приманкою новизны я точно стал холоднее, она стала замечать, что не столько любима, сколько она думала и сколько заслуживает. С этих пор она много страдала и, кажется, всякий день более любила. Хоть и удавалось мне ее разуверять, но ненадолго; холодность моя становилась слишком явною. – Я сам страдал

душевно, слишком поздно раскаивался; справедливые ее упреки раздирали мне душу. Приближавшийся ее отъезд с отцом умножал еще более ее страдания – и любовь. Это время было для нас обоих ужасное. – Наконец роковая минута настала, расстроенное ее здоровье, кажется, изнемогало от душевной скорби. Без слез рыдая[5], холодные и бледные уста замирали на моих, она едва имела силы дойти до кареты… Ужасные минуты! Ее слезы въелись мне в душу.

С моею матерью и сестрою поехала она в Тверь, где еще имела огорчение узнать мои прежние любовные проказы и некоторые современные. Несмотря на всё это, мне легко было в письмах ее разуверить – как не поверить тому, чего желаешь! Ответы ее были нежнее, чем когда-либо. – В таких обстоятельствах встреча моя с нею опять очень меня беспокоила.

3 января 1830

Приезд в Малинники. <1828>. Дорога зимняя была очень хороша. Без особенных происшествий доехали мы в двое суток до Торжка. Не доезжая несколько верст до него, мы заехали переночевать к тамошнему помещику Львову[6], родственнику Петра Марковича и очень хорошо знакомому всему семейству Вульф. – Я провел вечер довольно приятно; жена его и две дочери очень милы и любезны. На другой день отправились мы далее; в самом Торжке я тоже познакомился с семейством других Полторацких, детей Павла Марковича[7], и видел одну старую деву Лошакову, дальнюю родственницу нашу, которая лет 12 тому назад жила у нас в доме[8].

18 декабря <1828>. Наконец в два часа пополудни приехали мы к тетке Анне Ивановне Понафидиной[9], где жил Петр Маркович с Лизой. Подъезжая к дому, где полагал я, что встречу мою любовь, сердце мое забилось, но не от ожидания близкого удовольствия, а от страха встретиться с нею. На этот раз я избавлен был мучительной сцены первого свидания: Лиза с новым своим другом Сашей были в Старице у Вельяшевых. (Дружба этих двух девушек единственна в своем роде: Лиза, приехав в Тверь, чрезвычайно полюбила Сашу, они сделались неразлучными, так что хотели вместе ехать в Малороссию. – Лиза, знав, что я прежде волочился за Сашей, рассказала тотчас свою любовь ко мне и с такими подробностями, которые никто бы не должен был знать, кроме нас двоих. Я воображаю, каково Саше было слушать повторение того же, что она со мною сама испытала. Она была так умна, что не отвечала подобною же

откровенностью.)

Уведомив в нескольких строчках Лизу об нашем приезде, вечером поехал я домой к своим в Малинники. Надобно ехать мимо самого берновского дому, где жила моя добродетельная красавица[10], за год расставшаяся со мною в слезах, написавшая ко мне несколько нежных писем, а теперь, узнав мою измену, уже не отвечавшая на любовные мои послания. Как можно было проехать, не взглянув на нее? я же имел предлог отдачи писем. – Моя прелесть вспыхнула и зарумянилась, как роза, увидев меня. – Я же заключил, что она еще не совершенно равнодушна ко мне, но несносная ее беременность препятствовала мне; когда женщина не знает, куды девать свое брюхо, то плохо за ней волочиться. – Полюбовавшись на Катиньку, поехал я в Малинники. Там я нашел дома только мать с сестрою: Евпраксея жила у Павла Ивановича, а Саша была в Старице. Мы были очень рады друг друга видеть, как разумеется, и провели вечер в разговорах о петербургских знакомых. От сестры же я узнал всё, что здесь делали мои красавицы и Пушкин, клеветавший на меня, пока он тут был.

На другой день увидел я и Евпраксею. Она страдала еще нервами и другими болезнями наших молодых девушек. В год, который я ее не видал, очень она переменилась. У ней видно было расслабление во всех движениях, которую <!> ее почитатели назвали бы прелестною томностью, – мне же это показалось похожим на положение Лизы, на страдание от не совсем счастливой любви, в чем я, кажется, не ошибся. К праздникам собирались мы ехать в Старицу, чтобы провести их там вместе с Вельяшевыми, и ожидали там много веселья. Прежде чем мы поехали туда, ездил я еще в Берново. Неотлучный муж[11] чрезвычайно мешал мне; она твердила мне только об моей неверности и не внимала клятвам моим, хотела показать, будто меня прежде любила как братски (не очень остроумная выдумка), точно так же, как и теперь.

Весьма ею недовольный, оставил я ее…

Монастырище, 7 января 1830

В четверг, 20 декабря <1828>, я, мать и сестра Анна отправились в Старицу, которая от Малинников лежит в верстах 30.

Старица. Я ожидал там найти Лизу и Сашу; оттого, когда мы подъехали к дому Вельяшевых и сестра вышла из саней, чтобы туда идти, а мать хотела прямо ехать в дом, для нас нанятой, то я долго не решался, что мне делать: остаться ли с матерью или

идти с сестрой – так я боялся встречи с моей любовью. – Случай еще раз отсрочил эту трогательную сцену: два друга в этот же день поехали к Понафидиным. Лиза долго ожидала меня, но наконец надо было ехать к отцу. – Я очень был рад, что еще на несколько дней остался свободен.

Катинька Вельяшева. Здесь я нашел две молодых красавицы <!>: Катиньку Вельяшеву, мою двоюродную сестру, в один год, который я ее не видал, из 14-летнего ребенка расцвевшую прекрасною девушкою, лицом хотя не красавицею, но стройною, увлекательною в каждом движении, прелестною, как непорочность, милую и добродушную, как ее лета.

Марья Борисова. Другая, Машенька Борисова, прошлого года мною совсем почти не замеченная, теперь тоже заслуживала мое внимание. Не будучи красавицею, она имела хорошенькие глазки и для меня весьма приятно картавила. Пушкин, бывший здесь осенью, очень ввел ее в славу[12]. – Первые два дня я провел очень приятно, то в разговорах с сестрою, то слегка волочившись за двумя красавицами, ибо ни одна из них не делала сильного впечатления на меня, может быть от того, что, недавно еще пресыщенный этой приторной пищей, желудок более не варил[13]. Они слушали благосклонно мои нежности, и от предстоявших балов я ожидал еще большего успеха. Мы уже наверное знали, что у *полковника Торнау* (командира стоявшего здесь Оренбургского уланского полка) будет накануне Рожества для детей *Weihnachtsbaum*, или елка[14], и для взрослых бал.

Иван Петрович Вульф. Не долго пользовался я спокойствием: сначала воротился от своего отца, куда он ездил на именины, мой двоюродный брат Иван Петрович Вульф, служащий в здесь стоящем уланском полку. Он очень хороший человек, с умом и способностями, которые не имел случая развернуть, живучи с самого выхода из корпуса пажей здесь в деревне. К несчастью моему, несмотря на 30 лет, он влюбился в свою 15-летнюю кузину Катиньку по уши, как я когда-то любил Анну Петровну, и стал ужасно ревновать к ней. Видя первой вечер, что она очень хороша со мною, он почти выходил из себя: твердил, что в мире всё химера (любимое его выражение), что он поедет против турок и пр. – Потом, объяснившись, как кажется, он оставил воинственное намерение, а только уже не отходил во всё время моего пребывания там ни на шаг от нее.

Встреча с Лизой. На третий день моего приезда в Старицу приехала наконец и Лиза с отцом, Сашей и Понафидиными. Из саней вышедши, она прямо пошла наверх во второй этаж, где жили, по тесноте, все молодые девушки, до 10 всех на всё, в двух маленьких комнатах, под предлогом переодеванья. Я оставался

внизу, надеясь, что присутствие публики избавит меня трогательных сцен свиданья: слез, обмороков и т. п. Ошибся я: без них не обошлось. Саша (та самая, которая ровно год назад мучила меня тем же самым образом, печальною разлукою после года спокойных наслаждений, став другом и товарищем моей любовницы, сделалась нашим посредником), встретив меня довольно холодно, без упреков, объявила, что меня ожидают наверху: нечего было делать – я принужден был туда идти. Взойдя на половину лестницы, я увидел на верху оной Лизу, ожидающую меня, окруженную всем чином молодых дев. Недовольный блистательным таким приемом, еще увеличивающим затруднительное мое положение, сказал я не помню что-то, долженствовавшее выразить обыкновенное удовольствие встречи, и стал за нею, как бы желая дать проход всему народу, стоявшему у лестницы, вероятно, для того, чтобы сойти с нее. От этих ли слов, или от встречи просто, или от чего другого, не знаю, но красавица моя упала в обморок в руки шедшего за мною Ивана Петровича, который, вскинув ее на мощные плечи, понес до ближней постели. Быть причиною и зрителем всего этого было мне весьма неприятно. Понемногу она пришла в себя: когда очутилась на постели, мы, оставшись втроем с Сашей, успокоили ее.

11 января 1830. Монастырище

Я уверил ее, что ее люблю, а она была нежнее, чем когда-либо; только я не был в духе пользоваться этой нежностью. Между рассказами о прошедшем и будущем вдруг говорит она, что имеет очень важное у меня спросить, а именно: что отвечать ей на предложение барона Меллер-Закомельского, который, познакомившись с ней две недели тому назад, сватается за нее? – Сперва я не хотел этому верить и принял за шутку, потому что, во-первых, я никак не думал, чтобы здесь, в Старице, нашелся вообще жених, а еще менее считал Меллер-Закомельского способным так скоро влюбиться; что по любви он жениться хотел, это казалось явно, потому что он должен был <знать>, что Лиза не имеет большого состояния, а он тоже не имеет столько, чтобы при выборе жены ему не рассчитывать; но это точно было справедливо. Раздумав, я объявил ей, что в этом случае решительно ничего не могу отвечать: она сама должна располагать своею судьбою, а не я; если я посоветую идти за него, это всё равно, что сказать: я тебя не люблю; а советовав отказать ему, даешь право после упрекать себя, что ради меня она не вышла за человека, с которым была бы счастлива. Три дни взято

было Лизою сроку на ответ; после нескольких сцен с отцом, который, не знаю из какой выгоды, очень желал этого замужества, отказали Меллеру-Закомельскому. С этих пор Петр Маркович, бывши со мной всегда дружен, вдруг сделался чрезвычайно сух со мною, как будто тут впервые заметил нашу связь с Лизой. – Она, кажется, ничего с ним не потеряла: Меллер-Закомельский человек совсем не таких качеств, которые составляют семейственное счастье. Он скоро утешился, а теперь, как пишут, хочет жениться на другой моей двоюродной сестре. – Дай Бог им счастья.

Положение мое в отношении с красавицей было весьма затруднительно. Несмотря на 3-хмесячную разлуку с Лизой, я не мог себя принудить быть с ней таким же, как прежде, – очарование исчезло. Наружное же внимание я должен был иметь к ней, чтобы не вовсе растерзать душу, кроме того уже много страдавшую от меня. Столько, однако, власти над собой я не имел, чтобы для нее отказаться от удовольствия волочиться за другими. Таким образом мы мучили друг друга.

Пришли праздники Рожества. Торнау, более любезный хозяин, чем полковой командир, дал нам очень приятный вечер накануне оного; мы много танцовали, а я кокетничал, но только не с Лизой и Сашей, а со старыми любовницами. – Здесь я познакомился с полковником Кусовниковым, служившим прежде в лейб-гусарах, а потом адъютантом у принца Виртембергского (теперь получил Тираспольский кавалерийский егерский полк), человеком хотя и не блистательного ума, но очень добрым и милым; он волочился за сестрою, отчего, вероятно, и был ко мне так хорошо расположен. – Этот же вечер, несмотря на ревность Ивана Петровича, Катинька, а особенно Машенька были очень любезны со мною. Каково было бедной Лизе видеть всё это! Видя каждую минуту мою ветреность, неверность, она всё еще не могла себя разуверить.

Еще шумнее и на форменном деревенском бале встретил я новый год у нашего соседа *Ермолаева*. Кроме нашего общества старицкого, съехалось к нему много гостей и из других уездов. Несмотря на то что он сам большой дурак, все очень довольны были вечером. Танцовальная зала и дом у него прекрасный, накормил он хорошо, танцовали сколько только сил было, всякому была совершенная свобода – чего же более можно требовать от хозяина? – Не менее прежнего бала я и здесь мучил Лизу, так что она не хотела даже со мною более танцовать за то, что в котильоне я ей сказал, что она слишком часто меня выбирает. Весь вечер я ею менее всех занимался. – Зато, возвращаясь с бала домой в одной кибитке с *Сашей*, мы с нею вспомнили *старину*.

Отъезд Лизы. 2 января 1829. Давно уже Петр Маркович собирался ехать в Малинники – наступил наконец решительный день. Хотя через Сашу и объявляла Лиза, что меня больше не любит, просила, чтобы я сжег ее письма и т. п., но когда мы оставались наедине, то она так же твердила про свою любовь, искала моей, как и прежде. Не стану говорить про слезы этой второй разлуки. – “Mon Ange!!”[15] – были последние ее слова, когда она садилась в кибитку! – Что она теперь, зовет ли меня так же? любит ли? – Бедная, лучше бы ей было меня забыть или разлюбить…

С ее отъезда я имел более свободы кокетничать, но не имел более успеха. На третьем бале у Казнакова я волочился за новою красавицею, Натальею Казнаковой, девушкою уже лет 20 с лишком, но так как я всё это делал слегка, зевая, то и ничем не кончал.

6 февраля 1830

Время проходило между тем хотя и однообразно, но довольно скоро; надо было думать об отъезде в полк. Все уверяли меня, что гораздо удобнее мне будет определиться прямо в инспекторском департаменте, чем ехать в полк наудачу, где я потеряю много времени от пересылок бумаг. Для этого мне должно бы было ехать назад в Петербург. – Рассудив, что они точно правы, я решился, несмотря на новые издержки, которые мне эта поездка должна стоить, тотчас после праздников туда ехать.

В Крещение приехал к нам в Старицу *Пушкин*[16], “слава наших дней, поэт, любимый небесами”, – как его приветствует костромский поэт госпожа *Готовцова*[17]. Он принес в наше общество немного разнообразия. Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительной и наступительной союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен (Катинька Вельяшева)[18], несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокитство Фауста, осталась холодною: все старания были напрасны. Мы имели одно только удовольствие бесить Ивана Петровича; образ мыслей наших оттого он назвал американским. – Мне жаль, что из-за таких пустяков он, вероятно, теперь меня не очень жалует: он очень добрый и благородный малый. Если еще сведет нас Бог, то я уже не стану волокитством его бесить.

После праздников поехали все по деревням; я с Пушкиным, взяв по бутылке шампанского, которые морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу. – За обедом мы напоили

Люнелем, привезенным Пушкиным из Москвы, Фрициньку (гамбургскую красавицу, которую дядя привез из похода и после женился на ней)[19]; немку из Риги, полугувернантку, полуслужанку, обрученную невесту его управителя, и молодую, довольно смешную девочку, дочь прежнего берновского попа, тоже жившую под покровительством Фридерики. Я упоминаю об ней потому, <что> имел после довольно смешную с ней историю. Мы танцевали и дурачились с ними много, и молодая селянка вовсе не двухсмысленно показывала свою благосклонность ко мне. Это обратило мое внимание на ее, потому что прежде, в кругу первостатейных красавиц, ее совсем и не заметил. Я вообразил себе, что очень легко можно будет с ней утешиться за неудачи с другими, почему через несколько дней, приехав опять в Павловское, я сделал посещение ей в роде графа Нулина, с тою только разницею, что не получил пощечины[20]. Встречая таким образом на каждом шагу неудачи, я принужден был возвратиться к Саше, с которой мы начали опять по-старому жить, т. е. до известной точки пользоваться везде и всяким образом наслаждениями вовсе не платоническими. – В таких занятиях, в охоте и поездках то в Берново[21], то к Петру Ивановичу[22], куда я ездил для сохранения благорасположения Машеньки (еще двою родной сестры, но только, к несчастью, не столь занимательною <!>, как другие, – она совсем не хороша собой), или в Павловское[23], где вечера мы играли в вист, – провел я еще с неделю до отъезда с Пушкиным в Петербург.

Сарыкиой. 20 февраля 1830

16 января <1829>. Путешествие мое в Петербург с Пушкиным было довольно приятно, довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок от ямщиков. Мы понадеялись на честность их, не брали подорожной, а этим они хотели пользоваться, чтобы взять с нас более. Вообще никогда не должно у нас полагаться на слово какого-либо торгового человека. Справедливо искони упрекают русских в лживости, особенно москвичей. – Проезжающий, поверивший их словам, не запасшийся подорожной, после первого перегона должен переносить все возможные неприятности, особенно если он имел неосторожность заплатить вперед деньги: во всякой <!> яму[24] задерживают его, стараясь бессовестно взять с него сколько можно более денег, и, сколько бы он ни платил, никогда он не удовлетворит алчность этих плутов. В три мои поездки по московской дороге я это испытал. – На станциях, во время перепрягания лошадей, играли мы в шахматы, а дорогою

говорили про современные отечественные события, про литературу, про женщин, любовь и пр. *Пушкин* говорит очень хорошо; пылкий проницательный ум обнимает быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонны. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро; женщин же он знает как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного[25]. Пользовавшись всем достопримечательным по дороге от Торжка до Петербурга, т. е. купив в Валдае баранков (крендели небольшие) у дешевых красавиц, торгующих ими, в Вышнем Волочке завтракали мы свежими сельдями, а на станции *Яжелбицах* ухою из прекраснейших форелей, единственных почти в России;[26] приехали мы на третий день вечером в Петербург прямо к Andrieux (где обедают все люди лучшего *тону*)[27]. Вкусный обед, нам еще более показавшийся таким после трехдневного путешествия, в продолжение <которого>, несмотря на всё, мы порядочно не ели, запили мы каким-то, не помню, новым родом шампанского (Bourgogne mousseux[28], которое одно только месяц тому назад там пили, уже потеряло славу у его гастрономов). Я остановился у Пушкина в Демутовой гостинице[29], где он всегда живет, несмотря на то что его постоянное пребывание – Петербург. Первым моим делом <было>, разумеется, переодевшись, ехать к Анне Петровне и вместе к Дельвигу: живучи в одном доме, они неразлучны.

Я нашел их дома и одних; никто не ожидал меня увидеть, и полагали, что я уже поехал в Молдавию. Не знаю, что думал барон, а Софья и Анна Петровна были очень рады меня увидеть. Первая кокетничала со мною по-старому, слушая мои нежности и упрекая в холодности; другую же, как прежде, вечером я провожал до ее комнаты, где прощальным, сладострастным ее поцелуям удавалось иногда возбудить мою холодную и вялую чувственность. – Должно сознаться, что я с нею очень дурно себя вел.

На другой день первою моею заботою было отыскать Wessels, университетского моего товарища, а теперь учителя в воспитательном доме, где он имел большую и прекрасную <квартиру>; у него-то хотел я остановиться, чтобы не платить напрасно в трактире деньги, потому что Пушкина не хотел я беспокоить, оставшись в его небольшой квартире. – На третий <день после> моего приезда переехал я к моему богослову. Теперь занимало меня определение в службу; я не знал, как начать: явиться ли к Дибичу с рекомендательным письмом от

Адеркаса, но я не знал ни одного к нему приближенного человека, который мне бы сказал, как это сделать, и тоже не имел духа такими безделицами, как мое определение, занимать человека, отправляющегося начальствовать армиею, или искать другой дороги. Случай мне тут помог: у Анны Петровны я встретился с генерал-майором *Свечиным*, моим земляком по Тверской губернии, знавшим коротко моего отца, и мне сватом по сестре его, которая была за моим дядей[30], а ко всему этому вдобавок, несмотря на 50 лет и 10 человек детей, волочившемуся за Анной Петровной. Он предложил мне свое ходатайство в инспекторском департаменте. Я согласился на его предложение, обещавшее мне гораздо скорейший успех, чем представление Дибичу, которого я только мог увидеть еще через <несколько дней>, т. е. в будущую пятницу, его приемный день. И точно, через 4 дня, 24 января 1829 года (день, который мне навсегда останется памятен), я был зачислен на службу его императорского величества в принца Оранского гусарский полк[31], выбранный мной единственно по мундиру, ибо он лучший в армии (впоследствии я не мог раскаиваться в выборе оного), вольноопределяющимся до рассмотрения моих аттестатов и свидетельств о дворянстве. Окончив таким образом главное дело мое, занялся я обмундировкою и выполнением препоручений, мне данных, об разных покупках. Время шло чрезвычайно быстро. Окончив прогулки по лавкам и Невскому проспекту, я или ездил по родным, как, например, к Бегичевым, где я не мог не кокетничать с Анной Ивановной, хотя меня и бесило ее равнодушие ко мне (за целые пуки перьев, которые я для нее очинивал, я сбирал очень вежливую благодарность – но более ничего), или отправлялся к Анне Петровне, где уже и оставался весь день. Здесь зато любовные дела мои шли гораздо успешнее: Софья становилась с каждым днем нежнее, пламеннее, и ревность мужа, казалось, усиливала ее чувства. Совершенно от меня зависело увенчать его чело, но его самого я слишком много любил, чтобы так поступить с ним. Я ограничился наслаждением вечера, которые <!> я просиживал почти наедине с ней (Анна Петровна сидела больше с Андреем Ивановичем Дельвигом, юношей, начинавшим за ней волочиться)[32], проводить в разговоре *пламенным языком сладострастных осязаний*[33].

В прежнюю мою бытность в Петербурге еще собирались мы ехать за город кататься, но всё по разным причинам день ото дня откладывали гулянье. Наконец назначили день не настоящего катанья, а только пробы, *пример парада*, как говорил барон, и на двух лихих тройках, из которых на одну сел барон, Сомов, Анна Петровна и я, а на другую Софья, Щастный (молодой поэт)[34] и

Андрей Иванович. – Я, чтобы избежать подозрения, не хотел сесть с моей красавицей. По прекрасной дороге мы менее чем в полчаса примчались в Красный кабачок[35], известный трактир на Петербургской дороге, где публика немецких ремесленников празднует свою масленицу. Там, под музыку венгерца, игравшего на арфе, которого аккомпанировал виртуоз на нескольких инструментах: скрипке, па́новой флейте[36], барабане и других, – много мы танцовали и прыгали в большой и очень хорошо освещенной зале, где по воскресеньям даются балы. Софья нежно упрекала меня, зачем я не сел с нею в сани, не признавала достаточными причины, приводимые мною, а именно ревность ее мужа, и хотела, чтобы, по крайней мере назад ехав, я сел с нею. Что было делать? – я обещался. За чаем забавлял нас фокусник и не обижался, кажется, тем, что мало обращали внимания на его проворство. Несмотря на намерение веселиться, с которым мы поехали, настоящего веселья не послали нам боги. – Веселье – это непринужденная радость, почти всегда безусловная, – есть настоящий дар свыше; ее нельзя приготовить, и редко она является там, где ее ожидают; однако есть люди, владеющие даром приносить ее с собою в общество; такого любимца богов недоставало в нашем кругу, почему и мне бы было не очень весело, если бы не волокитство и надежда на обратный путь. *Красный кабачок* искони славится своими *вафлями*; в немецкую масленицу прежде весь Петербург, т. е. немцы и молодежь, катался сюда, чтобы их есть, но нынче это вывелось из обыкновения, катанье опустело, и хотя вафли всё еще те же, но ветреная мода не находит их уже столь вкусными, как прежде. – Нельзя нам было тоже не помянуть старину и не сделать честь достопримечательности места. Поужинав вафлями, мы отправились в обратный путь. – Софьи и мое тайное желание исполнилось: я сел с нею, третьим же был Сомов – нельзя лучшего, безвреднейшего товарища было пожелать. Он начал рассказами про дачи, мимо которых мы мчались (слишком скоро), занимать нас весьма кстати, потому что мне было совсем не до разговору. Ветр и клоками падающий снег заставлял каждого более закутывать нос, чем смотреть около себя. Я воспользовался этим: как будто от непогоды покрыл я и соседку моею широкой медвежьей шубою, так что она очутилась в моих объятьях, – но это не удовлетворило меня, – должно было извлечь всю возможную пользу из счастливого случая – и в первый раз ее ручка была заменою живейших наслаждений… Ах, если б знал почтенный Орест Михайлович, что подле него делалось и как слушали его описания садов, которые мелькали мимо нас.

С этого гулянья Софья совершенно предалась своей

временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждения – с женщиной труден только первый шаг, а потом она сама почти предупреждает роскошное воображение, всегда жаждущее нового сладострастия. Я не имел ее совершенно потому, что не хотел, – совесть не позволяла мне поступить так с человеком, каков барон, но несколько вечеров провел я наедине почти с нею (за Анной Петровной в другой комнате обыкновенно волочился Андрей Иванович Дельвиг), где я истощил мое воображение, придумывая новые сладострастрастрастия <!>.

18 августа 1830. Сквира

Полученными от Пушкина 1500 рублями в уплату заемного письма[37] я это время жил и делал покупки для матери и сестер; также заказал я себе мундир и покупал вещи, принадлежащие к оному. Эти издержки весьма скоро истощили мои финансы, так что у меня оставалось не более, сколько необходимо было, чтобы доехать до Твери. В таких обстоятельствах мне очень кстати было предложение Александра Сергеевича <Пушкина> поменяться медвежьими шубами; он мне дал придачи 150 рублей. – По этим же самым денежным причинам мне нельзя было долее оставаться в Петербурге. После многих отлагательств по просьбам моих приятельниц назначил я наконец 6 февраля днем моего отъезда, выехал же точно только на другой день вечером. Это случилось от того, что Софья вечером <в> 6 часов требовала от меня, кроме общего прощанья, еще частное с нею у Анны Петровны и не в присутствии мужа. Как же мне можно было отказать ей в такой безделице! – В назначенное время я нашел мою неутешную красавицу, и мне чрезвычайно тяжело было видеть страданья женщины, которые ничем я не в силах был облегчить. – Вдруг, совсем неожиданно, зашел муж к Анне Петровне и очень был удивлен меня еще раз встретить; к счастью, у меня был предлог – неожиданной приезд в Петербург дяди Петра Ивановича со всем его семейством, который и послужил благовидной причиною моей остановки. – После его ухода настала решительная минута прощанья; что я в продолжение оного чувствовал, страдал, – рассказать невозможно. Видеть женщину милую на коленях перед собой, изнемогающую от страсти, раздирающей ей душу, и в исступлении чувств, судорожными объятиями желающая <!> удержать того, который бежит на край света, и чувствовать свою вину перед ней – есть наказание самое жестокое для легкомысленного волокиты. Вырвавший <!> из объятий, я

побежал от нее, не внимая ее словам, призывавшим меня, когда я уже вышел из комнаты и побежал к саням, как будто бы гонимый огнем и мечом, и только тогда успокоился, когда был далеко от знаменитой мне Владимирской улицы. – Точно был то рай в сравнении с моей теперешнею жизнью!!

Пообедав у дяди, где я был более для сестры Машиньки, всегда со мной очень любезной бывшей, и для брата Гаврилы Петровича, только что возвратившегося из похода турецкого <! >[38]. Его советам не ехать в Турцию, хотя бы и хотел, но не мог более слушаться. Дело уже было сделано: надо было повиноваться моей судьбе или глупости, напенивавшей уже для меня фиял испытаний. В 8 часов вечера 7 февраля вторично выехал я из Петербурга, чтобы долго, кажется, не въезжать в него.

Не одно непостоянство или легкомысленное желание славы, честолюбие, заставляло меня переменить мой образ жизни и за Дунаем искать счастья. Издержки моей столичной жизни превышали то, что по расчету с имения нашего я мог получать; даже и этот год я выдержал потому только, что, заложив Малинники, у нас случились деньги. Следственно, будущий 29 год я никак не надеялся получить еще пять тысяч, и потому мне должно было оставить Петербург. Мать никак не согласилась бы на отставку, как я желал, – оставалась одна военная служба благовидным удалением; военное время еще более способствовало мне. Если впоследствии ожидания от оной не исполнились, – в том не моя вина: я рассчитывал по обыкновенному порядку вещей, а служил столь несчастливо, как не многие служили. – От службы моей в министерстве рассудительно ничего не мог я ожидать, будучи без знакомств и без протекции. Малое число первых, хотя и самое приятное, заключалось в нескольких литераторах, посещавших барона Дельвига; об знакомстве с двумя или тремя дальними тетками не стоит и упоминать: они знали меня только как сына моего отца и моей матери – ни от тех, ни от других, следственно, мне нечего было ожидать. – Равно и удовольствия столицы не мог я сожалеть, потому что и публичными не пользовался я по недостатку денег. В продолжение зимы 28 года я только бывал на вечерах в одном доме Лихардова, последнюю же зиму я почти нигде не бывал. Одно справочное место, где постоянно я читал отечественные и европейские новости[39], связывало меня с остальным миром, о светской же жизни знал я только по слухам, доходившим до меня через Пушкина и других[40]. В таких обстоятельствах, даже если бы я и предугадал мою службу, то Петербург во всяком случае должен я был оставить. – Ни одно ожидание, с которым я въехал в него, исключая женщин, не сбылось, но такая опытность не

предохраняла меня от новых надежд и обольщений. – В продолжение всего пути до Торжка, куда я приехал в двое суток, 10 числа вечером, занят был предстоящею военною жизнью: я восхищался этой беспрерывной телесною деятельностью, жизнью на коне, отдыхами в виду неприятельских огней, пылом кавалерийских атак, грозным величием битв, решающих судьбы народов. Я уже мечтал себя видеть возвратившимся счастливым победителем, украшенным наградами, заслуженными лично, и передо мною открывался путь славы безграничный; мне недоставало пространства, чтобы поставить себе цель.

В Торжке нашел я дядю Павла Ивановича, ехавшего в Москву; от него я узнал, что мать с сестрами, исключая Саши, в Твери. Уведомив мать несколькими словами о моем приезде, просил я дядю, ехавшему <!> на Тверь, передать письмо, сам же на возвращавшихся его лошадях поехал в Малинники. Дорога от большого снега и метелей была так дурна, что я, выехав поутру 11 числа, приехал домой только вечером в 8 часов, хотя расстояние только 40 верст, не больше. Я нашел Сашу одну, больную горлом. После взаимных упреков в холодности, в изменах, мы помирились. Я предложил ей воспользоваться неожиданно благоприятным временем, которое в другой раз может не встретиться. В небольшом нашем домике мать с сестрами занимали только две комнаты; в них мы были теперь одни, следственно, ничто не мешало провести нам ночь вместе и насладиться ею вполне. Несмотря на то, все мои просьбы остались бесполезны, всё красноречие мое не могло ее убедить в безопасности (с ее рассудком она не могла представить других причин), и бесценная ночь невозвратно пропала – усталый от дороги я спокойно проспал ее. Не знаю, как она? – но после часто раскаивалась в своей нерешительности. На другой день поехал в Берново осведомиться, что делает моя холодная красавица. Во время моего отсутствия она родила себе дочь. После родов она похорошела, но так была занята своими детьми, что, казалось, ни о чем другом не заботилась. Приезд одновременный со мною ее брата Александра из Петербурга, где он служил в Артиллерийском училище, теперь же выпущен был в роту, еще менее давал мне времени возвратить ее к прежним чувствам; я оставил ее, отчаявшись в успехе. Пробыв еще день в Малинниках, поехал я на другой в Старицу, где надеялся найти мать, но я ее не нашел там, и Вельяшевы были все в Твери – только в пятницу вечером, когда я сам садился в сани, чтобы ехать в Тверь, возвратились они оттуда; Евпраксея же осталась там у Кафтыревых, чтобы лечиться: расстроенное ее здоровье делало ей это необходимым.

Главная моя забота теперь состояла в том, как бы получить еще денег: у матери их не было, следственно, должно было отыскать где-либо занять. Господин Павлов, молодой муж вдовы дяди Федора Ивановича, с которой мы только что кончили дружелюбно раздел доставшего <!> нам после смерти дяди имения, заплатив ей за оное 50 000 рублей[41], помог нам занять у его приятеля господина Змиева[42] 1000 рублей. Этот весьма достаточной человек почти совершенно спился. Обед, который он давал в честь женитьбы своего друга, был единственный в своем роде. К не<счастью?>, я должен был его вытерпеть вполне. Все чувства мои страдали: слух – от этого оркестра, составленного из дворни, игравшей на инструментах, которые валялись в кладовых со смерти его матери, некогда поддерживавшей блеск дома, и от пушечных выстрелов, которые вторили “здоровья” (они были так неловко поставлены близ окон столовой залы, что от выстрелов вылетело много стекол из оной); вкус – от мерзкого обеда; обоняние – от спиртом насыщенного дыхания соседей: судейских чиновников и разного уездного сброду; осязание – от нечистоты; и зрение, наконец, – от женских и мужских уродов, составлявших наше общество. Если бы не тысяча рублей, то ни за что я бы минуты не пробыл в этой мерзости. Чтобы получить отвращение от пьянства, нужно только взглянуть на господина Змиева и его образ жизни. – Обеспеченный в денежном отношении, хотя и не столько, сколько желал, искал я, как приятнее провести короткое время, оставшееся до предположенного мною отъезда. – Волокитства мои в Старице не были успешны; мне слишком мало нравились Катенька Вельяшева и Машенька Борисова, чтобы влюбиться и потерять рассудок; прощанье в Петербурге еще слишком свеже было в памяти. Успех с ними привел бы меня в большее затруднение – вот отчего с ними я только шутил от безделья. В Малинниках же я посвящал время единственно шалостям с Сашей. С нею мы уже давно прожили время уверений в любви и прочего влюбленного бреда: зная друг друга, мы наслаждались, сколько силы, время и место позволяли.

Наступила масленица с обычными блинами и катаньями; не было надежды провести ее так же весело, как святки; один *Ермолаев* сделал вечер, но, к несчастью, кроме нашего семейства Вульфовых никого не пригласил [43], почему он и не был так весел, как последний его бал в новый год. – Самый приятный человек из общества был для меня полковник *Кусовников*. Еще на первом вечере у Торнау в Рождество был он со мною так предупредительно вежлив и любезен, что, несмотря на малое наше знакомство, привязал меня много к себе. – Имея очень хорошее состояние, служил он в лейб-гвардии, был адъютантом у

принца Виртембергского (Шишки)[44]. Жизнь в лучшем кругу дала ему приятное обращение, получившее особенную приятность от добродушия, которое видно было в каждом его движении. Блестящего ума не имея, вознаграждал он за него приятными искусствами: он мастерски рисовал и прекрасно играл на скрыпке. Наружность его была отпечаток его души; я не встречал мужчины лучше его сотворенного, особенно ноги его хороши. Его благорасположение ко мне должно, кажется, приписать тому, что он немного волочился за сестрою. Во время пребывания Пушкина в Старице [45] мы чаще еще видались, ибо Пушкин знал Кусовникова еще будучи в лицее. Здесь у Ермолаева мы были неразлучны, и я должен был ему обещаться, возвратясь в деревню, приехать к нему в эскадрон, расположенный километрах в 20 от Малинников.

Чрезвычайно трудно согласить мнения брата и любовника о поведении девушек: первый желает, чтобы и подозрение одно не могло коснуться сестры, другой требует по крайней мере отличия от других, предпочтения, которое он бы нашел весьма неприличным, если его сестра оказывала бы другому. Мне очень неприятно было видеть, как сестра Анна, несмотря на то, что я вовсе невзыскателен, слишком явно хотела ему понравиться, тем более что я предвидел, как после и случилось, безуспешность ее стараний. Жениться и волочиться – две вещи, которые еще очень далеки одна от другой!

Прожив масленицу в Старице, поехал я оттуда в Тверь проститься с Евпраксеей. Здоровье ее нашел я немного поправившимся. Приветливым и милым своим обращением успела она так привязать к себе семейство *Кафтыревых*, состоящее из двух девушек и холостого брата лет 50, милого и почтенного во всех отношениях, что они упросили мать оставить Евпраксею у них, чтобы окончить свое лечение. – По разным приметам судя, и ее молодое воображение вскружено неотразимым Мефистофелем[46]. Пробыв с нею один день, возвратился я в Старицу, а оттуда разъехались мы все по деревням. В Малинниках я проводил дни утром на охоте, если погода позволяла, или стреляя из пистолетов (приготовления к войне!!), а вечером с сестрами дома или у одного из дядюшек. Все они съезжались раза два в неделю проводить время или в рассказах о своем хозяйстве, которым ни один порядочно не занимается, или в неразорительной игре в вист. Мало занимаясь тем, что делается за границею их имений, проводят они дни в спокойной бездеятельности. Не получив в молодости порядочного воспитания и живши всегда почти в деревне, они очень отстали своим образом мнений от настоящего поколения, почему каждый

и имеет свой запас устарелых предрассудков, которые только умеряются всем им общим добродушием. Исключение из них делает Павел Иванович Понафидин, муж тетки Анны Ивановны, воспитанный в Морском корпусе, служивший долго во флоте, где его братья заслужили себе имена известных офицеров. С здравым своим рассудком приобрел он познания, которые в соединении с его благородным в полном смысле слова и добрым нравом делают его прекраснейшим человеком и, по этим же причинам, счастливым супругом и отцом[47]. Другая моя тетка Наталья Ивановна Вельяшева, хотя и столь же счастлива в супружестве своем, ибо после 20 лет замужества так же страстно любит своего мужа, как впервой, и имеет четверо детей, из которых не знает, которому отдать преимущество, но у нее очень расстроено имение и без того незначительное [48]. – Не будучи слишком строгим к недостаткам каждого, можно сказать, что вообще они добрые люди и родственники. Один только старший из моих дядей, Петр Иванович, весьма тяжелого нраву. Воспитывавшись с моим отцом (которого он одного признавал за брата) у *Михаила Никитича Муравьева*[49], наставника Александра Павловича, и служив после при дворе кавалером у нынешнего императора, он возымел такое высокое мнение о себе, что, живучи в деревне в нескольких верстах от всей своей родни, он никуда не ездит и не любит, что дети его часто бывают у своих. – Во время моего пребывания в Твери я всегда бывал у него для детей его: сестры Машеньки и брата Ивана, который был очень хорош со мною до последней его ревности к Катеньке Вельяшевой. Теперь я уже не бесил его моим волокитством, как <в> первой мой приезд. Надеюсь, что со временем он помирится со мною. Чтобы однажды навсегда окончить этот предмет, скажу я еще несколько слов об остальных моих тверских дядюшках. Старший, Павел Иванович, такой флегматик, каких я редко встречал. Оставив в молодости еще военную службу, жил он всегда в деревне в доме отца своего; сделав кампанию 12 года в Тверском ополчении, возвратился он с девкою из Гамбурга, на которой через несколько лет и женился. Фридерика, сделавшись хозяйкою, завела в доме немецкий порядок, которой делает приятное впечатление на всякого приезжающего к ним. Не имея детей, живут они без лишней роскоши, по своему состоянию, спокойно. – Иван же Иванович совершенно другого рода человек: женившись очень рано на богатой и хорошенькой девушке, нескольколетней жизнью в Петербурге расстроил свое имение. Поселившись в деревне, оставил он жену и завел из крепостных девок гарем, в котором и прижил с дюжину детей, оставив попечение о законных своей жене. Такая жизнь сделала его совершенно чувственным, ни к

чему другому не способным.

Приготовления мои к походу не были велики. Я брал с собою только необходимое, ибо, предполагая, что война осенью кончится, надеялся я зимою, возвратяся в Россию, побывать и дома. Не желая более бесполезно терять время, 8 марта с материнским благословением и с тысячью рублей сел я в сани и поехал в Старицу. На дороге встретился я с тетками и сестрами, ехавшими к нам в Берновскую волость, так что в Старице нашел я одного брата Михаила, служившего юнкером в там стоящем Оренбургском уланском полку. Несмотря на то что ему уже 20 лет, но умом он совершенный ребенок; к несчастью, мало надежды, чтобы он когда-либо возмужал; в нынешнем году произведен он прежде еще меня в офицеры, так что он и двух лет не служил юнкером: это очень счастливо, но не знаю, будет ли ему выгода продолжать службу. – Мне всегда тяжело, когда я об нем подумаю.

Взяв подорожную до Киева, отправился я на другой день, 9 часов, в дальний мой путь. Дорогу я выбрал самую ближнюю и дешевую: на Зубцов, Гжатск, Вязьму, Смоленск и Чернигов. Несмотря на позднее время года, снегу еще было очень много, только около Гжатска <дорога> была избита всегдашними обозами, которые тянутся из соседственных губерний к здешней пристани. Выехав на Смоленскую дорогу, встретили меня богатые воспоминания Отечественной войны 12 года; особенно живо напомнили мне оную от огня почернелые стены еще не возобновленных домов в Вязьме и Смоленске. На них я видел неотразимую силу всемогущей судьбы, законы которой никакая человеческая сила не может переменить. С жадностью искал я свежего следа прохода непобедимых легионов, которые вел Герой, чтобы, смирив Север, преобразовать Европу по исполинским своим замыслам, – но везде видел вокруг себя снежную пустыню, которой холодное спокойствие, казалось, никогда не было нарушено ничем, кроме рысканья пустынного зверя. За стенами Смоленска, еще полуразрушенными от неприятельских бойниц, во рву, я видел памятник, воздвигнутый *Энгельгардту*[50] – *чести* русского дворянства, которое в эту войну доказало, что не напрасно пользуется правами, наследованными от предков. Оно жертвовало на защиту Отечества жизнью, имуществом – одним словом, всем, чем могло. За Пиренеями и в снегах Севера два народа в одно время показали остальной Европе примеры, как защищать народную независимость.

Сии же места были поприщем борьбы двух единоплеменных народов, продолжавшейся несколько сот лет, пока единодержавие одного не одержало верха над безначалием другого. Из ворот

завоеванного Смоленска по этой же дороге ходили ватаги своевольной шляхты гулять по селам и градам московским, опустошая всё огнем и мечом. – Времена буйной страсти завоеваний проходят, народы европейские, возмужав, не ополчаются друг на друга по прихоти властителей своих; только в гражданском устройстве ищут они своего благоденствия. – От *Смоленска* до Киева на пути я не встретил ничего замечательного. Черниговская губерния мне показалась немногим лучше Смоленской, может быть потому, что я ехал зимою, когда под снегом равно наш север и юг пустынны; одни березовые рощи только поразили меня своей красотой: нигде еще я не видал эти деревья такой величины. Народ и здесь кажется бедным и весьма угнетенным своими владельцами. Въезжая в эту губернию, в первой корчме уже я нашел *жида* со всею народною своею неопрятностью; не привыкший к сильному духу чеснока, которого они много едят, я не мог сначала переносить приближения их, еще менее входить в их дома (теперь я и не к этому одному привык), от чего много страдал в продолжение моего пути польскими губерниями. – Город *Чернигов* я нашел весьма грязным, от времени года, может статься, и показался мне дурно выстроенным, и полужидовский трактир очень дурным.

До последней *станции* (*Броворы*), не доезжая Киева, ехал я еще хорошею зимнею дорогою, несмотря на то что это было в половине марта. Здесь я должен был бросить уютные и покойные сани и взгромоздиться на тряскую телегу. Езда на оной по мерзлой земле – настоящее мучение. Всю эту станцию едешь прекрасным сосновым лесом, который предание населило разбоями. Верстах в пятнадцати не доезжая Киева, открывается прекрасный вид высокого правого берега Днепра, на котором белеются стены знаменитого великокняжеского стольного града, некогда богатого, обширного, второго Цареграда! – Протекли столетия, как его царственное величие исчезло, но древние его стены всё еще возвышаются властителями окрестных стран; природа всё еще столь же величественна – не так ли высокое чело властителя и в узнике Св. Елены являло то же величие, которым сияло под венцом полумира! – Премудрым судьбам положено было снежные пустыни Севера приобщить к достояниям человечества – и вот повелители северных стран, оставив богатые пажити днепровские, поселились в глуши лесов. Теплота деятельности народов победила холод Севера; страна ожила, воздвиглись пышные грады, села; везде покорялась природа. Но предначертания судеб еще не свершились. На престоле Севера явился мощный Гений; он шагнул – и к ногам его пали побежденные духи полунощи, сторожившие сокровища в недрах

гиперборейских гор. Океан сбросил цепи льдов, и из глубины оного возникла новая столица, поднесь не имевшая ничего себе подобного.

Так ныне Север по следам Юга, как его неколебимая опора, идет к возвышенной мете человеческого образования.

15 марта 1829. Переехав еще по крепкому льду Днепр, почти версту подымался на противоположный берег, где стоит город. Крутизна этого берега облеплена, как гнездами ласточек, маленькими домиками, белеющимися между небольшими садами, из чащи которых подымаются стройные итальянские тополи. В это время года я видел только очерк прекрасных видов, открывавшихся мне, но по оному я мог догадываться о прелести их в полном убранстве весны.

Меня привезли в хороший трактир, где после восьмидневного пути первой раз я вкусно пообедал. Мне нужно было взять подорожную для дальнейшего пути – вот почему я и решился этот день отдохнуть немного, оставшись здесь. – Взяв оную до Могилева на Днестре, поехал я в знаменитую здешнюю лавру[51] хотя мельком взглянуть на нее. Первый там мне встретившийся цицероне[52] был пономарь, шедший на колокольню звонить к вечерне, за которым я полез под колокола. Здесь открылась передо мною богатая панорама города и окрестностей оного. Ясное весеннее солнце, закачивясь, озаряло розовыми своими лучами золотые главы множества церквей, которые мне именовал мой проводник; синий лед Днепра казался еще темнее от мрачного леса, под которым он расстилался; к западу между песчаных холмов терялся предлежащий мне путь. Вперяя взор в даль оного, я как бы желал проникнуть в будущность, меня там ожидавшую: ничего привлекательного не открывалось, дорога извивалась в песчаной степи. Благовест кончился, ключник церкви обошел около нее, колотя в палочки (обычай, во всех церквах здесь принятый, по словам звонаря, но который мне не мог сказать причину), и мы пошли к вечерне. В церкви ничто не привлекло на себя моего внимания. Воображение мое ожидало найти древний храм, освященный тысячелетними мольбами, возвысылаемыми к Всевышнему, а в сущности нашел обыкновенную церковь, после пожара возобновленную при Екатерине, что узнал я из надписи на стене. В этом разочаровании, конечно, никто другой не виноват, кроме моего неведения, но это рассуждение не могло успокоить меня. Также неприятно было смотреть на тучных монахов, шумевших своими черными шелковыми мантиями, спесиво расхаживая по церкви; молящихся тоже было немного. Не дождавшись конца вечерни,

уехал я домой, чтобы написать несколько слов к матери. На другой день поутру я выехал из Киева – и вот всё, что осталось у меня в памяти о пребывании в оном.

От Киева начиная, остановки на станциях сделались чаще; разгон был чрезвычайной, и половинное число лошадей были уже загнаны, так что с ехавших не *по казенной*, как я, надобности брали двойные деньги и дурно возили. В *Белой Церкви*, знаменитом местечке *графини Браницкой*, я встретил первую еврейку-красавицу, накормившую меня дурным ужином; ее прелести, однако, не помирили мое обоняние, которое сильно страдало от чесночной атмосферы; к тому же я был вовсе не расположен волочиться – я рад был отдыху. Здесь также в первой раз пил я знаменитый польский мед, мне очень не понравившийся.

9 апреля 1829. Дневка в Турче Формозе[53]

7 апреля 1829 выступил принца Оранского гусарский полк в поход из местечка Пашкале, и я, как юнкер оного полка, сел в первой раз на коня. По погоде судя, наш поход будет удачен, потому что дождь считают знаком благополучного пути. В карете можно так рассуждать, но на седле весьма неприятно просидеть целой день под мелким осенним <дождем>, как это со мною было. Перейдя *Серет*, в верстах 3 от Пашкале, мы остановились: 4 действующих эскадрона, составляющих наш полк, построились четвероугольником, в середине поставили налой – и с коленопреклонением молили мы Бога побед о помощи Его противу супостата. Несмотря на дождь и на ветер, картина была довольно торжественна: ржание и топот лошадей сливался с пением “покоряйтеся все языци, яко с нами Бог”. – После молебствия был завтрак у полковника Плаутина, и, выпив его здоровье и здоровье новонагражденных орденами офицеров эскадрону, потянулись вперед по дороге к Яссам. Первой ночлег был в 10 верстах только. Я остановился в штабе полковом вместе с майором *Денисьевым*; нам отвели порядочную квартиру у одного арнаута, и <мы> провели вечер, твердя романс Беранжера “Souvenir d‘un Capitaine”[54]. На другой день погода делалась получше; мы пошли в доломанах, ожидая в Турче Формозе смотра дивизионного генерала, но, подошедши к местечку, мы узнали, что он будет нас смотреть не здесь, а в Яссах, а Дибич совсем не станет смотреть дивизию. – Теперь я на дневке намерен оканчивать письма к матери и сестре. – Вчера я узнал от юнкера нашего полка, что *Лейтганг* в Коварне, *Леман* в 3-м егерском, а Пельцер в 4 уланской дивизии, *Врахман* у нас в

дивизии в *Александрийском* полку, каждый из них никто еще не произведен в офицеры, но я знаю, что они бравы <…>.

11 апреля. Яссы

Вчера я не пошел с полком, но остался с майором в Турче Формозе. Только вечером, ждавши более 2 часов лошадей, мы выехали, и только около полуночи мы приехали в Потлялуй, где полк наш должен был ночевать. – Напрасно мы его несколько часов искали, таскались по грязи, стучали во все хаты, спрашивали у гусар: везде находили только Витгенштейна полк, с нами вместе шедший. Наконец принуждены мы были остановиться на ночь в бедной мазанке, которая и вся величиною не была более 4 квадратных сажен, а вмещала с полдюжины молдаванских женщин. Поутру наше положение не улучшилось: не зная, как нагнать полк, мы еще более заботились о том, куда девались люди наши, отправившиеся прежде нас из Турче Формоза. Благодаря немецкому языку я успел выпросить у смотрителя почты лошадей на половины <!> дороги до Ясс, и таким образом поехали мы вперед еще до выхода полков с ночлега. Остановившись в корчме, успели мы до прибытия еще нашего полка напиться у жида-маркитанта порядочного чаю, нам нектаром показавшегося после такой ночи, майором <!> пошел к эскадрону, а я отправился вперед с обозом <…>

15 апреля

Я всё еще в *Яссах*: опять с Денисьевым остались мы на дневке. Не знаю, как мы догоним полк, потому что мой приятель вчера пьяный проиграл все свои деньги, да вдобавок не дал мне ночью спать, привезши с собой девку. Теперь он занял у казначея денег и поехал отыгрываться. Вот каковы люди! Мне бы очень хотелось развязаться с ним, но, не имея вьючных лошадей, ни денег их купить, я должен терпеть <…>

Сегодня удалось мне наконец отправить письмо к Анне Петровне и домой – как гора с плеч долой мне это; еще надо писать к Языкову и Франциусу.

Про физическое мое состояние могу я сказать, что чувствую себя гораздо здоровее, чем в Петербурге; здешний климат не имел еще никакого вредного влияния на меня. – Труды военной жизни по сю пору не умерили во мне желания славы: если бы я оное потерял, то был бы очень недоволен собою и раскаяние мучило бы меня. Но чувствую, что если переживу войну и мне не откроется особенно выгодное место, то я не останусь в военной

службе. Что будет – будет! <…> В 9 часов вечера мой приятель возвратился домой, не только проиграв все деньги, которые имел с собою, но даже и еще 400 рублей *на честное слово*, как эти люди называют. Я должен был дать ему, что имел, отсчитал 30 рублей серебром. Осталось у меня рублей десять с небольшим.

19 апреля. Дневка в Фальчи

<…> За 9 1/2 рублей серебром мы нашли 2 лошади у жида до *Васлуя (верст* 70), где дневал наш полк, в надежде утром застать там еще его, но обманулись. Только что выехали, как сделалась сырая апрельская погода, пошел мелкой дождь, а после ветер, так что мы принуждены были остановиться ночевать на первой станции, в верстах 15 от Ясс. Эту станцию мы оттого так тихо ехали, что она очень гориста, дорога идет самым хребтом возвышенности, начинающейся от самого города, станция в середине оной, за нею начинает опять опускаться вниз на менее высокие холмы, которыми покрыта Молдавия <…> Поутру мой товарищ протрезвился, начал телесно и душевно чувствовать следствия своего поведения и стал тогда раскаиваться, когда уже не был в состоянии удовлетворить своим страстям. Эти дни я сильно чувствовал преимущество трезвого человека над слабым.

Деревня Ларчи в Бессарабии. 21 апреля

Доехав до Васлуя, мы взяли почтовых лошадей и догнали вечером полк в деревне *Доколесли*. На другой день после большого перехода верст в 30 пришли мы в *Фальчи*, местечко на *Пруте* <…> Нам назначено было здесь для переправы через *Прут* 2 дня дневки, но мы остались только один <…> Итак, мы опять за Прутом, в православной России, но нельзя сказать, что в славном краю. Вся Бессарабия (которую я видел от Могилева до Скулян и досюда) есть холмистая степь во всём смысле слова; хотя холмы ее и покрыты тучными прекрасными пастбищами, но вообще маловодна. Нигде не встречаешь следа хлебопашества – я по сю пору не видал паханой нивы, еще менее огородов или садов: кажется, железо никогда еще не раздирало здешних лугов; на них пасутся только стада рогатого скота и табуны, водимые гордыми жеребцами; орлы и неуклюжие аисты – единственные жители пустынь здешних. <…>

Общество здесь в полку порядочное, особенно начальник полка полковник Плаутин. Все зовут его умным, хвалят за обращение с подчиненными и за храбрость. Я еще его не знаю, но готов согласиться с общим голосом. Мне кажется, однако, что он

не кавалерист, т. е. мало знает службу; офицеров тоже у нас нет, ею занимающихся, отчего фрунт наш совсем не образцовый. В этом отношении дивизия 3-го гусарского далеко отстала от других, например, 1-го уланского. Солдаты тоже дурно ездят; это может быть от того, что после прошлогоднего похода дивизия была совершенно дезорганизована, не воротилось к полку и 200 здоровых лошадей; всю зиму занимались укомплектованием оных и амуниции, также растерянной, так что не было времени и подумать об учении людей; к тому же ремонты лошадей прибыли весьма поздно – в марте месяце. Неудивительно теперь, если рекруты, сидя на неезжаных лошадях, кажутся плохими гусарами. – Посмотрим, как и полк наш будет в деле; прошлое лето, говорят, что он хорошо дрался, винят же начальство в том, что переморило с голоду лошадей, а генерала Ридигера за то, что не умел распоряжаться и послал под Козлуджи 1 дивизион против 12 тысяч турок. Про полк же графа Витгенштейна все говорят, что он дурно дрался, не пошедши раз в атаку. Говорят, и принц Виртембергский тут виноват.

Сегодня, 21 апреля, день основания Дерптского университета, воспетый Языковым[55]. Сколько раз я его шумно праздновал! теперь иное время! – Но всё еще те же чувства в груди моей; на другом, обширнейшем, опаснейшем поле ищу я теперь добра и чести: удостоюсь ли я ее? так ли я окончу здесь, как я кончил студенческую мою жизнь? – На последнюю я не могу жаловаться: кажется, я заслужил любовь и уважение моих товарищей, а начальники сознались, что я лучше, чем ложная и неблагосклонная молва твердила. – Чтобы достойно праздновать сегодняшний день, я хочу писать к Языкову.

Крепость Исакни. 29 апреля

Из Ларги мы выступили 22 числа, дневали потом в деревне *Волконешти*[56], а оттуда, ночевав в *Бульбонах*, пришли 26 числа в Сатуново на Дунае, где мы стали не в квартерах, а лагерем <…> Мы не взошли в самую крепость *Исакчи*, а стали лагерем у самой переправы за редутами, прикрывающими оную. Лагерное место было выбрано преживописное: бригада занимала небольшую долину на самом берегу реки; она имела вид почти равностороннего треугольника, из коих каждая сторона была шагов в 600; к востоку, вправо, гора отделяла оную от tete de pont[57], защищающий мост [58], а влево за такою же видна была крепость *Исакчи*; к северу же величественный Дунай катился между камышей, из-за которых зеленелась Бессарабия. Самая крепость *Исакчи* не стоит и названия крепости: это бедный

городок, построенной на скате берега и обнесенной старой, развалившеюся стеною с довольно широким рвом <…>

Невоздержанием Денисьев нажил себе опять лихорадку, и гораздо сильнейшую, чем прежняя. Чтобы прервать ее, мы отстали опять от полка и пробудем здесь до 1 мая <…> Мне уже это отставание начинает надоедать <…>

Третьего дня я писал через Рида (Александрийского полку) к Языкову, а через Блаугорна, который поехал в Одессу, к матери и Анне Петровне. Когда-то я напишу к *Французу*? Благодаря Бога я чувствую себя здоровым, боль в животе, кажется, тоже прошла. – Лагерная жизнь, хотя и менее спокойна, чем стояние в квартерах, но тоже имеет много приятного в такое время, как теперь: жары еще сносны, ночи теплы – только утренние туманы холодны и, должно быть, вредны. – Первой день стояния лагерем был очень шумен. Ровно два года тому назад принял Плаутин полк, а накануне в Бульбонах прислали ему алмазные знаки Анны 2 степени: две достаточные причины для пира. Полковник умел заслужить любовь и уважение всего полка, всякой душевно радовался полученной им награды <!>. И зашипело шампанское, загремели трубы и песельники, и по всему лагерю раздалось радостное “ура!”. Этого мало: вдруг полковницкая палатка поднялась, и гусары, подхватя полковника, начали его подбрасывать – но от этой чести, я думаю, болели у него кости. – Праздник кончился только тогда, когда не стало вина. – На другой день для подражания витгенштейнцы тоже Бог знает для чего шумели. – Бедный этот полк не может похвастаться хорошею славою, а, говорят, есть в полку хорошие офицеры.

5 мая. Лагерь под Карасу

Сегодня рано поутру пришли мы сюда, в лагерь под *Карасу*, сделав весьма небольшой переход, версты в 4, от того места, где мы ночевали. Здесь нашли мы дивизионную квартеру и соединились с 1 бригадой (Ахтырский и Александрийский полки); кажется, мы дошли теперь до места своего назначения. В 50 верстах отсюда, говорят, мы станем лагерем, к дивизии присоединятся 2 полка казаков и 2 пехоты. Всё вместе составит отдельный отряд, назначенный для содержания цепи между *Силистриею* и *Шумлою;* также мы будем беспокоить неприятеля набегами и вообще вести малую войну; к сожалению моему, я считаю, что ни один турка не покажется нам за Балканом. – Сейчас я слышу, что мы идем к *Разграду,* где сходятся дороги из Рущука и Туртукая в Шумлу, и что осталось нам идти 4 перехода <…>

13 мая

Лагерь под селом Кагарна. Третьего дня, 11 мая, пришла наша дивизия к месту своего назначения, в лагерь при *селе Кагарне (Каургу)*, на дороге от *Силистрии* к *Шумле*. Мы сменили здесь стоявшую уланскую бригаду и соединились с оставшимися здесь двумя полками казаков и двумя пехоты, которыми командовал генерал-лейтенант Крейц. Наш дивизионный генерал Мадатов начальствует всем отрядом.

17 августа

Ровно почти год назад, в Петербурге, я начал вести дневник. Уехав оттуда в Тверскую губернию, до самого прибытия в полк я прервал его; здесь опять я около месяца, во время похода, до прибытия в лагерь при *Каургу*, я вел его, но начавшиеся военные действия снова прервали его. Теперь же мы более $1^1/2$ месяца стоим лагерем около Шумлы, а я только сегодня собрался взяться за перо. – Я намерен теперь записывать случающееся ежедневно и сколько возможно, хотя отрывками, дополнить прошедшее <…>

Я давно нуждаюсь деньгами. Майор Денисьевич <!>, с которым я по сю пору вместе жил, давно уже занемог горячкою, так что от него не только не мог иметь помощи, но даже еще он мне остался должен. Перед его болезнью я еще разошелся с ним, потому что обоим нам жизнь вместе казалась слишком убыточною <…>

18 августа

<…> Дней пять тому назад как возвратился из главной квартиры адъютант Мадатова *Хомяков*[59]. Он пробыл 3 дня в занятом нашими войсками *Адрианополе*[60]. Жители оного принудили 10-тысячный гарнизон сдаться без сопротивления. Паша, донося об этом султану, заключает тем, что впредь он приказания получать будет от графа Дибича. В городе нашли 60 тысяч кил <!> разного хлеба; жители остались все в своих домах и занимаются своими промыслами, управление их осталось в прежнем порядке. В Адрианополе полагают до 130 тысяч жителей, строения весьма мало хорошего; паша строит себе новый дом итальянской архитектуры. Квартал франков выстроен маленькими двухэтажными деревянными домами и довольно красив. Вообще за Балканом мы нашли изобилие в продовольствии для армии <…>

Лагерь под Шумлой. 20 августа

<…> Вот уже третий день, что я нездоров; в Енибазаре сделалась у меня сильная головная боль; вчера целой день был у меня жар, слабость и боль в костях, сегодня мне тоже немногим чем лучше. В моих обстоятельствах занемочь весьма неприятно. Я всё еще не знаю, как устроить мое хозяйство: мне нужно или вьюки, или тележку и *деньги*, а по сю пору я даже не знаю, когда я могу надеяться их получить. – Из России всё еще нет слуху; не могу себе объяснить молчания: почта не может быть причиною 2-хмесячного молчания матери; а сестра отчего не пишет? Непонятно! грустно!

Место, где наш корпус теперь расположен, весьма невыгодно: версты за три мы должны посылать за водою, дров тоже нет вблизи. Мне это тем неприятнее, что у Крушковского оба человека нездоровы, а Арсений не успевает наносить и на варенье кушанья *воду*. – *Много мне теперь неприятностей*. Но что делать: “взявшись за гуж, не говори, что не дюж” – надо *дослужить*; кажется, Россия не лишится великого генерала, а история нескольких страниц о моих победах, если я выйду в отставку. О самолюбивое честолюбие, ты меня здесь жестоко караешь! – Прощай, мечта славы, не обманешь ты более меня и не заманишь опять в твои пустыни, поросшие одним терном, где везде встречаешь разрушение и смерть! Если полковник точно меня представил, то он мне во всех отношениях много сделает добра. Офицерское жалование мне много поможет – не то так мне трудно будет.

21 августа

<…> Вообще теперь люди здесь много хворают горячками: у нас в полку 170 человек больных – почти третья часть всех людей. Это тем удивительнее, что мы стоим на месте без изнурительных трудов – не так, как прошлого года.

Сегодня получили некоторые письма, а я всё еще ничего не получаю!!!

Давно начал я письмо к милому моему Языкову, но всё не соберусь его окончить. – Здесь в полку познакомился я короче и лучше, нежели с кем-либо, с двумя офицерами моего же эскадрона – *Шедевером* и *Якоби*. Первой, родом из Одессы, во всех отношениях прекрасный молодой человек, соединяющий благородный характер с добрым сердцем. Он ко мне, кажется, очень хорошо расположен. – *Якоби* уже человек проживший первую свою молодость и, по всему видно, пользовавшийся ею. Не

имев блистательного воспитания, он, как уроженец московской, видел людей и получил довольно навыку жизни. У него много природного ума. Сначала я ему показался гордым и не понравился, но после, сознался он недавно, он увидел, что я порядочный человек. – С этими двумя сослуживцами я более всего вместе бываю. Кроме их есть некоторые очень хорошие молодые люди, но я с ними не имел случая короче познакомиться <…>

23 августа

Вчера вечером дождь помешал мне продолжать писать; он ишел всю ночь и промочил всю палатку, так что нигде не было сухого места; это весьма неприятно, особенно мне, живущему по нужде в чужой палатке. Но одна ли эта теперь неприятность у меня? <…>

Вчера, когда я смотрел с кургана на первое действие наших батарей, подошел ко мне Александрийского полка *Корф* и просил меня от имени господина *Муравьева*, если я родня тверским Вульфам, то побывать у него; это очень любезно с его стороны – иной бы не подумал о столь дальней родне. Непременно на этих днях я являюсь к нему; надо также сходить и к Ничеволодову. Как знать, к чему это знакомство с Муравьевым пригодится <…>

24 августа

<…> Вчера вечером был я у Муравьева и Ничеволодова. Оба были очень любезны со мною. Муравьев про меня говорил Ничеволодову, он очень давно уже никого не видал из Вульфов; тем выгоднее, что он припомнил наше родство. Хотя он любит немного похвастовать, но должен быть весьма любезный человек. Говорят, пришла почта; надежда есть еще, что я с ней получу письма, – но если нет?.. что мне тогда делать? где найти денег, потому что я уже теряю терпение так жить, как я живу. – Когда я доживу до того времени, что не стану нуждаться ими? В университете, в Петербурге и, наконец, здесь – везде я прихожу в одно затруднение. Меня уверяют и мне часто самому приходит в голову, что я счастлив; здесь мне нельзя пока жаловаться на счастье, особенно с тех пор, как я жил с Денисьевым. Разъехавшись с ним, оно, кажется, опять обернулось ко мне; мое представление кажется мне первым его благосклонным взглядом. Если я каким-нибудь способом поправлю мое хозяйство, то я уверюсь в хранящей меня деснице, в существовании моего гения. Но как это может случиться, не предвижу. – Как-то идет наше

хозяйство? Вот пришел первый срок уплаты процентов за Малинники, устроила ли маменька Нивы?[61] – Всё важные вопросы.

25 августа

<…> Мои обстоятельства всё те же еще; а как они не поправились, то и становятся каждый день хуже. Ежедневные необходимости, самые ничтожные, как то касающиеся до пищи, одежды и т. п., кажутся совершенно незначущими, когда в них не нуждаешься, но как скоро одна только из этих мелочных наших привычек не удовлетворяется и нам чего-нибудь недостает, то нас это весьма расстраивает, несмотря на все рассуждения, что недостойно человеку заниматься такими мелочами как существу, одаренному преимущественно умственными способностями. После обеда 2 наша бригада идет в экспедицию; говорят, главный предмет оной есть предлог к представлениям.

31 августа

Сегодня рано поутру возвратились мы из экспедиции к Джумаю, куда мы выступили 25 числа. 2-я наша бригада, уланский полк и 100 казаков с 6 орудиями легкой конной роты № 6 составляли отряд под начальством Мадатова. Эта экспедиция была счастливейшая для нас (не так, как две прежние, где без пользы мы мучили людей и лошадей): не было сильных переходов, дурной погоды и недостатка съестных припасов – напротив того, мы отбили множество скота, несколько десятков повозок с казенным турецким провиянтом: ячменем, сухарями и мукою – и наконец кучу арбузов, которые собирали в Шумле. Жители большею частью не уходили в леса, встречали нас с подарками и поклонами; даже и те, которые сначала убежали, возвращались выпрашивать загнатый скот. Вообще мы нигде не встретили сопротивления вооруженных жителей.

2 сентября

Перед нашим выступлением в поход к Джумаю, на закате солнца, когда уже полк выведен был из коновязей на линию, турецкая граната ударила в середину переднего редута и взорвала зарядный ящик там. Черное облако дыма, заклубившееся над редутом и смешавшееся с вскинутою пылью, из которого во все стороны летели лопающиеся гранаты, казалось смертною пеленою, которою покрыты сотни храбрых. Но, к

счастью, мы после узнали, потеря была невелика: убило только три человека из прислуги около орудий, ибо никого не было в редуте. В следующую ночь, перед светом, чтобы доказать, что мы не уныли, послали одну роту Тамбовского полка для опыта (!!) на штурм редутов. Турки были столь оплошны, что в редуты влезли <мы> по их же лестницам и заняли без выстрела оба, переколов сонных артиллеристов. Но за редутом расположенная турецкая пехота, около 1000 человек, пробужденная нашим “ура!”, бросилась на наших храбрых прежде, чем они совершенно очистили редуты от неприятеля и подоспело наше подкрепление. Оно подошло тогда, когда турки уже смешались с нашими в редутах, и наконец принуждены мы были отступить. Потеря с нашей стороны была значительна, убитых и раненых считают более 300 человек. В числе первых мы потеряли отличных двух офицеров: полковников Корсакова и Желтовского. Трудно найти достойную награду начальникам за такое распоряжение <…>

6 сентября

В ночи на вчерашнее число получено здесь известие о заключении мира[62]. Во всем корпусе, верно, нашлось мало людей, которые сердечно не порадовались окончанию войны. От души все поздравляли друг друга с возвращением в Россию. Красовский, получив это известие, возвратился из экспедиции. В 9 часов утра поехал Красовский на свидание к визирю в Шумлу, я был в свите ординарцем у полковника. Подъезжая к крепости, увидели мы редуты, унизанные любопытными турками: многие выбегали из них, чтобы видеть нас поближе. Чем ближе подвигались мы к валу городскому, тем пестрее становилась толпа, окружающая нас. Нерегулярная и регулярная пехота, албанцы, арапы и жители – все смешались и так пестрели в глазах, что нельзя было остановить внимания ни на одном предмете. Проехав несколько рядов редутов, мы взошли в Шумлу или, лучше сказать, в укрепленный турецкий лагерь. Миновав два земляных вала, мы въехали в лагерь регулярной пехоты. Перед палаткой выстроилось несколько человек часовых с ружьями в синих куртках и штанах, которые важно прохаживались, держа ружья под курок.

7 сентября

Наконец подъехали мы к палатке верховного визиря, по обеим сторонам оной выстроена была регулярная пехота, которая при приближении нашем отдала Красовскому довольно для них

хорошо честь, сделав *на караул* точно так же, как прежде делали наши войска, т. е. теми же приемами, только не так ровно. Визирь встретил Красовского при входе в палатку и посадил подле себя на диван в глубине палатки; вдоль же боковых стен на подушках поместились генералы и полковники, а прочая свита стала за ними у входа в палатку. Начались взаимные приветствия и поздравления, обыкновенные в таких случаях; я на них не обращал внимания, а любовался на лица окружающих нас полковников, бишпашей и прочих чиновников, из которых некоторые прекрасны; почти у всех видно на лице какое-то добродушие, простое, открытое.

18 сентября

Потом подали трубки и кофей. Длинные черешневые чубуки были с красивыми янтарями, осыпанными камнями; кофейные чашечки у турок без блюдецек, а подаются вставленные в другие, металлические; последние у визиря были тоже украшены каменьями, à jour[63] вделанными. Вот всё, что я нашел похожего на роскошь у первого сановника Порты. Одежда его была очень проста: длинный кафтан и остальное платье были из сырнявого каземира[64], а чалма из белой шали. Здесь я видел тоже и знаменитого Гуссейна, истребителя янычар. У него видно на лице, что он не привык щадить кровь и что одним движением руки повелевает он снимать голову. Эти дни я не писал <дневник> сначала от ежедневных поездок в Шумлу, а потом я писал <письма> к матери, сестрам и Анне Петровне. Вчера я окончил их и сегодня хочу, если удастся, их отправить. – Представление мое в офицеры еще не выходит, и я боюсь, что меня не произведут так скоро. Хотя я получил сто рублей, но они скоро выйдут, и я останусь опять в той же нужде, потому что из Тригорского нельзя ожидать скоро денег. Теперь занимает меня будущность: недостаток в деньгах принуждает меня, несмотря на то что я от службы ничего не могу ожидать, прослужить года два еще, а грустно провести их без пользы, без удовольствия в какой-нибудь деревне Малороссии. Непременно мне нужно будет съездить, возвратясь, в Россию в отпуск – не знаю, позволят ли деньги это сделать. Мы, говорят, в начале октября пойдем назад в Киевскую губернию. Теперь несносная здесь скука: в Шумлу надоело ездить, занятия совершенно нет никакого – хорошо еще погода хороша.

21 сентября

Вчера отправил я письма домой и к Анне Петровне и начал, к живейшему моему удовольствию, писать к Языкову; в Енибазаре я уже раз начинал к нему письмо, но не удалось кончить. Я всё хотел писать занимательно и приятно – и оттого никогда не был доволен тем, что я писал. Теперь я решил просто рассказать всё, что со мною случилось и что видел замечательного; я буду очень доволен, окончив письмо. Всё еще неизвестно, когда мы тронемся отсюда; скука несносная – к тому же сегодня поутру ишел маленький дождь – это напоминает, что скоро начнется осень. Поход в Россию предстоит нам трудный. О представлении ничего не слышно: досадно, если оно не выйдет.

На этих днях попался мне в руки Булгарина роман “Выжигин”. Не читав ничего уже несколько месяцев, я с жадностью и без порядку прочитал четыре части, в которые разделен роман. Он назван нравственно-сатирическим, но сатиры я мало встретил в нем. Ход романа совсем не занимателен, происшествия не связаны, а рассуждения нравственные несносны, описание чувств и страстей вяло и холодно. Зато описание образа жизни наших дворян, некоторых лиц, сделанных представителями всех пороков и недостатков, которые встречаешь в их сословии, злоупотреблений, которые мы всякой день видим, и наконец разных степеней общества нашего в столице и губерниях <!>. Слог сочинения вообще чист, но в нем нет ни живости, ни остроты, ни разнообразия рассказа: качества слога, *требуемые* от сатирика[65].

Несколько книг, которые я взял <с> собою, доставили мне много развлечения и утешения, особенно Байрона сочинения[66]; без них и без пера я бы одурел от скуки и бездействия. Жаль, что мои товарищи растеряли мне некоторые из оных: британца <?> Байрона мне весьма жаль, здесь это бесценная потеря <…>

29 сентября

<…> Эти дни я не совсем здоров: у меня болит голова; верно, это опять геморройдальные припадки (я уже очень давно как не делаю почти никакого движения). – Последнее письмо матери меня очень радует; в нем она очень нежна, заботится о сохранении моей жизни и называет подпорою и надеждою всего семейства. Надеюсь, что со временем она удостоверится, что мне нечего ожидать от службы, и согласится на то, чтобы я ее оставил. – Сестру я намерен опять бранить за ее письмецо; в нем она мне ничего не сказала занимательного, кроме того, что А. Б. просила мне кланяться <…>

2 октября

<…> Вот октябрь месяц, а мы всё еще здесь и не знаем, когда и куда пойдем; погода нам благоприятствует: не дождлива и не холодна. Я всё еще юнкер; если бы мог я быть теперь произведен, то, может быть, мог бы перейти в гвардию. Требуют 4 офицеров с дивизии, отличившихся во время войны, для перевода в старую гвардию; это, кажется, одна из наград за кампанию. Видно, от этой войны мне никаких покуда выгод не будет. В азартные игры я, верно, везде несчастлив – вообще же мне нельзя пенять на счастье.

Здоровье мое хорошо, исключая геморроидальных головных болей.

3 октября

Я нездоров, и грустен, и скучен. Хочу на этой неделе окончить письмо к Языкову – не знаю, удастся ли; к сестре я уже написал. Когда есть неприятности обстоятельств, которых влияние непрерывно сливается со всеми чувствами и впечатлениями, то человек ни к чему не способен – я это испытываю теперь. В голове пустота, в мыслях несвязность; самое тело страдает: чувствуешь в себе тягость, лень, внутренний жар; сон не освежает, и поутру печаль прежде солнечных лучей является <…>

4 октября

<…> Я пошел к Ничеволодову в Ахтырский полк и потом от него к Фрейтагу, где я нашел Petersen, полкового врача, бывшего в одно время со мною в Дерпте. Я нашел его тогда старым студентом (Alten Burschen). Как такой, поступил он в Derpter Landsmanschaft[67], но не принимал более участия в делах, отчего мы и не были знакомы, хотя я его очень хорошо знал. Он меня не узнал и даже с трудом вспомнил мою фамилию. Мы целой вечер проговорили про общих знакомых и про замечательные происшествия и лица нашего студенческого мира – и время прошло незаметно для меня <…>

9 октября

<…> Вчера приходил за мною Фрейтаг; у него я опять просидел целый вечер. О походе нашем не слышно. – Я теперь читаю Вольтера трагедии, самые слабые: “Олимпия”,

“Триумвиры” и “Скифов”; первая очень слаба, вторая лучше. Перед этим я пробежал тоже одну часть его романов: эти прекрасны, слог в них чрезвычайно хорош, а критика удивительно едка.

11 октября

Сегодня выпал здесь первый снег – я не ожидал его так скоро под небом, где зреет виноград и благородные плоды юга. Со снегом стих немного и ветер, так что воздух теперь не столько суров. Я только опасаюсь, чтобы скоро не наступили дожди, а такая погода, как теперь, еще сносна.

Теперь почти наверное можно сказать, что мы зиму простоим в Бабадагской области! Это самые невыгодные квартеры, которых нам можно было ожидать. 1 бригада нашей дивизии счастливее нас: она будет стоять в Валахии около Бухареста. Впрочем, кто знает, может быть, и это распоряжение переменится или стояние в некрасовских деревнях не будет так невыгодно, как мы воображаем. Дельво, наш полковой адъютант, всё называет меня своим наследником тотчас по производстве в офицеры; я бы не прочь от этого: лучше, чем убивать время в деревне, употребить его в пользу службы и себя. – Но когда же выйдет это производство? – На несколько дней мое существование еще обеспечено, но что вперед будет, как повезу мои вещи – этого по сю пору я еще не знаю.

12 октября

<…> Всё это хорошо, но я без денег – видно, придется мне наконец просить их у полковника. – Что-то Анна Петровна давно не пишет, да и дома, кажется, не слишком часто обо мне вспоминают. – Впрочем, редкие письма сестры не есть еще тому доказательство – вспоминать и писать – две разные вещи: одно почти невольное действие ума или чувств, а другое требует, несмотря на всё, род труда. Я несправедлив: слишком многого требую. Писать письма для меня есть занятие, необходимая, почти единственная теперь деятельность ума. Им же совсем другое: сестра, как и все, пишет для того, чтобы отвечать на мое письмо, начинает обыкновенно писать перед отправлением почты, торопится, скажет несколько слов о том, как рада моим письмам, сколько меня любит, как ей скучно, и заключит тем, что у них ничего нет нового.

Прочитав написанное, я подумал: чего же я требую? и от кого? – Какое имею право требовать я столь многого, столь

редкого? Исполнил ли бы я сам требуемое от других? – Я должен быть доволен тем, чем теперь пользуюсь, и стараться самому не заслужить этих упреков.

Война теперь, кажется, кончилась. Я давно хотел дать себе отчет в мнении об ней, но по сю пору еще не сделал. У меня слишком мало данных (фактов) для того, чтобы я был в состоянии положить решительное и неошибочное мнение равно о политических причинах войны, так как и об ее плане. Об исполнении оного, особенно в иных частях (по тому, что я видел в этот поход), можно мне судить основательнее: мое мнение я подкреплю доводами, основанными на виденном и испытанном. – Если не теперь, то на квартерах я хочу поговорить об этом подробнее, теперь же надо наконец кончить письмо к милому Языкову.

14 октября

Вчера погода стала теплее, а сегодня большой туман, которой солнце начинает разгонять, обещает хороший день. – Сопалатник мой Крушковский откомандирован, и я до самого выступления имею удовольствие оставаться одним: немалая выгода. – С отъездом Ушакова и Рославлева стало еще скучнее, однообразнее. Я вчера целой день читал роман “Le Doyen de Killerine” Прево;[68] здесь его еще можно читать.

17 октября

Жизнь теперь так однообразна и пуста, что точно не от лени я эти дни не писал, а от того, что нечего было сказать. Вчера приехавшие из главной квартиры офицеры не привезли никаких известий, кроме того что на дороге они встретили курьера, ехавшего из Петербурга с ратификациею мира[69]. Заключая по этому, можно нам теперь скоро ожидать повеления к отступлению <…>

Эти дни погода довольно теплая, но сегодня поднялся опять сильный ветер, который, вероятно, погонит холод.

Мне удалось теперь прочитать давно известную книгу “Six mois en Russie” p<ar> Ancelot[70]. Исключая некоторые ложные мнения и глупости французского самолюбия, есть в ней занимательное, касающееся времени его пребывания в России; по крайней мере, видно доброе намерение автора описать вещи так, как они ему казались, а не ругать всё русское. К Языкову я надеюсь скоро отправить письмо: это меня очень обрадует. Потом буду писать к Анне Петровне и домой – я уже давно не получаю писем, особенно от первой.

19 октября

К величайшему моему довольствию, отправил я наконец письмо к Языкову. Не знаю, обрадует ли его столько получение оного, сколько меня радует отправление. Николай Михайлович есть один из тех людей, которых я более всех люблю: мне кажется, что для него я был бы готов пожертвовать любовницею. – Никогда я не забуду моей ревности, моей горести, когда я, будучи в Петербурге, читал его письмо к брату его Александру Михайловичу, в котором он называет Петерсона человеком, которого он более всех других уважает и любит. – Я тогда писал ему об этом, и он мне отвечал, что тогда он говорил только о тех людях, с которыми в то время он вместе был[71]. Я успокоился. Что делает Франциус? – и к нему надобно написать; жив ли то он? – К Анне Петровне я тоже сегодня писал; что-то давно нет от нее писем.

Сегодня пошла в Россию конно-батарейная рота № 14, а завтра отправляются наши худоконные в Бабадаг; теперь, вероятно, и мы скоро пойдем. Хотя снег перестал идти, но погода пасмурна, туман с мелким дождем и очень грязно.

20 октября

<…> Зашедши в Ахтырский полк к Фрейтагу за книгами, я, к прискорбию моему, узнал, что *Дубенский* умер. Смерть неожиданная этого человека меня очень опечалила; я с ним познакомился здесь через Денисьева, с которым он давно в связях. С первой встречи с ним я его очень полюбил. Не будучи красавцем, он для меня имел чрезвычайно много приятного в лице; в обращении он соединял это же качество с благородством и добродушием. Довольно странно, что, не познакомившись короче, он меня тоже очень полюбил: всякой раз, когда у него был Денисьев, он спрашивал обо мне и повторял, что он не понимает сам, отчего меня любит. С месяц тому назад я встретился с ним на вольном рынке: я сначала в толпе не узнал его – мы так обрадовались друг другу, что чуть не бросились обниматься. Его лошадь тут скакалась с казачьею, донец обскакал, и на счет проигравшего мы пили шампанское. – В последний раз я бедного тут видел! – Всё хотел я к нему зайти, особенно когда еще был здесь Денисьев, но не удавалось как-то. Жаль, что я не знал об его опасности. Мир ему!! – Его жизнь была бурная, страсть к игре владела им, и много он от нее страдал, вероятно, и последние свои минуты. Он умер воспалением в мозгу. – Нашу взаимную привязанность я должен назвать симпатиею – иначе я не могу ее объяснить. – Утешительная мысль, если воспоминание живущих может быть приятно душам бесплотных <…>

Деревня Сарыкиой. 4 ноября

Вчера после двухнедельного похода пришли мы сюда, в некрасовское селение *Сарыкиой*. Удовольствие поселиться наконец под крышею, отогреться и отдохнуть от похода умерено было тем, что, во-первых, квартеры очень тесны – на полк и бригадный с дивизией штабы назначено 190 хат, – а во-вторых, что в них открылась чума – в 7 избах найдены больные. Болезнь принесли сюда уланы на походе: они останавливались в землянках, где прежде лежали чумные, и заразились, разумеется, сами. – Теперь же испортили они нам наши квартеры, так что, может быть, мы все пострадаем. Непростительное небрежение местного начальства.

5 ноября

Вычистив мое плохое ружье с утра, пошел сегодня на охоту; проходив до обеда, я ничего не застрелил – так прежде в Тригорском я часто прохаживал дни. Пообедав довольно вкусно – голод лучшая приправа, – я принялся разбирать мои книги и

бумаги. Петербургский *дневник* мой остановил меня, и я его до тех пор не пустил из рук, пока всего не пробежал. Очень много принес он мне удовольствия: теперь узнал я всю цену дневным запискам. – Я всё перечувствовал, что со мною случилось тогда; сравнил тогдашние мои желания и мнения с нынешними, нашел последние переменившимися, а первые совершенно противоположными: мои желания все стремились сюда, я жаждал одной славы, теперь я назову счастливою ту минуту, когда оставлю военное ремесло и славу, – ищу одного покоя[72].

Пришедши сюда, я не знал, с кем вместе остановиться <…> к вечеру я еще не имел пристанища, наконец унтер-квартирмейстер нашего эскадрона показал мне хату, в которой уже стоял мой взводный вахмистр Рыбовалов с двумя гусарами. Я нашел просторную – в сравнении с другими – чисто выбеленную комнатку и – что всего лучше – весьма добрых и услужливых хозяев, так что мне теперь приятнее стоять, чем с которым-либо из офицеров (одно неприятно только: это сегодня прибывшие к нам еще 4 гусара). Если бы не чума, то можно бы быть довольны<м> нашими квартерами. Вчера открылась у Беклемишева хозяина чума, сегодня умерла от нее девочка, которая занемогла, и бедного ротмистра оцепили: кто знает, выйдет ли он живой? – Всякого из нас ожидает подобная участь. Начальство отдает строгие предписания – желательно, чтобы они точно исполнялись. Глупость и непослушание наших солдат нестерпимо: их никак не научишь осторожности и не уверишь в опасности. Он не может удержаться, чтобы не поднять всякую тряпку, которую он увидит. – Счастливы мы будем, если удастся остановить заразу и не пострадаем от нее. – Народ здесь вообще кажется добронравный и неиспорченной нравственности; несмотря на то что мы их очень стесняем, они нас очень хорошо приняли. Они весьма зажиточны и до войны не терпели ни в <чем> недостатку. Главный и единственный их промысел – рыбная ловля, которая весьма прибыточна; землепашеством они совсем не занимаются.

6 ноября

Сегодня я наряжен в караул на гауптвахту; пока еще не пришли сказать, когда идти, хочу я описать место, где мы сейчас стоим. Некрасовское селение Сарыкиой, состоящее из 200 дворов, 1 церкви и часовни, лежит от Бабадага в верстах 15, на берегу большого лимана Разена, на северной его стороне, против небольшого острова. Оно выстроено над довольно крутым берегом, от которого на несколько сот сажен простираются

камыши, населенные множеством водяных птиц разных родов. Влево от деревни, за степью, в верстах 4, видны горы, идущие к Тульчи, а далее возвышенности, лежащие между Бабадага и Исакчи. Земля здесь, как почти во всей Бессарабии, с избытком награждает за труды; из прекрасного винограда делают здесь порядочное вино. Плоды и овощи были так дешевы прежде, что жители не занимались возделыванием земли; море доставляло им всё в изобилии; заливы (лиманы) Черного моря и устья Дуная богаты рыбою, которая ловится и в наших реках, впадающих в это же море. Некрасовцы и запорожцы исключительно почти занимаются прибыточным рыбным промыслом и снабжают всю Молдавию и Валахию рыбою. – Они очень были довольны турецким правительством, которое, не собирая податей, довольствовалось казацкою службою в ближних городах. Управлялись они по сию пору миром и старшинами так же, как и у нас управляются селения. Вообще они сохранили все обычаи прежнего отечества своего, так же как и язык, во всей чистоте. Точно так же, как запорожцы говорят малороссийским наречием, так они великороссийским. Об расколе их я еще не могу ничего более сказать, как то, что табак и чай равно считаются нечистыми; здесь есть церковь, но без священников: пастыри не уживаются здесь. Бродяги, забегающие сюда, обыкновенно спиваются через несколько недель, отчего они умирают или их выгоняют. Мне кажется, что здесь, несмотря на схизму[73], народ так же, как и в православной России, не очень набожен.

7 ноября

Сейчас сменился я с караула. Отдаются строгие приказы насчет наблюдения осторожности от заразы; учреждены карантины и окурки; запрещено всякое сношение между эскадронами, а в них между взводами. Многие из офицеров не пускают никого к себе в хаты. Самые жители принимают все возможные меры: они научены опытом, ибо в 17 лет это в 7-й раз у них открывается чума. Несмотря на всё это, оцепили сегодня поутру еще два двора – в них занемогли хозяйки. Такая новость неутешительна; что же делать, надо надеяться на одно Провидение.

Пора начинать писать письма, время, кажется, будет достаточно, от одной скуки даже будешь марать бумагу; не знаю только, как я их буду отправлять. Меня начинает заботить, что я долго теперь не получу письма – следственно и денег. Занятых мною у Голубинина недостанет до нового года, как я раздумал, остается одна надежда на Провидение.

8 ноября

Вчера выпал снег, и сегодня стала порядочная пороша; с утра я пошел искать заяцев, и мне удалось одного застрелить. Таким образом, сегодняшний день в охотничьем отношении могу я назвать счастливым, других отношений здесь нет теперь, кроме чумных еще… – Если эта несносная чума пройдет, то еще здесь будет сносно.

Вправо от нашей деревни, по ту сторону Бабадагского озера, возвышается отдельно от других коническая гора, на вершине которой видны развалины стен и башен древнего монастыря Св. Георгия; вид этой горы над озером прекрасен; предание говорит, что и на ней некогда жил Дракон, пожиравший юных дев, от которого Свят. Георгий избавил сию страну, – в память этого подвига построен был монастырь и прозван Ираклиевым. Видно, теперь племя деволюбивых змей перевелось: прежде не было края, где их бы не встречал <…>

9 ноября

<…> Меня утешает <…> то, что этот год я не так много прожил, вот сколько:

Отъезжая в Петербург, я взял у матери, кажется,	200 руб.
Там от Пушкина получил	1500 ”
От Змиева занято	950 ”
Сюда прислала мать	100 ”
Всего	2750 руб.
Да занято здесь у Ушакова, Голубинина и Запорожца	628 ”
Итого	3378 руб.

Если мне еще на $1^1/2$ месяца издержать 120 руб., то в этот год расход мой будет доходить до 3.500 – это немного.

10 ноября

Сегодня я опять ходил в поле, несмотря на сильной мороз. Не для одной охоты, но от скуки и для движения я теперь хожу. Ах, скоро ли я получу деньги, скоро у меня их не станет – это настоящее мучение…

11 ноября

День за днем проходит однообразно и незаметно; вот уже неделя, как мы здесь едим и спим, – более по сю пору я, кажется, ничего не делал. Так незаметно протекут и месяцы. Прошлого года в это время я читал Смита и Манзони описания чумы, восхищался ужасами оной, а теперь сам остерегаюсь ею. Третьего дня напомнил мне мужик, раздевший умершего чумою, последний роман: как ужасный monatti, пьяный, он запел гулевую песню[74]. Жители здесь весьма осторожны с заразою: коль скоро где-нибудь покажется больной, то все люди из того двора выходят в степь, а дом заколачивают на 40 дней. Этот же срок со дня смерти последнего чумного должны прожить в поле вышедшие из зараженного дома. – У зараженного болезнь начинается сперва головною болью, потом с ним делается жар, тошноты и наконец открываются на теле пятна или желваки (бубоны): тут обыкновенно человек умирает; примеры весьма редки, чтобы люди выздоравливали. Умершего чумою можно узнать тотчас потому, что он не костенеет, как другие тела умерших.

Что делают мои красавицы теперь, вспоминают ли своего холодного обожателя? – и подозревают ли они соблазнителя своего в чумной деревне, в одной хате с некрасовской семьею и полдесятком гусар, – судьба отомщает их. Год тому назад скучал я в неге их объятий, а теперь? – Если не все, то некоторые, верно, часто обо мне вспоминают. Лиза, я уверен, еще любит меня, и если я возвращусь когда-нибудь в Россию, то ее первую я, вероятно, увижу: наши полки верно будут расположены в Малороссии[75]. – *Саша* всегда меня будет одинаково любить, как и Анна Петровна. *Софья*, кажется, так же скоро меня разлюбила, как и полюбила. *Катиньку*, вопреки письменным доказательствам, я не могу причислить к моим красавицам: очарование у ней слишком скоро рассеялось. Сошедшись опять с нею, не знаю, удержусь ли я, чтобы не попытать воскресить в ней прежние чувства ко мне. Эта женщина подходит ближе всех мною встреченных в жизни к той, которую я бы желал иметь женою. Недостает ей только несколько ума. Несмотря на то, что ее выдали замуж против воли, любит она своего мужа более, нежели другие, вышедшие замуж по склонности. Детей своих любит она нежно, даже страстно; живучи в совершенном уединении, она лучшие годы своей жизни посвящает единственно им и, кажется, не сожалеет о том, что не знает рассеянной светской жизни. Несмотря на пример своего семейства и на то, что она взросла в кругу людей, не отличавшихся чистотою нравственности, она умела сохранить непорочность души и чистоту воображения и нравов. Приехав в конце 27 года в Тверь, напитанный мнениями Пушкина и его образом обращения <с> женщинами, весьма

довольный, что на время оставил *Сашу*, предпринял я сделать завоевание этой добродетельной красавицы. Слух о моих подвигах любовных давно уже дошел и в глушь берновскую. Письма мои к Александре Ивановне[76] давно ходили здесь по рукам и считались образцами в своем роде. Катинька рассказывала мне, что она сначала боялась приезда моего так же, как бы и Пушкина. Столь же неопытный в практике, сколько знающий теоретик, я первые дни был застенчив с нею и волочился, как 16-летний юноша. Я никак не умел (как и теперь) постепенно ее развращать, врать ей, раздражать ее чувственность. Зато первая она стала кокетничать со мною, день за день я более и более успевал; от нежных взглядов я скоро перешел к изъяснениям в любви, к разговорам о ее прелестях и моей страсти, но трудно мне было дойти до поцелуев, и очень много времени мне это стоило. Живой же язык сладострастных осязаний[47] я не имел времени ей дать понять. Я не забуду одно препиятное для меня после обеда в Бернове, где я тогда проводил почти все мое время. В одни сумерки (то время, которое называют между волком и собакою[78]), в осенние дни рано начинающиеся, она лежала в своей спальной на кровате, которая стояла за ширмами; муж ее сидел в другой комнате и нянчил ребенка; не смея оставаться с нею наедине, чтобы не родить в нем подозрения, ходил я из одной комнаты в другую, и всякий раз, когда я подходил к кровати, целовал я мою красавицу через голову, – иначе нельзя было потому, что она лежала навзничь поперек ее, – с четверть часа я провел в этой роскошной и сладострастной игре. Такие первые награды любви гораздо сладострастнее последних: они остаются у нас в памяти в живейших красках, чистыми, благородными восторгами сердца и воображения. С первых дней она уже мне твердила об своей любви, но теперь уже от слова доходило до дела; даже в присутствии других девушек она явно показывала свое благорасположение ко мне. Если бы я долее мог остаться с нею, то, вероятно, я не шутя бы в нее влюбился, а это бы могло иметь весьма дурные следствия для семейственного ее спокойствия. И то разлука нам уже становилась тяжела, мне нельзя было долее медлить в Твери. Надо было оставить приволье мирного житья и начать гражданскую мою жизнь, вступить в службу. Проживши 1 1/2 месяца с моей красавицею, с слезами на глазах мы расстались – разумеется, мы дали обещание друг другу писать (я уже после первого признания написал ей страстное послание), и она его сдержала, пока не узнала, что я волочусь в Петербурге за другими. Когда я через год (в 28) опять увидел ее, то хотя она и обрадовалась моему приезду, но любви я уже не нашел у нее

(может быть от того, что она была брюхата на сносях), и мои старания воскресить ее остались напрасными. – Вот история моей любви с этой холодной прелестью. – Теперь, я думаю, она и не вспомнит обо мне!!

12 ноября

Вчера и сегодня поутру я говорил все про мои любовные похождения. Кажется, про Турцию я буду тогда писать, когда в ней не буду. Она так наскучила и так незанимательна, что не имеешь духу про нее и говорить. Вот на сегодня несколько слов о нашем возвратном пути из-под Шумлы. Октября 21 выступили мы с нашей позиции в поход сюда; ветер, дождь и снег ишли целый день; дорога совершенно испортилась, ломались повозки, падали волы и лошади; наконец самый солдат терял силы от холода, мокроты и усталости. Пришедши в Енибазар, у нас в эскадроне сняли одного гусара уже мертвого с коня, а в ночь умерло еще два в полку. Первого в моих глазах схоронили саблями, как полковника Говарда под Ватерлоо, но другой Байрон не воспоет его[79]. Ночью выпал снег, который ишел и целой другой день. Бедные гусары в степи не имели даже довольно дров, чтобы варить себе пищу. На другом ночлеге, не доходя Козлуджи, сделался мороз – и мы схоронили опять несколько несчастных. Это была одна из жестоких ночей; она мне живо напомнила отступление Наполеона и Мицкевича “Валленрода”, в котором он оное описывает[80]. Зато она и была последняя; подходя к Базарджику, погода стала разгуливаться и сделалась прекрасною осеннею. На марше от последнего города, во время привала, неосторожно разводя огонь, зажгли сухой бурьян; в четверть часа вспыхнула степь на пространстве нескольких верст. Тут вздумали тушить его, опасаясь, чтобы не сжечь казенное сено (которого по всему пространству от Балкан до Дуная много накошено, говорят, до 15 миллионов пудов), да, к счастью, по этому направлению его не было. Ветер с час гнал перед нами это огненное море; картина была единственная: часто под ногами у нас свистело и трещало пламя, особенно, где высока и густа была трава; за нами почернела степь, на ясном небе из дыму составились облака – в полном смысле слова мы шли всеразрушающей ордою, с огнем и мечом.

От Базарджика во всё остальное время похода стояла прекрасная по этому времени года погода, дорога была ровна и суха. Только ночью мы терпели от холода, тем более что мы шли всё совершенно безлесною степью.

14 ноября

Вчера отправлен был я в Бабадаг, чтобы сдать в лазарет 3-х человек гусар больных. Я поехал уже довольно поздно оттого, что не были готовы аттестаты для отправляемых; приехав в Бабадаг, я с трудом сдал больных. Дежурного лекаря не было, а фельдшер был так пьян, что, хотев его разбудить, я бросил его под кровать, под которой, вероятно, он остался до утра. Некому было осмотреть моих гусар и принять их, чтобы не мерзли они на дворе. Напрасно я искал кого-нибудь, чтобы пожаловаться на эти беспорядки: кроме пьяных цирюльников и писарей не было никого. Наконец какой-то музыкант от имени канцелярии лазарета дал мне расписку в принятии больных – по какому праву, не знаю. По этим распоряжениям можно судить о порядке и о положении несчастных больных. При мне вынесли на носилках тело только что умершего. – Сколько я в нынешнюю кампанию видел, то утвердительно можно сказать, что распоряжения по медицинской части действующей армии были самые недостаточные. Не упоминая о том, что весьма мало было врачей – все почти хирурги, тогда когда нужно было более медиков, – ни о том, что не было совершенно медикаментов, – были такие случаи, что нововступающие больные оставались без пищи. Неудивительно после этого, что в Енибазаре, где были все больные нашего корпуса (до 6000), десятками зарывали тела в одну могилу. – Если исчислить всю потерю нашу людьми в оба года, то она найдется весьма значительною, несмотря на то что война была вовсе не кровопролитна. Несчастные гибли не от меча неприятеля, а от незаботливости собственного правительства. Можно наверное положить, что из умерших мы потеряли только 1/10 убитыми и ранеными <…> Возвратясь домой, я нашел хозяев моих празднующих заговены. К ним пришла в гости кумушка с кумом, и началось пьянство и песни. Я люблю видеть народ веселящимся. Песни они поют наши русские и казацкие, но весьма дурно. Я бы стал писать их со слов, но они поют без толку и не допевают песен. – О чуме, слава Богу, эти дни ничего нового не слышно; ни один гусар ею еще не занемог – авось, она мимо нас пройдет. – В полку тоже ничего не слышно.

15 ноября

<…> Вечер я просидел у Рудольтовского, где был и Рошет; мы говорили много про Петербург и с Рошетом про *Пушкина*; он был со Львом и Павлищевым вместе в лицейском пансионе. – Вчера вечером пошел мелкой дождь осенний после тумана, с утра

обложившего небо, которое <!> согнал бы весь снег, если бы поутру мороз не остановил оттепели.

Совсем неожиданно принес мне Шедевер и Якоби большой пакет писем от матери и сестры. Кроме того что обе написали мне по длинному и очень милому письму, первая вложила еще в пакет целую тетрадь почтовой бумаги, чтобы я ее всю употребил на ответ ей. – Оба много меня обрадовали и утешили; давно я не получал столько занимательных и нежных, особенно материно полно чувств истинных. Она рассказывает, как ей понравилась Москва и как она приятно провела там время, – чрезвычайно меня радует, что от всегдашних ее хлопот по управлению имением и забот о нас она в Москве в кругу старых своих знакомых нашла отдохновение. Я бы всё сделал, что от меня зависит, чтобы исполнить ее желание жить по зимам в Москве. Пора ей отдохнуть от вечных беспокойств, а сестер вывезти из деревенской глуши. – Сестра тоже разговорилась в своем письме против обыкновения; здесь это первое ее письмо, которое заслуживает название. Жалобы ее на жизнь, которую она ведет, справедливы: положение девушки ее лет точно неприятно; существование ее ей кажется бесполезным – она права. К несчастию, девушки у нас так воспитаны, что если они не выйдут замуж, то не знают они, что из себя делать. Тягостно мыслящему существу прозябать бесполезно, без цели. Она хочет, чтобы в письмах моих я менее рассуждал, а более писал про Турцию, – верно, что ей невозможно себе представить, что про степь, поросшую одним терновником и бурьяном, в которой мы кочевали всю кампанию, можно бы много занимательного написать. Мать всё еще пишет из Малинников, но обещает через несколько дней выехать в Тригорское. Она говорит, что уверенность быть в состоянии скоро мне из Тригорского выслать значительную сумму денег ее утешает: и мне бы это весьма приятно было, ибо я скоро буду в затруднительном положении насчет денег. Удивляюсь, что с этой почтой не получил я письма от Анны Петровны – она уж очень давно не писала; здорова ли она и как живет теперь?

17 ноября

<…> Нельзя не подивиться административным распоряжениям нашей армии. Сперва держали нас донельзя под Шумлою, едва не переморив людей от холоду и лошадей от недостатку корма. Дождавшись самой дурной погоды, потом поставили нас в зимние квартеры, где нет продовольствия, чрезмерная теснота и наконец, вдобавок ко всему, чума, – должно

признаться, что подобного нигде не встретишь, кроме в нашей родной России. Немного это чести приносит талантам и заботливости о войсках героя Забалканского.

19 ноября

<…> У Ушакова взял я прочитать 1 часть войн России с Турцией Бутурлина, переведенную Гречем. Сегодня я прочел первую войну Екатерины 1769–74, веденную Румянцовым. В описании сих походов мало замечательного и поучительного, одна только битва Кагульская достопримечательна. Если вся история Бутурлина так писана, то не много в ней хорошего. Теперь буду я писать к Анне Петровне.

20 ноября

<…> Вот наступил 5-ый год царствования Николая; прошла первая олимпиада, но мало, кажется, сделалось улучшений в продолжение этого времени. Мы окончили две войны – взяли с правоверных много золота, но последнее много стоило нам крови, государству мало они принесли пользы. Несмотря на бурное и кровавое начало, можно еще ожидать добра от этого царствования[81]. – Надолго, кажется, мы спокойны от крамол – это поколение, по крайней мере, усмирилось. За будущие, однако, нельзя поручиться, если не искоренят причин, возбудивших первый бунт.

22 ноября

<…> Вчера имел я удовольствие застрелить зайца, хотя погода была довольно холодна. Удовольствия этого рода почти единственные, какими здесь можно пользоваться. Хотя гуманисты и называют звериную охоту варварством, недостойным человека просвещенного, но я не в силах отказаться от нее, особенно в здешней варварской стране. К тому же она так полезна в отношении телесного упражнения, что нравственной вред в сравнении с первою выгодою ничтожен. Никогда людям невозможно будет переменить общий закон природы и взаимного истребления <…>

24 ноября

Сегодня Екатеринин день: именины двух моих двоюродных сестричек[82]. Одна теперь в Саратове – в пределах дальних! –

забыла меня. Другая в Твери, вероятно, с моими сестрами прыгает французскую кадриль, и тут меня не поминают, по крайней мере она. – В Петербурге прошлого года я был у Симанской и у Бегичевых, где две Катерины[83]. Здесь еще менее остался я верно в памяти. Анна Ивановна[84] хоть и спрашивает часто (сестра пишет) обо мне, но это одна вежливость или больше хорошая память всех людей, самых даже незанимательных, которых она встречала в жизни. Я могу решительно сказать, что, зная ее целый год и видав иногда очень часто – во время бытья матери в Петербурге, – я не видал ничего с ее стороны, кроме холодной вежливости; я не слышал ни одного приветливого слова, ни такого, которое бы показало, что она малейшего удостаивает меня внимания. – Несмотря на обидную такую недоступность, я ее люблю и очень желал бы ей понравиться. Она может быть, кажется, прекрасною женою. Довольно странно: с ее прекрасными качествами и состоянием она по сю пору не замужем. – Но вот куда мечта заносит из Сарыкиой, из середы чумы!!

В Дерпте этот день я обыкновенно тоже приятно проводил. В Лифляндии обычай накануне Екатеринина дня (так же как и на Мартына[85]) л<юбят?> маскироваться: с вечера начинают толпиться по улицам маски, их принимают с удовольствием во все дома, угощают и, где находят молодых девушек, танцуют. Вольность, которою пользуются маски, придает много цены этим удовольствиям. Я помню не один такой вечер, которой много принес мне удовольствия, особенно приготовлениями к маскараду.

Говоря о маскерадах, я вспомнил, когда, приехав в Петербург, я встретил 28 год на таком у Лихардова. Это было первое общество блистательное, в которое я взошел в Петербурге. Я выбрал себе турецкий костюм очень к лицу и кстати по обстоятельствам. Все люди, там бывшие (исключая сестер), мне не более были известны, как бы жители Стамбула; следственно, я очень естественно мог представлять азиатца, всё сие в первый раз видящего. Мне отдали справедливость, признав меня в этом костюме одною из лучших маск. И точно: наклеенная борода очень красила меня (я не надел маски, потому что еще в Петербурге меня никто не знал). – Однако я недолго остался на бале: дождавшись нового года, я тотчас уехал. Мне наскучило смотреть на французские кадрили, в которых не было ни одного для меня занимательного лица. – Жаль, что я приехал в Петербург один и без способов вступить в большой свет, как говорят. Я не имел возможности сам пробить себе дорогу, потому <что> не имел столько денег. Вот и остался я около Фонтанки,

куда меня судьба выкинула с почтовой телеги, в малом кругу родных и знакомых. Если бы не дом Дельвига, то жизнь моя в Петербурге была самая бесполезная и скучная. Бывая у него всякой день, я по крайней мере был в кругу литераторов – едва ли не лучшем во всем Петербурге – и оттого познакомился почти со всеми тогда жившими в Петербурге. Такое общество людей образованных, хотя и не самое блистательное, во всех почти отношение<!> предпочтительнее *высокого круга знакомых,* где, кроме городских новостей и карт, ничего не слышишь. – Об этом обществе, в котором он жил, мне дала понятие связь с Пушкиным. Вероятно, будь я счастливее в Петербурге, получив выгодное место в статской службе, я не захотел бы сюда. В департаменте податей и сборов нечего было мне ожидать, жить стоило слишком дорого – что ж оставалось мне делать, как не испытать здесь моего счастья – здесь, в мазанке, с полдесятком гусар, делающих теперь (ночью) воздух нестерпимым!!! – О, своенравный рок!!

25 ноября

<…> Еще я прослужил лишний месяц юнкером. Наступил 11-й (месяц) моей службы, а я и не предвижу моего производства; это мне еще неприятнее ради домашних. Так-то исполняются в России законы, и так мои надежды! Это будет, однако, весьма занимательно, если еще несколько месяцев я не дождусь представления и возвращусь в Россию юнкером. Тогда я вправе буду сказать, что несчастливо служу. – Всё это меня не заботило бы, если я скорей получил бы деньги.

26 ноября

<…> Вчера вечером ходил я к Воейкову играть в шахматы; я чрезвычайно рад, что нашел здесь эту игру, – она здесь становится вдвое занимательнее обыкновенного. Я намерен часто ею пользоваться.

28 ноября

Я теперь часто читаю Священное Писание; я начал с Деяний Апостолов. Они весьма неполны мне кажутся, и трудно из них понять постепенный ход распространения христианской веры; к тому же они говорят почти только про одного апостола Павла. Теперь я за его посланиями. – Теперь я опять буду заготовлять письма домой.

29 ноября

Вчера я начал писать, но написал только одну страницу к матери. – На охоту вот уже другой день тоже, что я не хожу: постоянный холод мешает, нет пороши. Сейчас мне, не знаю как, пришло на ум сожалеть, что я прошлого года лучше не воспользовался кокетством Марии Павловны[86]. Надо сознаться, что я чрезвычайно неловок и глуп с ней был. Как не иметь женщину, которая выходила со мной одна в кабинет мужа, оставляя гостей, чтобы сидеть со мной, пока я с кофеем курю трубку! – И я всегда бываю таким олухом; в Старице Машенька Борисова и Наташа Казнакова также прошли у меня между пальцев. – Дай Бог мне быть впредь умнее, а то “дурно, дурно, брат Александр Андреевич”, – как говорил Пушкин[87]. – Как жаль, что Грибоедов так несчастливо окончил свое только что открывшееся поприще гражданской службы. Как литератор он останется всегда в числе отличнейших талантов нынешнего времени. Его “Горе от ума” всегда будет иметь цену верной и живой картины нравов своего времени. – Вот как я слышал подробности и причины возмущения народного в *Тагеране*, жертвою которого он сделался вместе со всею свитою нашего посольства. – Для решения какого-то процесса приведены были несколько женщин персидских в дом нашей миссии и должны были там остаться под стражей. Грибоедова человек, вероятно, Ловлас петербургских камердинеров, желал воспользоваться этим случаем. Несогласие азиаток привело его к насилию. Народ, возбуждаемый каким-то недовольным эмиром за то, что их жены будут судимы русскими, услышав их крик об помощи, бросился в дом, несмотря на сопротивление нашей почетной стражи, и прежде, нежели подоспели войска шаха, перерезал всех, кого там ни встретил. Из всех чиновников посольства нашего спасся один только *Манзи*, уехавший этот день на охоту из города. Так сделался человек, одаренный отличным умом и способностями, жертвою беспорядочной жизни, которую он прежде вел. У другого господина, верно, слуга не осмелился бы сделать подобного своевольства[88]. Хорошо, что Шепелев не поехал с ним, а то быть бы ему теперь без головы[89]. Что-то мой милый собрат на поле наук теперь делает и где он?

3 декабря

<…> Сегодня месяц, как мы сюда пришли; должно признаться, что он скоро прошел, как вообще проходит время без занятия и в однообразной жизни. – Слава Богу, чума, кажется,

прекращается (чтобы не сглазить). Я читаю теперь “De l’origine de tous les Cultes” p<ar> Dupuis[89a]. – Он хочет доказать, что Христова вера, так как и все другие веры, не что иное как почитание природы или всего мира (Бога) и что Христос есть миф о солнце.

Я не прочитал всего еще, а слог его очень хорош, и покуда его мнения кажутся мне справедливыми, исключая о Христовой вере.

4 декабря

<…> Дельво говорил, что полковник снова меня представляет и прочит в полковые адъютанты. – Он получил тоже известие, что за 31 августа награжден Георгием 4 степени; Александр Муравьев получил 3 степени за ложь, что будто собственноручно отнял полковое знамя, тогда когда он его взял у гусара нашего полка. Не видев собственными глазами, не поверишь, как эти награждения даются и заслуживаются. Смело можно сказать, что из 10 вряд ли один заслужен; награждаются обыкновенно более всех адъютанты и вообще люди, находящиеся при штабах. До фрунтовых же офицеров доходит весьма мало награждений, которые и здесь пристрастно раздаются.

5 декабря

<…> Нам непременно нужен хороший кавалерийский генерал, потому что государь сам нами не занимается.

7 декабря

<…> Сколько вчерашний <день> разлилось наград в нашем стольном граде Петра! – до нас они не дойдут, но мы их и не ожидаем; хотя бы получить должное, а главное мне, чтобы прислали скорее деньги <…>

8 декабря

<…> Кусовников мне сказал правду про господина Плаутина. Мать пишет, что он получил Тираспольский конный егерский полк и что тем разрушилась ее надежда на замужество сестры. – Хотя он и волочился за нею, но я не надеялся на него. Сестра не умеет себя вести и вряд ли когда-либо таким образом найдет порядочного мужа. – Мать говорит, что она теперь только желает меня знать офицером и не надеется скоро видеть меня; кажется, не быв в Турции, как я, честолюбивые мечты ее видеть

меня однажды полковником или статским советником не оставили <…>

9 декабря

<…> Рославлев читал несколько мест из *Ростовцева* трагедии “Персей”. Странно, что я про него ничего не помню, кроме стиха Языкова, не весьма для него лестного[90] <…>

12 декабря

<…> Сегодня празднуют в Дерпте основание университета и раздают медали за обработание задач – несколько лет и я праздновал этот день и проводил иногда приятно. В 23 году на празднике я очень много танцовал в нашем студенческом клубе на бале, этот день всегда даваемом. В 25 я был одним из церемонимейстеров, смотрел за порядком (я был одет во всем блеске студенческого мундира) во время торжества погребального в честь умершего императора, где говорили на этот случай речи и были петы дерптскими красавицами духовные гимны[91]. После того вечер я просидел у Языкова и выпил (что очень помню) 7 стаканов чаю от большой жажды и усталости.

В записках моих прошлого года сказано, что 12 декабря Софья Михайловна, несмотря на зубную боль, любезничала со мной, – а нониче? – Я уже позабыл всё сладострастие пламенного поцелуя, всю прелесть прекрасной ручки… Не касаясь ни добродетели девичьей, ни обязанностей замужества, живу теперь одними воспоминаниями, простыл, не верю в себя. Может быть, мне теперь навсегда должно будет отказаться от упоений сладострастия: если останусь служить, то буду жить в краях необразованных, а проведши так несколько еще лет – пройдет молодость, а с ней и способность наслаждаться. Если не совсем так случится, то, по крайней мере, вряд ли я снова буду иметь столь благоприятное время, как прошлой год.

15 декабря

<…> Вот как я провел день, в который четыре года тому назад бунтовала наша неопытная молодежь[92]. В русских летописях он останется незабвенным, как первым шагом <!> к преобразованию умов и гражданских прав, которое уже испытали большая часть народов просвещенной Европы. Эта первая искра пламени, непреодолимо пожирающего злоупотребления и предрассудки, освященные давностью,

защищаемые лицами и сословиями, которым они приносят пользу, во вред целых народов и человечества, которое обходит весь мир, где только находит себе пищу, с вершин Андов до высот Средней Азии, колыбели человечества, – стоила нам цвета юношества своего времени. Он погиб не без пользы, благодаря мудрости законов Провидения! – Наученное опытом правительство, или, лучше сказать, царское семейство, кажется, хочет вникать в нужды народа и сообразовать меры свои, способ управления с временем и образованностью оного. По крайней мере, четыре нами прожитые под державою Николая года подали надежду, что мы не будем вынуждены силою с престола взять закон и права естественные и гражданские, а сам монарх нам их отдаст.

Сегодня год, что я оставил Петербург, поехав с Петром Марковичем в Тверь, чтобы оттуда ехать сюда, – сегодня же я и получил и мою отставку из штатской службы. Какая разница с тем, чего я тогда надеялся и что исполнилось! Одно только исполнилось: это то, что я перенес войну и что она тогда кончилась, когда я этого ожидал. Остальное всё потонуло в море обыкновенных случаев и посредственности – два волшебных очерка, из которых я напрасно старался и стараюсь выйти.

17 декабря

<…> Вот и день моего рождения – наступил 25 год моей жизни. – Много размышлений раздается при взгляде на протекшие годы – и мало утешительных. Каким добром, чем полезным себе или обществу ознаменовал я половину, может быть и более, данных лет? Со стыдом и сожалением я должен сознаться, что не могу дать удовлетворительный ответ на этот вопрос. – Но гордо позабыл бы я мои потерянные годы (Языкова стихи)[93], если бы я мог отныне посвящать мои годы трудам добрым, если бы с каждым прожитым годом я бы мог насчитывать хотя по одному полезному подвигу. – Что, например, в том, что я теперь служу: ни службе, ни мне от того не лучше – я только трачу время и гублю малые мои способности к занятию, привыкая более и более к бездействию. Не знаю, как матери покажется, а я вижу ясно, что от службы мне никакой выгоды нет. – Занявшись хозяйским управлением которого-нибудь из наших имений, я гораздо принесу более выгоды себе и семейству нашему, чем проживая состояние свое в полку или в Петербурге. – В деревне я буду иметь способы находить и пищу для ума; если я не могу сделаться ученым, то, по крайней мере, я не отстану от хода общего просвещения человеческого ума. – Когда настанет это

время!!

Пока у нас нового в селе ничего не слышно, кроме того что Алимова хозяйка умерла. Говорят, что не от чумы, но в теперешних обстоятельствах опасаешься всего; она была стара и слыла колдуньею – чему и приписывают ее скоропостижную без христианского приготовления смерть. – И выходит теперь очень хорошо, что я ранее не перешел к нему жить, чем избавился многих неприятностей <…>

Из Базарджика в два перехода пришли мы к крепостце *Мангалия*. Хотя в наших реляциях прошлого года и слывет она крепостью, но это потому только, что и теперь есть еще остатки рва и вала, некогда окружавшего маленький этот приморский городок, – теперь она почти совсем разорена и опустошена чумою. Гарнизон, больные, бывшие в ней, – всё вымерло; кое-где только между развалившихся мазанок опять начинают селиться возвращающиеся булгары и турки. Она служила ссылочным местом для турок точно так же, как Кистенжи и другие города по этому берегу моря. Мангалия выстроена на красивом месте: над морем, а к югу над лиманом, хотя и нешироким, но далеко вдающимся на берег. Дорога, по которой мы пришли к ней, лежит на песчаной косе, отделяющей этот залив от моря. – Давно я желал взглянуть на любимую и им прекрасно воспетую стихию албанского певца[94], но Черное море не исполнило мое ожидание. – Я не нашел ни пенящихся бурунов, ни с оглушающим шумом о берег и скалы разбивающихся валов – оно похоже более на большое озеро; на песчаном берегу едва приметен гребень волны, который, загнувшись, упадает опять в нее: только по зелени их, переходящей, отдаляясь от берега, <в> синеву, узнаешь море <…>

18 декабря

<…> Теперь я <хочу> свести мои дневники, описав отъезд мой из Петербурга, пребывание в Твери и всё, что случилось со мною до прибытия в полк, а там наши военные действия до августа месяца. Это даст работы более, чем на месяц.

20 декабря

<…> После обеда я от усталости долго спал, а проснувшись, пошел проходиться; у Штейнбока я нашел несколько человек, еще не спавших. Говорили много про образ жизни запорожцев; от Сечи их недалеко расположен Витгенштейновский полк. Некоторые из офицеров этого полка ездили туда к кошевому

атаману *Гладкову*, нам передавшемуся в прошлом году[95]. Он родом из простых мужиков Киевской губернии, где жили его жена и дети. За услуги, оказанные нам при переправе через Дунай, пожалован он полковником и Георгием 4 степени; их есаулы произведены в офицеры, а остальные запорожцы сформированы в полк; им уже присланы мундиры, похожие на те, которые носят черноморские казаки; с весною переходят они в Россию. Эта Сечь есть сборище беглецов и бродяг русских. Прежде сего проводили они лето в рыбной и звериной ловле и в разбоях особенно, а зиму – в пьянстве на заработанные деньги. Деревья около Бабадага были обыкновенно увешаны, вследствие недолгого турецкого суда, пойманными в лесах разбойниками запорожскими. – По древнему обычаю, в *Сечи* нетерпимы женщины; в ней живут одни холостые *бурлаки*. Коль скоро один из них женится, то оставляет он Сечь, а вместе с нею и своевольную жизнь; он селится в деревне неподалеку от Сечи и делается мирным жителем. – Число бурлаков простирается теперь до 300, не считая тех, которые в турецкой службе. – По пословице, что ни один запорожец не умирал своею смертью – обыкновенно или обопьется, или где пропадет, – можно судить об жизни, какую они ведут. – Между ними есть, говорят, бежавшие после 14 декабря.

К Гладкову государь очень милостив; его дети взяты в Петербург: сын в военное училище, а дочь в Екатерининский институт.

Вот уже скоро новый год, а писем всё нет <…>

23 декабря

<…> На охоте будучи, я всходил и на гору Св. Ираклия, или Св. Георгия. С развалин стены и башен любовался я видом окрестностей. Теперь они не столь хороши, как летом должны быть. – Самые развалины есть, кажется, остаток древнего замка. – Строение не должно быть очень старо, ибо деревянные перекладины в окнах и стенах еще целы. Стена построена пятиугольником, как обыкновенно, углы укреплены башнями, из которых 3 еще мало разрушены; две северные 4-угольные, а южная, где был, кажется, главный вход в замок, 8-угольная; в одной стороне у стены видны остатки комнаты с каменным сводом или погреба – за высокой травой, кустами и снегом я не мог хорошо разглядеть: верно, тот, про который рассказывают, что он скрывает богатый клад, и которые *не даются*, т. е. что их нельзя взять; несколько неверовавших искателей богатств пытались отыскивать его, но их *раскидало* и *буйволы разогнали* (*слова* моего хозяина).

24 декабря

<…> Эти дни случилось трагическое происшествие в Витгенштейнском полку: один офицер (Бронский) застрелил тоже своего полка казначея[48] за то, что тот, наделав ему грубостей, дал щелчок в нос. Мне кажется поступок Бронского весьма простительным и гораздо рассудительнее дуэля; с человеком, которой унизил себя до того, что позволил себе делать обиды равному себе, с которыми сопряжено так называемое бесчестие, нельзя иметь поединка, и обиженный вправе убить его как собаку.

27 декабря

Первые два дни праздников Рождества я не мог писать, потому что, во-первых, охота меня много занимала – мы ездили втроем, с Шедевером и Якоби, довольно удачно за заяцами и куропатками, – и во-вторых, потому, что вчера и третьего дня не только мои хозяева, но даже и Арсений так пьянствовали, что выжили <меня> совершенно из хаты. Последнего я было хотел вчера больно высечь, а сегодня уже раздумал: он заслуживает быть наказану, ибо мало того, что в первый день праздника он, напившись, поколотил хозяина, – на другой день, несмотря на мое приказание, он напился еще более. Это слабость с моей стороны – не наказывать за такие поступки, но я не в состоянии терпеть около себя человека, которого я должен бить, – я бы хотел, чтобы мне служили из доброй воли, а не из страху. Но, кажется, с нашим бессмысленным и бесчувственным народом до этого не доживешь. Третьего дня я получил от матери письмо от 4 октября из <Малинников>, то самое, об котором она говорила в своем письме из Пскова от 15 октября, которое, однако, я уже недели две как получил; это от того, что последнее было послано через Андреева. – Мать пишет, что в Тригорском она нашла всё хозяйство в большом беспорядке. Я не ожидал этого от лифляндского хозяина: он мог обманывать и красть, а расстроивать имение ему не было никакой выгоды. Она также пишет, что Пушкин в Москве уже [96], – вот судьба завидная человека, который по своей прихоти так скоро может переноситься с Арарата на берега Невы, а мы должны здесь томиться в нужде, опасностях и скуке!!

Оставленная в Тригорском Катинька, говорит мать, очень похорошела: дай Бог, она большого состояния не будет иметь, следственно, красота не помешает ей[97]. Странно, что сестра молчит, а про Анну Петровну я уже не знаю, что думать. – Об производстве в офицеры ничего тоже не слышно, я уже не ожидаю

его более <…>

28 декабря

Приказ

Войскам 2-й армии, отдельного Кавказского корпуса и действовавшим эскадрам Балтийского и Черноморского флотов.

Благословением Всевышнего окончена брань, в коей вы покрыли себя незабвенною новою славою, и трудами вашими Россия торжествует мир достославный!

В двух странах света неумолчно раздавался гром побед ваших; многочисленный, упорный враг сокрушен повсюду, и пала перед вами вековая слава неприступных твердынь его, до появления вашего не знавших победителей. Сильною стопою переносились вы через хребты гор непроходимых и, поражая врага в неприступнейших его убежищах, у врат Константинополя, принудили его к торжественному сознанию, что мужеству вашему противустоять они не в силах. Столько же отличили вы себя кротким обращением с побежденными, дружелюбным охранением мирных жителей в покоренных областях, постоянным соблюдением самого примерного воинского порядка и подчиненности и строгим исполнением всех ваших обязанностей. Вы истинно достойны имени русских воинов! – В ознаменование толиких заслуг ваших престолу и отечеству повелеваю: носить всем участвовавшим в военных действиях противу турок в 1828 и 29 годах установленную мною особую медаль за турецкую войну, на ленте *Св. великомученика и Победоносца Георгия*.

Да будет знак сей памятником нашей славы и моей к вам признательности! да послужит он залогом и будущей верной вашей службы.

Николай.

С.-Петербург, 1 октября 1829 г.

Для образца нынешнего нашего воинского красноречия я выписал этот приказ вполне. Должно сознаться, что слог оного

весьма нехорош: пустой бессмысленный набор надутых слов. Военные приказы должны быть писаны каждому солдату понятным слогом, а здесь никто ничего более не поймет, как то, что дана медаль на Георгиевской ленте. Для меня этот приказ замечателен и тем, что им я получил единственную награду (?) за год кампании. В настоящем деле я и не вправе (разумеется, исключая офицерского чина, уже полгода мне следующего, и который я в мирное время получил бы) требовать ничего другого, ибо не сделал ничего отличного, но когда другие тоже совершенно без причины получают почти всегда так называемые знаки отличия, то отчего же бы и мне (хотя для того, чтобы обрадовать мать) не получить их. Это оттого, что во всем полку и вообще нигде я не имею человека, с которым я бы был в связях, как называют; Дельво – единственный мой знакомый, и тот, кроме вреда, мне ничего не сделал. И сестер бы потешило очень, не упоминая уже об остальной моей православной берновской родне, у которых я бы прослыл маленьким Героем, – видеть меня с крестом на груди, например, солдатского Георгия, который мне очень легко бы можно было получить.

31 декабря

<…> Вот оканчивается для меня год, богатый опытностью, трудами, нуждою и неприятностями всех родов. Из всего числа дней оного я мог исключить только несколько, ознаменованных происшествиями, остающимися в памяти приятными: их так мало, что легко можно пересчитать, и все принадлежат к тому времени, когда я еще не перешел за *Рубикон разума*, не вступил в военную службу. С рокового же дня, когда я оставил Малинники, отправившись в полк, все остальные есть почти ряд неприятностей во всех отношениях и всех степеней. Послужив один год, я, кажется, испытал всё, чего мне недоставало, что<бы> охладить ум, разочаровать воображение и сделать меня рассудительнее. Если теперь я не буду олицетворенным рассудком, то это одна моя вина, потому что опытности довольно было на всю жизнь. – Чем больше я думаю, тем яснее мне видно, что службу царскую, по всем причинам, мне должно как можно скорее оставить. – Что могу я в ней выиграть? – после многих лет службы несколько весьма маленьких чинов, потому что, не имея наследственных связей и столько явных блистательных качеств и счастье, чтобы сделать их самому себе, я всегда останусь обыкновенным фрунтовым офицером. – Потеряю же я, во-первых, время бесполезно, без удовольствия, отвыкну от всех благородных занятий и общества, живу <!> в глуши какой-либо из маленьких

губерний, а во-вторых, еще расстрою свое состояние. – Если же я оставлю службу, то не только что, занявшись хозяйством, я могу его поправить и обеспечить спокойствие нашего семейства, но и сам буду вести жизнь образованного человека, посвящать свободное время занятиям умственным – наукам, а не убивать время в бездействии, скуке и тоске, как теперь. – Не дай Бог, чтобы будущий год я такими же печальными размышлениями оканчивал!

1830

1 января 1830

Вот и новый год. Вчера неожиданно я его встретил шампанским. Проспав целый вечер, я проснулся уже в часу 9; напившись чаю, я писал продолжение моих петербургских записок. Около десяти часов я пошел искать, не спит ли кто-нибудь, чтобы посидеть с ним и встретить новый год, потому что я не мог решиться лечь спать, не дождавшись его. Шедевера нашел я спящим; один Войтицкий не спал, а писал письма, я не хотел ему мешать. Пошедши от него, увидел я у Голубинина огонь, зашел к нему и нашел там с Поздеевым и адъютантом, провожающих их старый год *шампанским*. Я остался с ними и, встретив несколькими стаканами вина, просидел там до двух часов. Не так встретил я последние два новые года – 28 и 29.

6 января. Монастырище

<…> Молдаванское селение *Монастырище*, получившее название по молдаванскому монастырю, от которого здесь еще осталась полуразвалившаяся церковь и несколько попов, лежит у подошвы лесистых гор, которые идут вдоль правого берега Дуная, от юга к северу между Бабадагом и Исакчи. Окруженное виноградниками, посаженными по скатам гор, выстроено оно в долине, окруженной почти со всех сторон горами, из которых вытекают много ключей, образующих речку, которая течет посереди деревни. Один из этих ключей течет только временно – от апреля до ноября месяца, – зимой же он иссякает. Вероятно, по этой причине и отдали его под покровительство св. Афанасия, патрона здешнего монастыря; если вода в нем не чудотворная, по крайней мере, справедливо можно назвать ее животворною – она прекрасна. Из 60 хижин, составляющих селение, досталась мне одна не из лучших: она сыра, холодна, дымна и темна; сквозь натянутые в окнах пузыри вместо стекол едва проникает свет, зато тем более ветру. Земляной пол около стен поднят выше на четверть вместо диванов (деревянных широких подмостков, покрытых рогожами или коврами, смотря по состоянию хозяина), занимающих это место в других хатах; глиняная печка, имеющая до половины вид 4-угольной пирамиды, а другая отрезанного конуса. Вот единственные предметы, которые встречались в ней. Все удобства мои теперь заключаются в том, что я стою один.

7 января

<…> Чем более глядишь, тем более встречаешь на каждом шагу здесь злоупотреблений и беспорядков. – Как впереди армий, в голове колонн, видишь всё, что есть лучшего, храбрейшего, – так сзади ее, в обозах, в магазинах, лазаретах и пр., собрано, кажется, всё, что есть худшего в государстве. Распоряжение начальства тут соответствует людям, которых оно здесь употребляет. – Если я стану говорить о том, что наши полки, например, поставили в такие места, где нет продовольствия, так что наши лошади с 13 декабря по сю пору не получали овса, а малое количество отпускаемого сена возили вьюками иногда верст за 30 на изнуренных походом казенных лошадях, и что оттого два месяца их кормили одной осокой, то это покажется пристрастием. Но как назвать то, что теперь в исакчинском магазине отпускают нам гнилой овес, два года лежавший под открытым небом? – Как наградить начальство, по распоряжениям которого во 2-й гусарской дивизии замерзало в один ночлег по 80 человек? – 2-й корпус на двух переходах через Балканы оставил при тяжестях 4000 человек, а пошел вперед только с остальными 3 тысячами. – Подобных примеров можно насчитать множество.

Вовсе избежать здесь злоупотреблений и беспорядков невозможно: в том сознавались величайшие полководцы, как, например, Фридрих II, Наполеон и другие; первая священная обязанность главнокомандующего есть старание о сбережении своих войск. В этом отношении справедливую хвалу заслуживает *Веллингтон*: ни один из известных генералов последних войн с французами не имел столько попечения о войске, как он. Известно, что когда, преследуемый французами в Италии, он сел на корабли, отразив их натиск, то после на месте сражения французы нашли своих раненых перевязанными, и каждому из них оставлена была порция хлеба и вина. Жаль, что такие поступки мало берут за образец.

Вот пошел с утра снег, который обещает на завтра хорошую порошу; жаль, что я еще не знаю окрестностей, а то можно бы было много найти дичи. – Третьего дня, несмотря на гололедицу, мы ходили на охоту. В России у нас я никогда не замечал, чтобы деревья так обледенели: здесь теперь так тяжел на сучьях лед, что много деревьев переломало, а другие совсем пригнуло к земли до того, что не только лес, но и дорога в <него> сделались непроходимы <…>

8 января

<…> Якоби вчера был первый, которому я показал мой дневник; я очень рад, что его любопытство было удовлетворено, когда он прочитал несколько страниц; другому, более взыскательному литератору, никак не показал бы я его, и впредь я надеюсь быть скромнее <…>

Полковник наш воротился со следствия, которое он делал об убийстве *Кагадеева Бронским*; последний в допросе поддержал характер, однажды им принятый; на вопрос: не имеет ли он сказать чего в оправдание своего поступка? – он отвечал, что нисколько не раскаивается в своих поступках. – Говорят, что, сделав выстрел, он спокойно вынул пистолет и сказал, чтобы вынесли тело. – Вот причина ссоры этих двух офицеров. – В деревне, где помещен Витгенштейнский полк, показали Бронскому квартеру, которую прежде назначили Кагадееву (полковому казначею), необразованному, грубому малороссианцу. Когда этот прибыл в полк, то пошел к Бронскому требовать, чтобы он очистил его квартеру. Последний согласился, а просил только дать ему время приискать другую. Кагадеев же настоятельно хотел, чтобы он ее тотчас оставил, а не то обещал прийти с несколькими офицерами и гусарами насильно его выгнать, с чем и ушел. – Бронской, ожидая неприятностей, приказал денщику зарядить пистолет. Кагадеев точно пришел с несколькими офицерами. От слов дошло до того, что последний ударил Бронского по носу, а этот тут же его застрелил <…>

19 января

<…> Я написал к Ушакову в стихах Языкова просьбу об деньгах;[1] говорят, что у него их нет, но он, может быть, достанет у Рославлева <…>

23 января

Вот два дня, проведенные на охоте; вчера с полудня я проходил до вечера, очень устал, но зато труды мои увенчаны были одним застреленным, а другим подстреленным русаком. От усталости я проспал вечер и ночь. – Так я убиваю теперь мое время, старею сердцем и телом без пользы для ума. Это называют *служить* и твердят, что молодой человек непременно должен *служить*, т. е. потерять бесполезно лучшие лета свои!!

26 января

<…> Вот уже другой год, как я считаюсь на службе его

императорского величества: не ожидал я этого и, несмотря на затруднительное мое положение в Петербурге, верно не решился бы перенести этот год, если бы мне хотя во сне приснилось, как я его проживу. Я не хотел верить словам испытавших вообще службу военную, и в особенности здесь в Турции. Молодое воображение видит в будущем одно прекрасное, не обманутая еще надежда верит без особенной причины в какое-то необыкновенное счастье, которого колесо подымет нас выше всего обыкновенного. Рассудок, столь ясно видящий в других случаях, особенно в отношении к другим, ослеплен самолюбием и блестящими картинами будущего, на которое воображение не щадило ярких красок <…> Зато теперь – как рано спала с глаз пелена, очаровательным светом обливавшая все предметы, как остыло воображение; рассудок освободился, он не ждет ничего от счастья, мало от людей; спокойную, мирным занятиям посвященную жизнь, где ум и тело по воле избирает себе занятия, не кинет он ради честолюбивых надежд. Не желая выйти из круга обыкновенного, я буду доволен судьбою, если сделаюсь полезным в том, где поставлен <…>

27 января

<…> Наконец я вчера получил письма от Анны Петровны <и> сестры, так давно ожидаемые. Оба писаны почти в одно время, в половине сентября, и ровно долго шли – более 4 месяцев <…> Оба письма очень милы, так что я их по сю пору перечитываю. Они развеселили мой унылый, почти совершенно упавший дух, который я изливал в письме к матери; надежда увидеть их снова ожила, а с ней и другая – скоро получить деньги (хотя рассудок и не видит тому причины).

Должно признаться, что женщины умеют придавать особенную прелесть их любезностям – например Анна Петровна, описывая новую свою квартеру, говорит, что она так просторна, что если я приеду в Петербург, то нам обоим будет просторно, и просит, чтобы я непременно обещался у ней остановиться, хотя для того только, чтобы в будущем она имела бы одну приятную надежду. – Сестра не пишет ничего нового, кроме того что *Миша*[2] произведен в портупей-юнкера и что отправляется в Тверь в юнкерскую школу; плохо ему будет там, если, сверх чаяния, в этой школе чему-либо станут учить. – По старому порядку справляют у них именины, украшаемые присутствием уланов, которые многолетним стоянием на одном месте сделались как бы своими. Года проходят, ничем не переменяя образа жизни мирных обитателей Берновской волости. – Я еще получил весьма

приятный поклон от Анны Ивановны Бегичевой.

3 февраля

Есть день именин сестры и Анны Петровны – двух благодатей, мне очень милых. Два года сряду этот день я проводил с последнею (28 и 29)[3]. Я не помню, чтобы их шумно тогда проводил, но довольно приятно, по крайней мере, в сравнении с настоящим, которое ничего не обещает. – Вспомнят ли именинницы обо мне? – Это, думаю я, зависит от того, в каком они будут расположении духа <…>

5 февраля

<…> Вчерашний день просидел я у Ушакова. 4 февраля останется навсегда достопамятным днем. 1823 года в этот день 7 благородных пламенных юношей подали друг другу руки к вечному союзу в стремлении к добру. *Богу, Отечеству, Свободе* и *Чести* поклялись они посвятить не только теперешнюю академическую жизнь, но и будущую гражданскую[4]. Вопреки гонениям и клевете, посреди многих бурь, они прошли, оставшись верными истинам, однажды навсегда ими исповедаемым. Мало мы впоследствии нашли себе помощников, которые, не увлекшись примером остальных граждан академической республики, исполнять то, что они признавали истинным. – Под конец трехлетия (в 26 году) – университетский век – оставались уже немногие из братского союза; мы опасались, что с нами умрет, разрушится сам собою <и союз>, когда судьба разведет членов его по разным концам земли, и ненадолго останется одна молва о нашей братской жизни, завистью оклеветанной. Но прекрасное, истинное, однажды в мире просияв, не исчезает, только на время предрассудками и эгоизмом людей подавлено. Оставляя Дерпт, я имел утешение передать попечение о благе общества рукам сильным и душам, со всем пламенем юношества предавшимся высокому стремлению.

Только 6 лет прошло теперь со дня нашего братского соединения – а где теперь те, которые тогда с гордостью в первой раз украсили грудь свою лентою, в которой черное с красным соединяла золотая полоса в ознаменование, что юноша, во всем пылу, молодой, не должен забывать важное и высокое назначение жизни – стремление к усовершенствованию умственному и душевному. Один из них уже давно, в цвете лет, из первых объятий молодой супруги, на утре деятельной общей пользе посвященной жизни, похищен завистливым роком[5]. Другой,

первый между нами умом и душою, одно из тех существ, которое служит украшением человечества – и потому более всех мне милый, – год тому назад еще украшенный миртовым венком, которым он только что обвенчался с избранною сердец <!> стоял уже у дверей гроба[6].

Еще несколько лет… и мы, может быть, возобновим неплотными духами союз в другом мире – если он будет!

Это число памятно мне другим печальным событием – смертью вотчима моего Ивана Сафоновича Осипова, второго мужа матери моей, жившего с ней только лет 7. Почти всегда вторые браки, особенно когда есть взрослые дети, делают много шуму в семействах: родственникам первого мужа всегда второй не нравится. И у нас без этого не обошлось. Впоследствии мы никак не могли упрекать мать в ее выборе; напротив, мы должны его оправдать, а Ивану Сафоновичу должны быть благодарны уже и за то, что он сделал мать счастливою, несмотря на неудовольствия всех родственников, с нами же был лучше иного родного отца. Особенно я пользовался его расположением и всегда с любовью буду помнить оное. – Не имея образованности, природный ум заменял ему оную, так же как и долгий навык жизни (дураку опытность не помогает). Более 20 лет служив в гражданской службе, пользовался он уважением своих начальников и именем деятельного и весьма способного человека[7].

6 февраля

Получено разрешение частным начальникам войск на выбор, по своему благорассмотрению, места для лагерного стояния и времени для выступления в оной. Это очень хорошо. Надеюсь, что если чума снова не появится, то не станут торопиться выходом: во всяком отношении выгоднее стоять под крышею, чем под открытым небом.

Анна Петровна говорит, что Лиза теперь ездит по ярмаркам и веселится там à contre coeur[8]. Я бы еще более рад был слышать, что она от всей души веселится. Впрочем, неестественно бы было, если ее горячка долго продлилась. Впрочем, это относится только к счастливой, а несчастная любовь упрямее, были примеры, что она делалась хроническою. Если мы будем стоять опять в Киевской губернии, то нельзя мне будет не ездить к ней, и тогда трудно за нас отвечать. После двухлетних лишений всего как не соблазнишься?

Здешние женщины ко мне, кажется, не очень благосклонны; хотя я и ни за которой не волочусь, но это видно, что не успел бы я у них. Никогда не занимавшись этим классом, я совершенно не

умею с ними обращаться. – Некоторые из них, однако, стоили бы труда.

9 февраля

<…> Покуда я хочу написать письмо к Языкову; он что-то долго не отвечает на мое последнее, впрочем, ведь письма очень долго ходят <…>

10 февраля

Неожиданно получил я вчера письмо от Анны Петровны от 19 января нынешнего года; оно пришло с невероятной скоростью, в 19-й день, которая мне тем удивительнее, что предыдущее было 4 месяца в пути. Подумаешь, что случай ему особенно благоприятствовал, дабы долго не скрывать от меня приятного известия, с которым оно шло: *Лиза выходит замуж* за одного из своих соседей, *Алекс<андра> Степановича Райзера* (*так* читаю я неясно написанную фамилию)[9]. Тайные мои желания сбылись, она еще может сделаться добродетельною супругою, доброю матерью[10]. Теперь я вижу и явную пользу моей поездки сюда: оставшись в Петербурге, я должен бы был остаться с ней в любовной переписке, которая поддерживала бы ее страсть, и она тогда верно не приняла бы предложения. Этот год войны, неприятностей, лишений всех родов, кажется, загладил, сколько можно, зло, которого я был причиною; она, может, забыла свою любовь или помнит об ней только как о мятежном сне: счастлива она, если в том успела! – Анна Петровна хочет ехать на свадьбу к ней.

Дельвиги, кажется, не оставляют Петербург, потому что барон, Пушкин и Сомов издают вместе “Литературные газеты”. Хорошее намерение, вкус и таланты издателей, известные публике, кажется, могут служить порукою достоинства газеты. Посмотрим, исполнятся ли ожидания[11].

Слышу тоже, что Ольга Сергеевна разъехалась с Павлищевым; к ней можно применить стихи *Илличевского* к Анне Петровне:

Ты не жена и не девица,
Разъезд же с мужем для тебя
Что после ужина горчица!..[12]

13 февраля

<…> Снова я бываю почти целый день на охоте, но преследую уже не зайцев, а уток и гусей. Третьего дня ходил я очень далеко, так что возвратился домой вечером, когда уже давно было темно; вчера же, день моих именин[13], ознаменовался низложением *гуся* – победа, много меня обрадовавшая. – Вот на каких торжествах ограничились честолюбивые мои надежды! Вот что любопытная душа жаждала испытать! – и точно здесь водяных птиц такое множество, какого я нигде не видал. Всё хорошо, но впредь я не поеду в Сибирь ради охоты за соболями. – Впрочем, если этим опытом мне удастся убедить мать, что мне гораздо выгоднее оставить военную службу, то я останусь в большем выигрыше, одним годом искупив остаток жизни.

Что ни думай, что ни пиши, а всё кончишь тем, что по сю пору не шлют денег.

15 февраля

Пообедав вчера у Ушакова жирным гусем, мною застреленным, пробудился я из вечерней дремоты приходом Дельво, который принес большой пук писем. В нем нашлось и два ко мне: оба сестрины от октября, в одном же из них приписку от Пушкина, в то время бывшего у них в Старице проездом из Москвы в Петербург[14]. Как прошлого года в это же время писал он ко мне в Петербург о тамошних красавицах, так и теперь, величая меня именем Ловласа, сообщает он известия очень смешные об них, доказывающие, что он не переменяется с летами и возвратился из Арзерума точно таким, каким и туда поехал, – весьма циническим волокитою.

Как Сомов дает нам ежегодно обзоры за литературу, так и я желал бы от него каждую осень получать обзоры за нашими красавицами. – Сестра в первом своем письме сообщает печальное известие, что Кусовников оставляет Старицу, а с ним все радости и надежды ее оставляют. Это мне была уже не новость. Во втором же она пишет только о Пушкине, его волокитствах *за Netty*[15]. – Важнее сих известий то, что будто бы Дрейер в Тригорском украл одними деньгами на 10 тысяч. Положим, что здесь есть преувеличивание, но если и половина тут правды, то довольно, чтобы прогнать такого агронома <…>

19 февраля

<…> Каким-то случаем забросило сюда французский перевод W. Scott “Истории Наполеона”. Пробежав только несколько страниц из первой части, взгляд на революцию, я не

могу судить о целом, которое известнейшими людьми уже оценено.

21 февраля

Я прочитал “Персея”, трагедию Ростовцева, и на каждой странице вспоминал стихи Языкова:

> Мне жизнь горька и холодна,
> Как вялой стих, как Мельпомена
> Ростовцева иль Княжнина[16].

Исключая несколько удачных стихов в роле Персея в 1 явлении 1 действия и еще в некоторых местах, остальное усыпительно. Нет ни одного хорошо очерченного характера, и самый Персеев не выдержан; завязка и ход интриги чрезвычайно дурен: не связан и невероятен – одним словом, это совсем неудачный опыт молодого поэта. – Я опять взялся за описание моего пребывания прошлого года в Твери и Петербурге.

27 февраля

<…> Она <сестра> смеется над моей любовью, которая так счастливо всегда заключена в недрах семейства, т. е. *Саша*, и позволяет мне только влюбиться в *Бегичеву*. О, если бы только это возможно было или я бы мог малейшую иметь прошлого года надежду победить эту чинную и важную красавицу, то верно не дождался бы сестрина совета и не сидел бы теперь в Сарыкиой, а, верно, был бы на Сергиевской и сделался бы самым набожным прихожанином Радонежского чудотворца;[17] как все молильщики его, я бы тогда выбрал в церкви себе место, откуда я мог бы видеть мою красавицу, и не прогулял бы ни одного воскресного или праздничного дня, чтобы пококетничать с нею. Она точно стоит такого труда, не потому, что у ней 1000 душ крестьян, которые можно бы пожелать женитьбою приобрести, – я от этой мысли далек, – а по личным ее качествам. Какое бы было наслаждение вывести ее из гостиной, где единственно она привыкла видеть молодых людей. Я должен очень ошибаться, а она быть чрезвычайно скрытна, если ее воображение и душа не столь же чисты, как у Евы в первой день создания ее. Часто дивился я ее кротости, не понимая оной. Если ангелы существуют, то она их земной образ[18].

Саше, верно, очень неприятно было услышать о женитьбе Р.:

втайне она, верно, на него надеялась – впрочем, вряд ли она была бы счастлива за ним: такие неравные партии, особенно где нет состояния, редко удаются.

Об хозяйственных наших обстоятельствах слышно тоже мало утешительного. Мать только старается набрать столько, чтобы уплатить проценты в опекунский совет. – Управители мошенничают, и нет надежды, чтобы дела наши поправились. Необходимо нужно мне самому приняться за них, а то будет плохо. – Осенью я во что бы то ни стало поеду домой, чтобы узнать настоящее наше положение <…>

1 марта

<…> День от дня привыкаю к образу жизни нашей военной молодежи, становлюсь ленивее – совершенно ничего не делав, могу проводить дни. Написав несколько строк моего дневника, мне кажется, что я уже кончил мое дневное занятие: я ухожу шататься от одного к другому офицеру или засыпаю. – Напрасно рассудок твердит: так ли должно жить? – лень, подкрепляемая неприятностями, обстоятельствами, берет свое.

4 марта

Окончив третьего дня охотою, я сегодня с нее же начну, потому что она есть одно постоянное мое занятие (из окна сейчас мне показалось, что сидят гуси у берега, и я тотчас выбежал из хаты, чтобы удостовериться, точно ли это они, – вот до какой степени я сделался охотником). Но сколько я ни страстен, кажется, к охоте, а с удовольствием отказался бы от оной, если бы я мог найти благороднейшее занятие <…>

10 марта

<…> Я жил эти дни у Рославлева, а провел их, исключая того, что с ним прочитал одну часть французского перевода Вальтер Скотта “Истории Наполеона”, заключающую происшествия 1803 и 4 годов, в гулянии по улицам и игре в *свайку*; эта игра вот уже с неделю постоянно занимает празднолюбивую нашу молодежь. – Дни быстро проходят, исполнение моих надежд не приближается – и писем я давно не получаю <…>

Давно я желал читать W. Scott’a “Историю Napoleon’a”, и чрезвычайно приятно мне было пробежать 9 часть французского перевода оной. Об этом сочинении так много сказано и написано,

так каждое слово в нем взвешено и разобрано, что, судя об нем, принужден будешь повторять читанное. Я согласен с общим мнением французских рецензентов, что почтенный автор превосходных романов не оправдал ожидания Европы. Как англичанину, всех менее должно бы было ему браться за свой труд, особенно написав уже однажды свое путешествие по Франции в 15 году. Мне непонятна охота описывать жизнь человека, особенно Наполеона, будучи против нее предубеждену и не имея личностей, как, например, *Курбский* в жизни *Грозного*[19]. – К сожалению, мне кажется, что поводом к сочинению сему был расчет денежный (а не любовь к предмету), основанный на том, что во время поспешного сочинения этой истории всё, что только некоторое имело отношение к Наполеону, было с живейшим участием принимаемо в Европе. – Перед тем личностью и обстоятельствами на время предубежденные умы, чтобы загладить прежнее свое пристрастие, начали отдавать полную справедливость великому гению мужа, последними годами жизни вполне искупившего ошибки всемирной своей деятельности. – Высоким таким предметом должно заниматься с любовью к нему, а не гинеям. История не срочный альманах и не заказной роман.

13 марта

“Всё обстоит благополучно, нового ничего нет!” – могу я рапортовать, как вахмистр эскадронному командиру, об моих обстоятельствах; те же занятия, т. е. никакие, и та же скука, разведенная нуждою; исполнение надежд так же далеко, как прежде, разве только ближе прожитыми днями, – предполагая, что однажды мои ожидания исполнятся <…>

Впрочем, я опасаюсь впасть в ошибку молодости: в весьма обыкновенном случае ожидать какой-либо необычайно счастливой оборот судьбы. Нет, я подобным образом не стану более грешить; я ничего не ожидаю и не желаю от службы царской,

> и вновь
> Ни взором ласковым, ни словом
> Не подружит меня со вздором
> Моя почтенная любовь![20] —

т. е. любовь к военной славе и почестям.

15 марта

<…> Теперь известно время перехода нашего за Дунай: 15 апреля мы вступаем в пределы Российской империи, но, к несчастью, мы не идем прямо на временные наши квартиры, а будем до июня месяца объедать разные магазейны Бессарабской области, дабы съестные запасы в оных не пропадали. Очень неприятно в бессарабских степях несколько месяцев кочевать цыганами, быть саранчою. Только в конце июня предполагают, что мы перейдем Днестр <…>

20 марта

<…> Маршрут нашей бригаде получен. Выступив 15 апреля, мы идем в <местечко> *Рени*, лежащее при устье Пру та в Дунай; там мы будем объедать магазейн; как долго? – неизвестно. Перейдя Дунай, мы поступим под начальство *Воронцова*. Возвращение нашей дивизии в Киевскую губернию не будет тоже так скоро, как мы ожидали: ей назначено прежде съесть большие запасы, заготовленные в *Рени, Мове и Скулянах*. Вот неожиданные и очень неприятные новости: в Бессарабии во всех отношениях очень неприятно и невыгодно нам будет простоять весну – лучше уже бы было здесь стоять: по крайней мере, мы здесь получали бы жалование серебром.

23 марта

Через 3 дня, то есть 26 числа, мы выступаем. Я теперь в крайности; без денег, следственно, без лошадей, повозки и пр.; чтобы успеть всё это купить, должно непременно сегодня достать деньги, а где их взять? – несносно!!!

2 апреля

Первый мой караул был очень забавен; так как почти никто в полку не знает службы, то на всяком шагу делали солдаты и офицеры большие ошибки. Полковник, объехав караульни и часовых, прислал просить к себе обедать караульного офицера и юнкера, находившихся с ним. Мы никак не могли это принять за настоящее приглашение, а думали, что кто-либо из офицеров хочет пошутить над нами ради 1 апреля и узнать, известны ли нам строгие предписания касательно гарнизонной службы; и только неоднократные посылки, наконец личной приход адъютанта убедил нас исполнить желание полковника <…>

15 апреля

Время, назначенное нам простоять здесь в лагере, уже прошло, на этих днях мы идем за Дунай; простояв по сю сторону оного 3 дня, мы выдержим 21-дневный карантин на другой около Сатунова. Оттуда же ведут нас в *Рени*, где неизвестно нам, сколько времени простоим. – Такая будущность вовсе неутешительна: лучше бы уже здесь простоять долее, где, по крайней мере, изобилие в лесе и прекрасная вода; в Бессарабии же первого вовсе нет, а последняя очень нехороша <…>

Время я здесь провел самым бесполезным и неприятным образом: я вовсе ничего не делал <…>

7 мая

Вчера получил я письмо от Анны Петровны; кроме обыкновенной своей любезности – всегда новой – и нежной любви ко мне, покуда всегда постоянной, она ничего мне нового и занимательного не сообщает. Софья Михайловна тоже меня не забыла – вероятно потому, что всё еще с Анной Петровной в тесной связи – дружбе, как они называют. Как бы ни было, а всё приятно себя знать в памяти у людей, будучи с ними надолго разлучен и зная, что не по посторонним причинам, а единственно наша личность заставила, потеряв нас из виду, не потерять и в памяти. – Я бы хотел теперь отвечать, но вряд ли найду свободное время, более же свободное место в продолжение нашей карантинной и лагерной жизни. Я едва успеваю теперь сказать несколько слов про наше возвращение в православное (единственное прилагательное, которое я могу употребить) отечество.

День в день мы почти пробыли год за Дунаем, ибо 26 мая, когда мы в 29 году пришли в Сатунов, и ныниче, перешед Дунай, прибыли мы туда же. По только что наведенному мосту мы благополучно переправились и, сделав два перехода от Сатунова, пришли сюда, чтобы здесь выдержать 21-дневный карантин; дни, которые мы были в оцеплении при переправе, включены в это число.

Перейдя через мост, шли мы версты с две по плотине, которая тянется вдоль берега реки. Около нее лежало до 20 кораблей греческих, турецких и англинских, шедших в Галац, которых не пропускали через мост из опасения, чтобы они опять его не разорвали. Многие из них наполнены были гречанками, как говорят, освободившимися из неволи или гаремов, ехавшими в Молдавию. Во всё время моего пребывания в здешнем краю я не

видал так много прекрасных лиц – может быть, только по отдалению они казались такими. Многие из нас сожалели, что издали только можем любоваться этими восточными красавицами, – я не исключаю себя из числа, хотя я телом и душою почти отвык от женщин.

Наш лагерь расположен на прекрасном месте, вправо от местечка, которое я видел покуда только издали, проходя мимо его, у самого впадения Прута в Дунай. За ним, прямо перед нами, зеленеются лесистые горы Булгарии (увидев их в первый раз, я не ожидал, что сойду с них, так как я теперь сошел на бессарабскую степь, – разумеется, в отношении к моей службе), вправо за камышами Прута видна Молдавия, на равнинах которой белеются мечети *Галаца*, одного из важнейших торговых городов на Дунае. Сколько местоположение нашего лагеря хорошо, столько невыгодно качество земли оного <…>

Жизнь моя теперь, разумеется, очень пуста, скучна и однообразна; к счастью, попалось мне в руки несколько романов В. Скотта, а именно: “Пират” и “Певриль”. Между сном и едою я убивал дни чтением оных, купаньем, иногда ученьями, а более куреньем табаку и взаимными посещениями сослуживцев, которые теперь обыкновенно заняты игрою: проигрывают жалованье, полученное <от> Махмудима, потому что казна их отпустила почти за двойную цену против той, которую за них дают, – вот благородная спекуляция нашего министерства финансов.

28 мая. Бендеры

<…> Поход наш Бессарабиею был не труден; не делая больших переходов, утомительных в здешнем краю от жару, мы пользовались во всё время прекраснейшею погодою: довольно сильные северные ветры постоянно прохлаждали дневной зной, вечера же были всегда тихи и так же хороши почти, как наши северные, лунное сияние делало их столь же светлыми. – Эта часть Бессарабии столь же пустынна, как и те части сей области, которые я прежде видел, а именно: от Могилева до Скулян и берега Прута, от Фальчи до Сатунова. Мы шли теперь на Болград и немецкие колонии, поселенные к северу от него.

29 мая

Глаз путешественника встречает только гористую степь, не всегда покрытую богатыми паствами, ибо часто сии горы бывают совершенно голы; протекающие между ними ручьи в это время

года высыхают, оставляя после себя только несколько ям с водою и болот. Такой недостаток воды тем чувствительнее в этом краю, что здесь вовсе нет туманов, и роса не освежает никогда растения после дневных жаров. Вот, кажется, важнейшая причина бесплодия, на которое жалуются колонисты, переселенные сюда из разных концов Германии и которые живут здесь с 815 года; хотя и жалуются они на неурожаи и т. п., но они пользуются уже некоторым благосостоянием, и можно надеяться, что со временем им нельзя будет сожалеть о прежнем их отечестве. Проходя мимо сих селений, мы пользовались известным совершенством немецкого молочного хозяйства, ели прекрасное молоко, масло, сыр и пр.

7 июня. Карантин при Бендерах

От совершенного бездействия терплю я теперь несносную скуку; от жару, от образа нашей жизни я не имею одной свободной минуты в день, хотя я и совершенно ничего не делаю <…>

Вот другая неделя, что я пишу к Анне Петровне и не могу окончить письмо: “Тупеет разум!”[21] Домой я другой месяц как не пишу <…>

14 июня

Между несколькими пакетами, которые сегодня один из карантинных чиновников держал в руках, когда я к нему подошел с тайным ожиданием найти между ними одно <письмо> ко мне, внимательный и быстрый мой взгляд открыл тотчас знакомый предмет, а именно: большой пакет в 8 долю листа, обертка которого была из толстой, серой шерстяной бумаги. По этим приметам я не мог ошибиться в том, что вижу передо мною одно из периодических произведений нашей литературы, – и точно: через разорванный оберток я увидел знакомый лиловый цвет обертка и форму литер “Московского телеграфа”. Ах, как я рад был неожиданной встрече с моим старым знакомцем, которого я читал всегда с большим удовольствием! К несчастию, я не мог воспользоваться оною, карантинные правила не дозволяли мне прикасаться к предмету моей радости <…>

28 июня. Херсонская губерния, деревня Шип

Вступление мое в пределы отечества было ознаменовано для меня многими неожиданными случаями. В один день, 26 июня, я

освободился от карантина, вступил в Россию и получил приказ (высочайший) о производстве меня в корнеты, последовавший 5 мая; на другой же день я получил письма от матери и сестры, от каждой по два, наконец же 87 червонцев денег.

Таким образом мои ожидания исполнились, но неудовлетворительно: я произведен без старшинства, следственно, если не возвратят оного, то теряю год службы; тысячу рублей денег присланных недостает даже на одну уплату моих долгов, простирающихся до 1300 рублей. Это тем неприятнее, что я не могу надеяться, по расстройству нашего хозяйства, скоро получить еще денег; а с офицерским чином издержки увеличатся, жалованье же ассигнациями так мало, что об нем и упоминать не стоит. Трудно будет жить. Письма матери довольно печальны: хозяйственные хлопоты ей не по силам, доходов вовсе почти нет, так что она <не> в состоянии и уплатить проценты в опекунский совет. В таких обстоятельствах трудно исполнить ее план, чтобы мне через год выйти в отставку и вступить опять в гражданскую службу, – тогда надо жить в Петербурге, а чем? Она не помнит или не знает, что я от того только и оставил Петербург, что предвидел невозможность пристойно себя там поддерживать.

Сестра сообщает мне любопытные новости, а именно две свадьбы: брата Александра Яковлевича[22] и *Пушкина на Гончаровой*, первостатейной московской красавице. Желаю ему быть счастливу, но не знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и с его образом мыслей. Если *круговая порука* есть в порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить рогов, – то тем вероятнее, что его первым делом будет развратить жену. – Желаю, чтобы я во всем ошибся[23]. – Письма сестры печальны и от того очень нежны; она жалуется на судьбу, и точно – жизнь ее вовсе не радостна.

30 июня. Немецкая колония Bergendorf. Дневка

Вчера после перехода верст в 20 пришли мы в здешнюю колонию на дневку. Нам показали квартиру в трактире, где мы нашли трех хорошеньких немочек. Волокитство наше довольно было благосклонно принято красавицами не очень строгих правил; один поцелуй, дарованной мне, взбунтовал всю мою кровь, остановил дыхание в груди. Что же бы было, если бы оный был любовью данный? <…>

3 июля. Деревня Борщ

У меня было вышло из памяти тоже весьма замечательная новость, что Софье Михайловне дал Бог дочь. Жалею, а барон, верно, более, что не сын, но и это хорошо; воспитание ее дочери займет ее[24] <…>

21 июля

Вчерашний день, как первый в своем роде, был очень скучен; поутру почти все разъехались в Сквиру, я остался один с Рошетом. Несмотря на то, не мог я усидеть более получаса: так я отвык от занятия. С Рошетом вместе заходили мы к *Рахели*, хорошенькой дочери богатого здешнего жида, 18-летней разводной жене, которая кокетничает не хуже всякой христианки. Куда делась моя разборчивость и мой аристократизм? Вечер весь проходил я на охоте, это занятие не обманчиво: если не застрелишь дичи, то, по крайней мере, убьешь наверное время.

Поход наш, если не был столько приятен, как бы он мог быть, но нельзя сказать, чтобы он был и очень скучен. Вступив в Каменец-Подольскую губернию, ожидали мы в деревнях быть принимаемы помещиками, но мы ошиблись: нигде и никто нас не приглашал к себе. Это может быть и от того, что в деревнях, где мы останавливались, не было живущих в них помещиков или что, кроме нас, много проходило войск. На дневке в *Балте*, где нашли порядочной трактир, заказывали мы себе порядочной обед, после которого и шампанскому был черед, по старому обычаю и я несколькими бутылками праздновал мое производство. Проходя *Тульчин*, смотрел нас *Красовской* и был очень доволен полком; тут же я сшил себе сертук, которой почти и истощил мою казну. Труппа польских актеров, играющая здесь на домовом театре графа Потоцкого, изрядная: по крайней мере, она мне показалась такою, сколько я могу судить об игре актеров, не зная польского языка. Самая же зала театра очень хороша.

29 июля. Сквира

<…> Пришедши сюда, я нашел здесь письмо от Анны Петровны, на которое я ей сегодня и отвечал. К большому моему удивлению, пишет она, что чрезвычайно теперь счастлива, т. е. что страстно любит одного молодого человека и им также любима[25]. Вот завидные чувства, которые никогда не стареют; после столь многих опытностей я не предполагал, что еще возможно ей себя обманывать. – Посмотрим, долго ли эта страсть продолжится и чем она кончится <…>

16 августа

<…> На этих днях присоединились к нам и резервные эскадроны. Между офицерами оных нашел я одного очень милого – это Ломоносов, переведенный в наш полк по неприятностям, которые он имел с прежними своими начальниками. Хотя воспитанник Царскосельского лицея, но музам он мало посвящал досугов. Переведенный к нам из 2 дивизии гусар, так же как и Ломоносов, подпоручик *Жихарев* – человек предоброй души и премилый товарищ; добродушие написано у него на лице, видно в каждом движении. Он настоящий великороссийский дворянин, прост в обращении, гостеприимчив и в довершение страстный псовый охотник <…>

Дошел до нас слух о какой-то революции во Франции: о свержении с престола короля и т. п.[26]. Этот слух для меня точно так же непонятен, как для узника звуки, изредка доходящие до глубины его темницы. Было время, что всякая жизнь, самая рассеянная, была бы скучною для меня без непрерывного сведения о современных событиях; а теперь может половина земного шара разрушиться, а я не узнаю об этом, если гефрейтор мне не принесет это известие в словесном приказании.

18 августа

Слух о французской революции подтвердился. Вчера полковник из франкфуртского журнала читал нам описание сих достопримечательных происшествий <…>

Вот события достопримечательные по многим отношениям. Наблюдатель видит в оных живое изображение духа времени; сравнивая с прежними однородными обстоятельствами, он может видеть, сколько просвещение в короткое время изменило тот же самый народ, как напрасны старания правительств остановить всеобщий ход народов к гражданской свободе и пр. <…>

20 августа

<…> Вот прошел год, что я продолжаю почти непрерывно мой дневник – единственное занятие, которое я называю дельным. В 32 листах, мною написанных, мало любопытного: они заключают в себе одни описания нужд и неприятностей, перенесенных мною, и впоследствии будут для меня замечательны как живое изображение постепенного разочарования.

Перечитывая их через несколько лет, буду я себя

предохранять от обольщений самолюбия, от неумеренных надежд. Сии же самые причины сделали перемену и в моем обращении с другими: я стал менее взыскателен с моими товарищами и, кажется, менее стараюсь выказывать свои собственные, мнимые или настоящие, достоинства. Самонадеянности я столько потерял, что даже и с женщинами я застенчив до юношеской стыдливости. Это я замечаю из волокитства моего за трактирщицею, с которой я в продолжение целого месяца ни шагу вперед не подвинулся.

Говорят, что по новому размещению назначен я во второй эскадрон *Ушакова*. Таким назначением во всех отношениях могу я быть доволен. *Ушаков* – человек предобрый и честный, во всю кампанию мне делавший много одолжений, за которые я не могу быть довольно ему благодарным, сверх всего еще по Тверской губернии мне земляк <…>

21 августа

За обедом я видел у полковника господина Норова, жителя Петербурга, с которым я там сходился у Муравьевой, и знаю его только понаслышке; он привез к нам в полк юнкера, своего двоюродного брата[27]. Этот вовсе не занимательный человек напомнил мне петербургскую жизнь мою; я воображал, обедая, что ужинаю с ним у Натальи Васильевны и что теперь недалеко от Лизы. Хотя я теперь и не влюблен в нее, но много, много бы имел удовольствия видеться с нею. Я не отчаиваюсь ее в нынешнем году увидеть. О деньги, деньги! без них человек не живет, лишен всех радостей, а неприятности сильнее чувствует.

23 августа

<…> Вчера – день царевенчания напомнил мне, как я провел первый в 26 году. С тех пор каждый из них встречал я совершенно в разных обстоятельствах, в разных краях. В 27-м, отдыхая от студенческой жизни, я провел оный день в безмятежных наслаждениях домашней сельской жизни, приправленной любовью и богатыми надеждами будущего; <в> 28-м – в столице, уже пресыщенный любовью, томимый желанием воинской славы и только что вступившим в гражданскую службу; в прошлом, 29-м, под высотами Шумлы, громимой батареями нашими, в крайней нужде, с ежеминутными неудовольствиями, с обманутыми надеждами и с отрезвленным от самолюбия рассудком; вчера же – с духом более успокоенным, вышедшим из крайностей, но всё удрученным обстоятельствами.

24 августа

Сегодня, как воскресный день, был я у обедни. Наша литургия разделяется на три части. Это разделение можно приметить и по слушателям, или молящимся: в первой части всё тихо и мирно, ни одна женщина не поднимает от полу глаз; во второй они начинают уже оглядываться, а мужчины вертеться – наш пол имеет везде более вольности; в третьей же слышны во многих местах разговоры; одни здороваются друг с другом; другие говорят о делах своих, иные же и смеются. Приметно, что чем ближе к концу, тем веселее становятся лица.

25 августа

Вчерашний день, против обыкновения, провел я не в трактирах, а дома. Описывая последнее мое пребывание в Тверской губернии, я написал целый лист; так долго я уже давно не занимался ничем, от того и заснул я довольнее собою, чем обыкновенно. Занятие это выгоднее и для кармана: как ни остерегайся, а, будучи в трактире, всё издержишь лишний рубль.

27 августа

<…> Что-то Анна Петровна давно не пишет, не от того ли, что ее любовные восторги, может, уже прошли <…>

29 августа

Я встретил здесь молодого, лет 18-ти, еврея, удивительно похожего на Софью Михайловну: тот же оклад лица, те же черты, брат не может быть более похож на сестру, как он на нее; долго я на него глядел и всё более находил сходства.

Об женщинах, которые некогда нравились, всегда с удовольствием вспоминаешь <…>

Время я всё одинаково теперь провожу между двумя биллиардами, на которых я вчера опять был счастлив. Что-то давно я не получал писем, особенно от Анны Петровны <…>

1 сентября

Петербургская почта, приходящая в субботу, опоздала целым днем, пришедши только в воскресенье. Зато я получил с нею письма из дому и от Анны Петровны. – В первых нет ничего

особенного, кроме предвиденных мною известий недостатка денег. Анна Петровна сообщает чрезвычайно любопытное и никак неожиданное известие, что замужество Лизы разошлось по причине чахотки ее жениха[28]. Я бы лучше желал ее видеть чьей-либо супругою, чем разошедшеюся невестою; второй жених не так скоро найдется, как первой, а оставаться девушкой очень печально. – Моя любовь вспоминает ли теперь меня и знает ли, что я так близко теперь от нее скучаю!!! Если бы у меня были деньги, кто знает, усидел ли <бы> я здесь, теперь же, со всем желанием уехать, я прикован к Сквире. – Анна Петровна всё еще в любовном бреду и до того, что хотела бы обвенчаться с своим любовником. – Дивлюся ей!!

4 сентября. Деревня Антоновка

Отправив третьего дня Арсения с вещами вперед, я хотел после обеда на нанятых лошадях доехать до деревни Антоновки, где стоит штаб нашего эскадрона <…>

Главная причина желания моего возвратиться была другая: я желал еще раз увидеть жестокую трактирщицу, недоступную до сей поры для меня. Не дождавшись исправления повозки, я пошел в город; с таким нетерпением я бежал, как бы на условленное свидание с любовницею. Идучи, я обдумывал все нежности, которые хотел ей сказать, – одним словом, я в эту минуту был совершенно влюбленной юноша. В трактире я нашел всегдашних игроков биллиарда, сражающихся уже в à la guerre[29] (я до такой степени забыл французский язык, что не умею написать и этих двух слов). Но с каждым шагом, с которым я приближался к моей красавице, смелость более и более меня оставляла. Довольно неловко, однако, успел я ей сказать, что для нее воротился и как мало она меня награждает за услужение ей. Она улыбнулась и не ушла (!!) – вот всё, чем я могу похвалиться. И на другой день была она милее, чем обыкновенно, а я всё не имел духу завести с нею разговора. Вот каков я теперь! я скоро стану застенчивее красной девушки, прожив здесь еще несколько времени!! В другом трактире, у Блезера, я очень спокойно переночевал, потому что чрезвычайно давно как не спал на хорошей постели; другой год как я не знаю пуха, а сплю на земле во всё время похода и на сене, настоящим воином. Всю ночь и утро шедший дождь позволил нам выехать наконец из Сквиры только после обеда, когда небо немного прочистилось. <…> В $1^1/2$ часа езды по грязной дороге приехали мы сюда. Ушакова не нашли мы дома, почему я пошел прямо на мою квартиру, где весь вечер вчера писал письма <…>

5 сентября

Погода стоит всё та же, самая дурная, осенняя; в моей хате от того еще скучнее; впрочем, на нее я не могу жаловаться: она довольно просторна и чиста, что же более можно требовать? – Малороссийские избы несравненно лучше русских тем, что они всегда чисты; вымазав ее раз в неделю, она как новая; ежели зимою они не будут холодны, то в рассуждении квартир не останется ничего желать. У Рудольтовского я взял последнюю часть “Жизни Наполеона” W. Scott’a, заключающую происшествия от Ватерлоского сражения до его смерти. Во многих отношениях его мнения справедливы, но в других <…> далек от беспристрастия. Например, описывая прибытие Наполеона <на> “Белерофон”[30], он оставляет совершенно своего героя и старается в нескольких главах доказать справедливость поступков английского правительства. Этим старанием он так завлекается, что и впоследствии, <в> описании пребывания Наполеона на Св. Елене, он только тогда говорит об нем, когда хочет доказать несправедливость жалоб его на своих тюремщиков. – В описании нрава Наполеона он точно так же несправедлив, ставя причиною всех поступков его один эгоизм, и доказывает это так, как бы можно доказать, что Винкельрод из эгоизма бросился на копья австрийцев[31].

Сегодняшнее число мне памятно по двум причинам: раз – как именины Лизы[32], а потом – как день, в который мы под Шумлою получили известие о заключении мира. Год тому назад радость окончания войны и удовольствие возвращения в отечество заглушали мои заботы и обманутые надежды. Два года назад любовь и они ласкали меня. А теперь скука одна бродит со мною неразлучно, как тень моя[33].

8 сентября

<…> Сейчас кто-то взошел ко мне; я пошел посмотреть, и глядь – это была моя хозяйка, очень недурная, молодая бабенка, за которой я начал волочиться; она побежала вон, я за нею через сени (которых двери я увидел заложенными) в другую хату, где она спряталась за печку. В хате не было никого, кроме ребенка лет 5, – я к моей красавице на печку, но напрасно: кроме “*втикайте*”, я ничего не мог получить от нее. Вот каковы здешние сельские кокетки, не хуже никакой городской. Вчера точно так же она с полчаса сидела под моим окном и любезничала со мною. – По таким замашкам судя, можно надеяться <…>

Вот сейчас она потчивала меня сквозь щелки стекол

тыквенными семечками. Я опасаюсь, чтобы в удобном случае мне не осрамиться – не быть <…>

16 сентября

<…> В политическом быту опять новизна. По примеру Франции, в Нидерландах открылись тоже мятежи; в Брюсселе несколько дней народ бунтовал, грабя и сжигая дома ненавистных ему министров и других чиновников; причины народного неудовольствия мне не известны, в газетах я их не нашел [34]. Покуда еще <Людовик> Филипп I, кажется, мирно царствует, и соседственные державы не мешаются в его дела. Он недавно торжественно раздавал полкам новые *трехцветные* знамена[35]. В Алжире французские войска претерпели большую потерю от болезней и имели одно неудачное дело. Прежний главнокомандующий там сменен теперь другим. У нас же, кроме нового набора рекрут с 500 душ по 2, ничего не слышно.

17 сентября

Утро я проходил по полям, а после обеда читал “Историю Наполеона”: кампанию 814 года и Шатильонский конгресс, где едва не заключен был мир, который бы утвердил Наполеона на престоле[36]. Судьба иначе устроила: ее неисповедимыми законами поставлен был уже предел деятельности герою; исполнив свое поприще, он, как Алкид[37], оставлял мир, которой им очищен был от чудовищ революции – избытка сил возродившегося общества. Его необыкновенные силы, преобразовавшие европейские народы, не были соответственны с новым порядком вещей, как бранный конь неспособен к ярму земледельца. Его и Байрона предсказания сбылись: и смерть исполина не спасла Бурбонов, Немезида их настигла. Вновь развилось и торжественно плещет пред полками трехцветное знамя, освященное столькими победами и источниками благороднейшей крови, пролитой за него. – Великий орел, паривший над ними, слишком рано взвился в поднебесную область светил.

19 сентября

Дни мои проходят быстро; вот четвертый день, что я здесь: эскадрон всё еще не возвращается. Когда бы не недостаток в деньгах, то я, может статься, скоро бы привык к этой бесцветной жизни: я никогда не знал поисков за удовольствиями, а после войны мне не тяжело бы было ограничить мои желания, утешая

себя тем, что это временно. Теперь же иное дело: заботишься и о том, чем будешь существовать.

20 сентября

Сейчас заезжал ко мне проездом из Сквиры Куницкий. Он очень добрый молодой человек и ко мне все гда был хорошо расположен. Как петербургский житель, получил он воспитание нам всем общее, не *онегинское* [38], а корпусное: он был в Горном корпусе. Несмотря на то что он только что вышел в свет из-под отеческого крова, он очень степенен и рассудителен. Другие называют это недостатком, как, например, Пушкин, и хотят в молодости находить и буйность. Конечно, в юноше прекрасны пламенные чувства: любовь к изящному, желание славы, добра, избыток сил, которые, пренебрегая условия света, иногда выходят из границ оным принятых, – как пенящееся вино переливается за края бокала. Но надо вспомнить и то, что у большей части молодых людей эта игра чувств зависит от воспитания и от общества, в которое они попадают, вступая в свет. Нониче уже время буйства молодежи прошло: это заметно по университетам, где нет более реномистов[39], по корпусам, где уже не бунтуют и не бьют учителей, и наконец по полкам, где даже и гусары (название, прежде однозначущее с буяном) не пьянствуют и не бушуют. Не рассудив этого, многие, так прожившие молодость свою, удивляются, что нынешнее поколение не проводит своего времени в трактирах и борделе, и называют его упадшим. Всякое время должно иметь и свои обычаи; скоро, может, не только у нас не будет Бурцевых, но гусары вместо вина будут пить сахарную воду, ходить не в бурках, а в кружевах, а вместо всем известного народного *ебена мать* лепетать известные нежности желанным красавицам[40].

21 сентября

Во всё время, что я здесь хожу целое утро и за полдень на охоту, я по сю пору не застрелил еще ничего; по этому можно судить, как охота для меня занимательна и как много у меня времени, которого я не знаю как употребить, потому, несмотря ни на что, я всякий день берусь за ружье. Это значит служить, дело делать, как называют <!> большая часть людей, своей мысли в голове не имеющих <…>

Вечер я просидел у возвратившегося Ушакова; там был еще некто *Пашковский*, разжалованный за дуэль, путей сообщения подпоручик, недавно прибывший к нам в эскадрон. Он мне

напомнил живо своих петербургских сослуживцев и дом Лихардовых; Сергей Михайлович Лихардов произведен в генералы. Как его Мария Павловна, я думаю, рада была сделаться превосходительною! – По этому случаю, верно, субботы воскреснут. – Я всегда буду с благодарностью вспоминать благорасположение, которое мне показывали в этом доме. Во всю мою бытность в столице это единственный почти дом, через который мне удалось посмотреть на общество петербургское: оно было не блестящее, но мне во всяком случае важное, ибо я другого не имел <…>

28 сентября

<…> Всё утро теперь я читаю Вальтер Скотта, взгляд на французскую революцию[41] <…>

2 октября

Я получил два письма от матери и одно от Анны Петровны. Первая обнадеживает присылкою денег на лошадь и прочие издержки. Хорошо, если бы ей удалось, как говорит, через месяц их выслать. Она сообщает тоже смерть *Василья Львовича Пушкина*, отшедшего 20 августа 1830. Своими литературными трудами хотя он не стал на ряду первостатейных писателей нашего времени, однако многие из его мелких стихотворений отличаются чистотою слога и легкостию. – Его “Опасный сосед” у нас покуда единственный в своем роде.

Анна Петровна сообщает мне приезд отца ее и, вдохновленная своей страстью, велит мне благоговеть пред святынею любви!![42]

Сердце человеческое не стареется, оно всегда готово обманываться. Я не стану разуверять ее, ибо слишком легко тут сделаться пророком.

Как и прежде, я просиживаю дни у Ушакова, играя в вист с переменчивым счастьем.

12 октября

Покуда не перестану я занимать деньги! когда я перестану страдать душевно от недостатка оных? <…>

Сейчас я кончил письмо к матери в ответ на писанное ею от 20 сентября, с которым она мне прислала “Телеграф” и “Литературную газету”, которые меня чрезвычайно теперь занимают: в них только я нахожу забвение моего печального

положения. Обещания матери мне очень дороги, но все они не облегчают моих нужд, которые угнетают мне ум и душу <…>

15 октября

<…> Также получил я одно немного запоздалое и очень нежное письмо Анны Петровны от 14 апреля!! – и то хвала нашей почте, что письма совсем не пропадают.

Что касается до сквирских новостей, то их мало: театр, там появившийся, всё еще существует, два раза в неделю играются на нем комедии Коцебу и т. п. Труппа не блистательная, даже и хорошенькой актрисы нет ни одной, но по месту и публике она очень хороша. Последняя, состоящая из городских чиновников и нашей братьи офицеров, не может быть взыскательна, ибо очень немногие из оной видели лучшее. И сцена, поставленная в сарае жидовской корчмы, очень изрядная, места, разделенные на ложи, кресла и партер, или лавки, вмещают с сотню зрителей – чего же более можно требовать от сквирского театра? Мою красавицу в трактире со всем ее домом жестоко побил пьяный мой сослуживец Милорадович, человек пустой и чрезвычайно задорливой, которой с первой встречи с ним мне очень не понравился.

Откинув всякое лицеприятие, подобный поступок – без причины поругать слабую женщину – низок; несмотря на 1500 рублей, которыми он за это обязан поплатиться, стращают нас закрытием любимого трактира. Удивительно, как нас этим испугают и много мы потеряем! Но оставим это. – Пользуясь случаем слушать оправдания, я много говорил с недоступною, хвалил ее прелести: зубы, ножки (те и другие точно хороши), даже последние ласкал; на мои любовные слова отвечала она иногда улыбкою. Говоря с миленькою своею дочерью, она назвала ее *сердцем* (*очень* обыкновенное выражение у поляков). “Когда же вы меня так назовете?” – спросил я, и, к удивлению моему, сложив с уст обыкновенную в таких случаях печать молчания, она отвечала “не знаю”; на другой ее ответ, что я над всеми так смеюсь, я отвечал: когда это насмешки, то она могла заметить, что я над нею *одной* так смеюсь. – Конечно, я весьма медленно подвигаюсь вперед, но всё еще *безумной* надежды не теряю, тем более что это единственное развлечение, которым я могу пользоваться в бедном образе моей жизни.

17 октября

Возвратясь из Сквиры, вот два дня как я живу почти не

выходя из моей хаты, окруженный присланными мне матерью “Литературной газетой”, издаваемою Дельвигом и Сомовым, их же “Северными цветами” на этот год, “Телеграфом” и письмами из дому и от Анны Петровны. От чтения первых я перехожу к занятию последними, на которые я уже приготовил ответы к завтрашней почте. С матерью и сестрою я говорю почти только о моей нужде в деньгах, а с Анной Петровной об ее страсти, чрезвычайно замечательной не столько потому, что она уже не в летах пламенных восторгов, сколько по многолетней ее опытности и числу предметов ее любви. Про сердце женщин после этого можно сказать, что оно свойства непромокаемого, imperméable (Вяземский[43]), – опытность скользит по ним. Пятнадцать лет почти беспрерывных несчастий, уничижения, потеря всего, чем в обществе ценят женщины, не могли разочаровать это сердце, или воображение – по сю пору оно как бы в первый раз вспыхнуло. Какая разница между ей и мною. Едва узнавший, однажды познавший существо любви – в 24 года я, кажется, так остыл, что не имею более духу уверять, что я люблю!!

“Северные цветы” на 1830 год никак не могут сравниться с вышедшими в 29, которые решительно лучше своих прежних, а стоят наряду с предшественниками своими. Даже отделение поэзии, всегда и во всех альманахах превосходящее прозу, весьма бедно. Отрывок из VIII главы “Онегина”, описание весны, довольно вяло; маленькие, альбомные его стишки[44], “Я вас любил…” и т. п. не лучше, точно так же как и эпиграммы его и Баратынского очень тупы[45].

Последнего отрывок поэмы “Вера и неверие” написан хорошими стихами, но холоден. Из идиллий Дельвига понравилась мне одна “Изобретение ваяния”, еще Подолинского “Гурия” и наконец Плетнева отрывок перевода “Ромео и Джульетты”. Об остальном балласте и не стоит говорить.

Из прозаических статей замечательны: “Вор” Сеньковского и “Кикимора” Сомова, обзор же его очень плох[46]. “Литературная газета”, ими же издаваемая, заслужила справедливую похвалу публики. Оригинальные повести (отрывки из романа Погорельского)[47], помещенные в ней, отличаются прекрасным слогом и верным описанием наших нравов; выбор переводных статей также хорош; критика очень умеренная. – Нельзя то же сказать про Полевого, который сделался литературным демагогом sans-culotte[48], который кричит и ругает литературную аристократию, – *Дантон журнальный*, ругающий всех без исключения *знаменитых*, как он иронически называет; в этих критиках пристрастие его слишком явно[49]. Журнал его еще

занимателен разнообразностью помещаемых статей. Между ними часто появляются тоже хорошие отрывки из новых народных романов. Картины нравов похожи на прежде помещаемые в “Северной пчеле”, но уступают им в слоге. В обоих журналах очень мало появляется хороших стихотворений (исключая двух басен Крылова и несколько пьес Пушкина, особенно двух: “Арион” и “Смуглянка”[50], и “Пловца” Языкова – напечатанных в “Литературной газете”), особенно в “Телеграфе”; зато уже брани в нем за булгаринского “Выжигина” и “Дмитрия Самозванца” с “Литературной газетою” больше, чем должно позволять[51]. В последней Полевого “Историю” называют образцовою глупостью и спекуляциею на деньги подписчиков[52].

22 октября

<…> Мое волокитство за панною Фил., кажется, кончилось: в этот трактир теперь никто не ходит, следственно, и мне неловко там бывать и нежничать с побитою красавицей. Зато другой трактирщик, Блезер, недавно женился на хорошенькой девочке лет 15-ти. Вся молодежь вертится теперь около нее, она гораздо милее и не такая недоступная, как моя дура.

23 октября

В последних числах октября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно…[53]

В моем Антонове, и особенно когда в нем живешь по нужде без денег, не раз вспомнишь этот стих Пушкина. Сегодня был прекрасный осенний день; мороз очистил атмосферу и высушил землю, солнце ярко светило и даже грело. Озеро, видное из окон моей хаты, или ***став***, как здесь называют запруженные речки, простирающееся более чем на версту от плотины, близь которой я живу, было спокойно и ярко отражало светлую синеву чистого неба, свежую зелень нив и обнаженные красноватые рощи, окружающие оное. Прекрасные сии виды веселили взор и любителя прекрасного, и неутомимого охотника, но не меня. Они ни на минуту не разогнали моих забот, а охоту бродить с ружьем я также покинул давно. Бремя их тяготит меня и не дает места никакому другому чувству. – Против обыкновения, сегодня вечер провожу я дома, потому что Ушакова нет дома, а то бы и сегодня двенадцатью роберами заключился мой дневной труд. Хочу

воспользоваться вечером, написав к сестре письмо.

25 октября

Точно так же и вчера, я весь день, сидя один дома, читал “Телеграф” – одно мое спасение от скуки; но и это удовольствие скоро кончится <…>

Вот два года, что я с каждым днем вижу только новые заботы и не имел ни одной минуты чистой, не омраченной неприятностями. Правда, я теперь излечился от того безграничного честолюбия, которое меня закинуло сюда; понятие о моих достоинствах ограничилось тоже; я приобрел много опытности в обхождении с людьми, – но какою ценою покупаю я всё это!! <…>

27 октября

Чудное утро теперь! Мороз осеребрил поля, подымающееся солнце начинает согревать воздух, поверхность озера чиста и спокойна.

Если вспомнишь, какая в это время у нас на севере бывает погода, то как не благословлять здешнее небо…

4 ноября

<…> Волокитство наше расстроилось: красавица общая уехала на неделю в Бердичев к своей матери. От того нам кажется здесь вдесятеро скучнее прежнего; не знаешь точно, что делать из дня.

5 ноября

<…> Мать прислала мне Жан Поля[54], но о деньгах говорит только, что лен подымается в цене, почему и надеется мне через короткое <время> выслать оных. Вместе получил я и несколько следующих №№ “Литературной газеты”. Всё это средства против царствующей здесь скуки, весь день нас, жителей Сквиры, преследующей. Утром я менее ее чувствую, потому что часть оного провожу на службе, бывая всякой день на разводе, зато остальное время не знаю я, как употреблять.

Недавно с Вульфом[55] мы разговаривали о власти привычек над человеком. Их влиянию я очень подвержен: переменив местопребывание, я долго не привыкаю к новому; на новой квартире, пока не обживусь, я не в состоянии заниматься, даже

долго оставаться дома. К моей теперешней еще труднее привыкнуть, потому что живу с хозяевами в одной комнате, следственно, никогда совершенно не свободен, а всегда сжат.

Полученные мною книги я чрезвычайно скуп читать, особенно журналы; всякий день я читаю только по нескольку страничек, опасаясь всё скоро прочесть; я даже совещусь, ежели любопытство меня иногда далее увлекает, как ребенок, который съедает свои конфеты.

6 ноября

<…> Вчера, просидев всё после обеда у Голубинина с Рославлевым и *Туманским*[56], недавно приехавшим из *Одессы*, оставивши *Красовского*, при котором он находился, и которой привез с собой несколько книг, мы читали вместе “Сен-Мара”, переведенного *Очкиным*. Вечером я пошел ужинать к *Блезеру* и, к удивлению моему, нашел его женочку, предмет общих желаний, возвратившуюся уже из Бердичева. Я чрезвычайно обрадовался ее приезду и нашел ее еще милее прежнего, может статься от того, что холод прелестно ее нарумянил. Предвижу и предчувствую теперь, что, вероятно, я опять буду просиживать целые дни в трактире <…>

7 ноября

Эти дни я всё сижу у Голубинина, где поселился *Рославлев* и *Туманский*; читаю там, играю с ними в вист и, перебежав через двор, волочусь за красавицей, доселе еще не внимающей моим любовным мольбам. В карты я проиграл безделицу, а в биллиард выиграл 4 билета театра <…>

9 ноября

<…> Вчера я играл несчастливо и проиграл 60 рублей. Поутру я отдал письмо к матери на почту, а остальной день читал “Сен-Мара”. Перевод этого прекрасного романа Альфреда де Виньи довольно хорош, а достоинства романа признаны всеми.

Про жизнь мою здесь не знаю что сказать – она до крайности скучна и бездушна.

10 ноября

<…> Вот и пороша: в ночь выпало вершка на два снегу. В *Сарыкиой* я бы нынешнее утро приятнее провел – я бы уже следил

заяцев…

Я начал читать 12 том “Истории” Карамзина. Какой слог! он приводит в восторг простотою и величием своего рассказа. Это простодушная летопись и вместе эпопея. Его изображение исторических лиц столько живо и ярко, что к ним привязываешься, гордишься именованием их соотечественниками. Везде видно, что он трудился с любовью к предмету, а не из корысти или из суетного славолюбия[57].

11 ноября

<…> Вчера вечером возвратился полковник из Бердичева. В привезенных им французских петербургских газетах прочитал я указ, которым повелено 1 и 2 пехотным и 3 и 5 резервным кавалерийским корпусам считаться на военном основании и выступить к границам. – С кем же мы будем воевать – не могу понять! Вероятно, эти движения имеют целию удержать дух мятежей, распространяющийся в средней Европе. Я чрезвычайно рад, что нас оставляют в покое, по всем причинам: раз, что я нисколько не хочу участвовать в угнетении человечества, во-вторых же, собственные мои обстоятельства не такого роду, чтобы позволяли мне выдержать еще войну, в которую я могу заслужить Анну 4 степени, а потерять не только здоровье, но и жизнь. Я знаю теперь, сколько можно полагаться на счастье, и другой раз не хочу быть в дураках <…>

12 ноября

Всегда, когда приедут офицеры из лейб-эскадрона: *Ломоносов, Штенбок* или *Милорадович*, то без шампанского не обходится, и часто пьют до тех пор, пока не станет в Сквире вина; так случилось и вчера, когда у Блезера явилась и музыка, состоявшая из кларнета, скрыпки и виолончела. Разгоряченная прыганьем, молодежь напрасно желала утолить свою жажду шипящей, пенистой влагой <…>

14 ноября

<…> Вчера заходил я к *Туманскому*, который болен был, но теперь уже выздоравливает. Он привез из Одессы много книг, которыми можно пользоваться.

Молодую красавицу трактира вчера начал я знакомить с техническими терминами любви; потом, по методе Мефистофеля[58], надо ее воображение занять сладострастными

картинами; женщины, вкусив однажды этого соблазнительного плода, впадают во власть того, который им питать может их, и теряют ко всему другому вкус: им кажется всё пошлым и вялым после языка чувственности. Для опыта я хочу посмотреть, успею ли я просветить ее, способен ли я к этому. Надо начать с рассказа ей любовных моих похождений.

15 ноября

<…> Погода стоит настоящая осенняя, снег всё еще лежит; вчера сделалась гололедица и с моею красавицей, которая рассердилась на меня.

16 ноября

<…> Вечером вчера был я у выздоравливающего *Туманского* и играл с ним и с Кольчигиным в вист – на этот раз был я счастливее обыкновенного, выиграл рублей 30. У Туманского же я взял “Монастырку”, I часть романа господина *Перовского*, которой отрывки я уже читал в “Литературной газете”, где, кажется, справедливо хвалят это сочинение [59]. Полевой, напротив, нападает, но в одном он только прав: зачем было пускать в свет одну только часть, а не целое, ведь это не глава “Онегина”[60] <… >

17 ноября

<…> Вчера вечером, вместо того чтобы идти в театр, играл я в вист – и очень несчастливо – проиграл более ста рублей; против Туманского я не могу играть.

18 ноября

<…> И вчера я опять проиграл в вист, но что еще не лучше – попался в секунданты к *Милорадовичу*. Этот вздорливый человек, которого я уже раз мирил, обидел без всякой причины *Голубинина*, за что этот и вызвал его. Вчера, пришедши в трактир, встретил меня первой просьбой быть его вторым; не имея причины ему отказать, я должен был принять его предложение и сказал, что я всегда <рад> служить тому, кто требует моей помощи. Поблагодарив меня, он был столько любезен, что прибавил: “Я всегда прошу в таком случае первого, которой мне встретится”. – Дело будет после смотра; с моей стороны я употреблю всё возможное, чтобы сделать оное сколько можно

менее кровопролитным. – Завтра я еду в эскадрон, чтобы приготовиться к будущему смотру. Сейчас отправил я письмо к Анне Петровне; она что-то давно ко мне не пишет.

19 ноября

<…> Вчера у нас в театре давали “Казака-стихотворца”[61] для бенефиса госпожи *Горлицкой*. Она играла *Марусю* довольно хорошо, про пенье ее нельзя сказать того же. Ро ли Прудиуса и Грицка особенно были очень порядочно сыграны, а Климовского как нельзя хуже. Театр был полон до возможности, и бенефициантка довольна сбором; таким образом, все довольны.

Антоново, 24 ноября

Возвратившись 19 числа сюда, чтобы приготовиться <к> смотру, я на другой день поехал с Вормсом опять в Сквиру, чтобы быть вечером в театре, куда ожидали соседних помещиц, и поволочиться за красавицей. Вместо первых получил я в театре письмо от матери, которое меня очень огорчило; она говорит, что я не могу и не должен идти в отставку и что могла бы скоро мне прислать денег, если бы не холера, прерывающая теперь все сообщения.

27 ноября

Вчера вечером возвратился я из Сквиры, куда ездил более для окончания дуэли Милорадовича. Счастье помогло мне оную кончить без кровопролития и без лишней траты пороху. Милорадович, которого главный недостаток есть вспыльчивость, а не дурные правила, убежденный неделью размышления в несправедливости своего поступка, казалось, был миролюбиво расположен, особенно после разговоров с Штенбоком, старавшимся их помирить, но ошибочно воображавшим, что время упущено, к оному утверждая, быдто бы тотчас вслед за ссорой более бывают расположены к мировой, чем впоследствии. Я еще более надеялся окончить дело счастливо, потому что узнал от Штенбока намерение Милорадовича предоставить противнику первой выстрел и, выдержав оной, предложить примирение, не пользуясь своим. Это намерение, хотя и узнал Голубинин, но был столько умен, что не дал себя вовлечь в ложный поступок, и объявил, что он не будет щадить своего противника. Всё шло хорошо, почему я не входил с моим дуэлянтом ни в какие подробности до решительной минуты. Мы все ожидали, что

ожидаемым промахом Голубинина всё благополучно кончится. *Якоби*, мой сотрудник, как отличный стрелок, имел обязанность пистолеты, которую он хотя исполнил со старанием, а не с обыкновенной нерадивостью секунданта, но несчастливо, ибо выбранные пистолеты были с дурными замками и дали бы несколько осечек (как после было при стрелянии в мою шапку), что непростительно со стороны секундантов. – Утром, в часов 9, поехали мы на двух санях по прекрасной, недавно установившейся, сегодня уже сошедшей зимней дороге; если бы не сильный туман, на 100 шагов перед глазами скрывавший предметы, то утро можно бы было назвать хорошим. Отъехав по бердичевской с версту, мы поворотили влево и расположились в ближней лощине. Зарядив как следует в присутствии противников пистолеты и выторговав у Якоби 15 преширо́ких шагов, готовы мы были поставить противников на роковое расстояние с тем, чтобы *Голубинин* стрелял первый. Но прежде, объявил я, есть моя обязанность как секунданта в последний раз употребить мои старания к примирению. Подойдя к Милорадовичу, я сказал: “Вы, милостивый государь, сознавались, что обидели господина Голубинина; я надеюсь, что поэтому, сознаваясь в своем поступке, вы не откажетесь подать первой руку к примирению”. Получив желаемый ответ, я обратился к Голубинину: “Милорадович сознается, что он вас обидел в жару, и желает, чтобы вы прошедшее забыли и были снова ему добрым товарищем и приятелем”. – “Когда Милорадович сознается, что он виноват предо мною, то я доволен”, – отвечал Голубинин. Между тем Штенбок, видя счастливый оборот, который берут мои *очень нескладные* убеждения, присоединил свои убедительною силой истины и искренним желанием помирить – и после еще нескольких слов мы свели противников и обнялись по-братски все вместе. Для *Якоби* было это совершенно неожиданно; он думал, что без выстрелов никак нельзя обойтись и с пистолетами в руках быдто нельзя мириться. – Я сам признаюсь, не ожидал такого легкого успеха, это была счастливая минута, ибо иногда, несмотря на тайное обоюдное желание примириться, не решаясь никто сделать первого шага, опасаясь показаться боязливым, убивают друг друга. К чести нынешнего времени можно отнести, что поединки становятся реже. Забияки, или *бретеры*, носят на себе заслуживаемое ими справедливо презрение всякого благовоспитанного человека.

По древнему обычаю новая дружба соперников запита была несколькими бутылками шампанского, из которых одною и я должен был пожертвовать, несмотря на мои расстроенные обстоятельства.

<…> Сегодня целой день я просидел, не выходя из хаты, – писал ответы на печальные письма. Нервы мои так раздражены всегдашнею грустью и заботами, что, остановившись на размышлении о моем положении, как у слабой женщины, навертываются у меня слезы на глазах. Ах, прежде одна любовь заставляла меня их проливать! Это, может быть, слабость, приличная только другому полу. Пристойнее бы было деятельностью разгонять тоску, но и мою <?> ведь не облегчают меня; со слезою с ресницы не скатывается, как у женщин, у меня печаль души – это только выражение оной или выражение неспособности помочь самому себе. Это, однако, есть слабость.

Я читаю теперь *записки графа Тилли*, бывшего пажом королевы *Марии Антуанетты*: это изображение нравов в последние десятилетия прошлого столетия. Самое занимательное в них есть описание характера многих известных лиц того времени, несколько анекдотов и наконец любовные его связи, которых он – как весьма счастливый волокита, homme à bonne fortune[62] – имел очень много. Слог его прост и жив, в некоторых местах остер. Рассуждения же, долженствовавшие иметь нравственную цель (которые прославляет издатель), весьма слабы и плохое противуядие противу соблазнительных его поступков, в естественных последствиях которой <!> более гораздо нравоучения, чем в его восклицаниях о непостоянстве мирских вещей, наших чувств, правил, мыслей и т. п. Всякой от души поверит, что посвятившего себя единственно волокитству, развращению женщин в будущем ожидает жалкая доля душевной пустоты, охлаждение ко всем изящ ным чувствам, пресыщение. Но во многих его взглядах на вещи он поверхностен и ошибается. В искусстве же соблазна он Мефистофель. Кстати о волокитстве прибавлю, что мое за трактирщицей не клеится, она ко мне совершенно еще равнодушна и, как кажется, ко всем.

28 ноября

Сегодня, как вчера, я просидел дома за письмами и за *мемуарами* Tilly <…>

1 декабря

Новость за новостью. Получен приказ, чтобы господа офицеры не отлучались от своих взводов без особенного позволения на то командира, которой оное только вправе давать в случае крайней надобности, вследствие чего все проживающие в Сквире должны были ее немедленно оставить. Эскадронным

командирам даны какие-то тайные приказания, которые они скрывают с весьма важным видом (т. е. Ушаков), объявляя только, что можно ежечасно ожидать повеления выступить через 24 часа в поход <…>

2 декабря

Сейчас я получил письмо Анны Петровны, которое немного облегчило мне скуку просидеть одному этот вечер. – Между прочим она пишет, что Дельвиг получил порядочной нагоняй от *Бенкендорфа* за помещение в 61 номере "Литературной газеты" надписи сочинения de la Vigne на монументе, воздвигнутом в память погибших защитников свободы 27, 28 июля сего года. Вот она:

France! dis moi leurs noms?
je n'en vois point paraître
Sur ce funebre monument.
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître.

Точно, в русской литературной газете они неуместны; цензурная терпимость, однако, заслуживает хвалу, что она их не столько испугалась, как Бенкендорф[63].

3 декабря

Утром ездил я верхом, чтобы сделать какого-либо роду движение, а потом остаток дня я читал *Жан Поля* "Хрестоматию". История *войны* 13 *года Коха*, которую тоже читаю, была бы чрезвычайно любопытна, если бы ее можно было читать с картами и планами, но без оных она теряет много интересу. – Ушаков еще не воротился из Сквира, следственно, нового ничего я не знаю, скучная же жизнь ничем не изменяется вот уже с неделю. – С час назад я строил воздушные замки, основанные на нескольких тысячах рублях, которые изменили бы меня совершенно. Я мечтал себя в Дерпте уплачивающим остаток студенческих долгов и прельщающим добродетельных лифляндок с их розовыми личиками гусарским мундиром и усами; оттуда я перелетел в город скучный, город бедный[64] – но как описать, что здесь воображение может чаровать перед нами! Но, расставшись с Петербургом, где и в мечтах я слишком много проживал денег, воображение мое так разлакомилось, что принялось и за

командуемой мною взвод; расхаживая по квартире Ушакова, я воображал, до какого совершенства я доведу каждого из моих гусар. Но, возвратясь с вечерней прогулки, в продолжение которой я так размечтался, всё рассеялось, и скука встретила меня опять в моей хате.

До сих пор я был чрезвычайно разборчив в женщинах, в полном смысле аристократ на этот счет, всегда удивлялся сельским *Ловеласам*, а теперь сам волочусь за моей хозяйкой – вот как обстоятельства переменяют нас!

4 декабря

<…> Туманской прислал мне “Записки о Жозефине”[65], относящиеся ко времени ее жизни после развода.

Автор оных, женщина, не мешается в политику; как собрание анекдотов, рассказанных просто, они довольно любопытны.

5 декабря

<…> Теперь уже не тайна, что в Варшаве было возмущение, чем же оно кончилось, неизвестно, точно так же и причина оного; говорят, будто *Курута* убит, а *Константин* уехал оттуда[66]. Всё это слухи, которые еще не достоверны, но очень вероподобны, и, кажется, поход наш неизбежен <…>

6 декабря

Утром я ездил верхом и всё собирался высечь здешнего сотского за то, что он, поставив к мужикам, у которых я и человек мой стоим, еще рекрут, не хотел ко мне прийти, когда за ним я посылал; но когда его привели ко мне и гусары готовы уже были к экзекуции, то я, как всегда, умилостивился. По сю пору я так слаб, что не могу наказывать виноватых, и их всегда лучше оправдываю внутренно, чем они сами себя <…>

Вот еще подробности варшавского возмущения. Константин, уведомленный о бунте, призвал к себе два батальона для защиты дворца. Чернь была остановлена оными и бросилась на другие жертвы своего неистовства; оными сделались достойный генерал Курута, Красицкий и многие другие. На другое утро Константин выступил с своею гвардиею из Варшавы и собрал польские войска, которые сначала не принимали участия в возмущении, но, стараясь усмирить, большая часть оных взяла сторону возмутителей, вследствие чего великий князь продолжал свое отступление и находится теперь уже в Волынской губернии, куда

и все наши войска собираются <…>

9 декабря

<…> Сестра пишет тоже ко мне, но она очень печальна. И как не быть такою, живучи без выезда в Тригорском, девушке в тридцать лет? Бедной мой друг, когда-то увижу я тебя под брачным венком? Засветит ли кто тебе факел Гименея? <…>

12 декабря

<…> Варшавские происшествия объявлены уже в ведомостях: правительство, по благоразумно принятому правилу, не делает из оных тайны. – Государь, получив к ночи уведомление об оных, в следующее же утро сообщил их на разводе присутствовавшим офицерам, которые единодушно просили позволения усмирить мятежников. Он благодарил их за усердие и отвечал, что для сего достаточно будет войск, расположенных там вблизи[67] <…>

14 декабря

<…> Живучи здесь, я начну заниматься постоянно службою и русскою грамотою; сначала трудно будет и скучно последнее, но неужели я не буду иметь столько власти над собою, чтобы себя принудить?

15 декабря

Говорят, что почти всё герцогство бунтует и что Константин оказал себя весьма слабым при возмущении: он подписал какую-то у него вынужденную конвенцию и не позволял стрелять по бунтовщикам. Впрочем, эти слухи вовсе не достоверны <…>

17 декабря

Сегодня я стал годом еще старее, отжил и третьего десятка уже половину, едва ли не всю молодость мою. Оглянувшись назад, вспомнив, что я был и есть теперь, а посему представив себе и будущее, нигде не встречаешь предмета, на коем с удовольствием можно было остановиться. Несколько пламенных желаний, блестящих идей прекрасного – вот всё, что мне осталось от прошедшего, если не упоминать все не исполнившиеся

надежды и несколько поцелуев некогда любивших красавиц. Всё это прошло невозвратно: ни сердце, ни рассудок не обольщаются, как сладкий сон не возвращается после досадного пробуждения. Не радостны те дни, где ищешь одного постоянного, полезного, когда для последнего отказываешься от шумных удовольствий, от честолюбия и от всего, что нам в молодости жизнь светскую делает столь ценною. Но судьба не допущает мне и там быть полезным, где единственно я оным могу стать. Я должен служить, жить в нужде иногда, всегда в бездеятельности и, следственно, скуке, без всякой видимой и, рассудительно, для кого-либо ожидаемой пользы. – Это печально – в первый и последний день года.

18 декабря

<…> Собственные мои занятия еще менее занимательны и разнообразны; я читаю всё, что мне под руки попадает: записки о французской революции и об войнах оной, иногда наши литературные журналы, книги, касающиеся до фрунтовой службы, и даже пробегаю грамматику Греча[68]. Вот в каких занятиях провожу я те часы дня, которые не могу проспать.

19 декабря

<…> Утро сегодня превосходное, солнце выкатилось на чистое, яркое небо, и золотые лучи его скользят по земле, которую небольшой мороз обелил, воздух сух и чист, одним словом, это настоящее прекрасное северное зимнее утро с тою только разницею, что оно имеет десятую часть его холода, т. е. не 10°, а может, только 1° холода.

Сегодня день рождения сестры – пусть будет у них, по крайней мере, такая же погода в Тригорском – я не знаю, что можно бы было еще пожелать. Последние письма ее очень печальны, но как ей помочь?..

23 декабря

<…> Из дому я не получил писем, но зато одно очень милое от Анны Петровны <…>

В *Бердичеве* точно появилась *холера*, от которой уже там погибло человек 150. – В других уездных городах тоже, говорят, она показалась, а именно: в Василькове, в Белой Церкви, в селе Павловичах и других, но это недостоверно, о Бердичеве же объявлено официально. Никакие меры предосторожности не в

силах, кажется, остановить распространение сего бедствия: от пределов Сибири медленно она всё подвигается к западу и едва ли не дойдет она до сердца Европы. Она мне кажется губительнее чумы турецкой, которая, по крайней мере, весьма редко прокрадывается через карантины[69].

30 декабря

<…> Сестра Анна пишет, что будто бы “Литературную газету” запретили за стихи, о которых мне писала Ан на Петровна[70]. – Пушкин всё еще не женился, а брат *Лев* уверяет, что если *Гончарова* не выйдет замуж за Александра Сергеевича, то будет его невесткою[71]. Всего приятнее для меня новость, что Софья кормит сама грудью своего ребенка и живет с мужем как нельзя лучше, – дай Бог, чтобы их семейственное счастие продлилось; никто более барона оного не достоин.

<…> Был я у *Рудольтовского*. Он недавно возвратился из Одессы с тем, чтобы подать здесь в отставку. Служив так же безуспешно, как я в 29 году, он, по крайней мере, счастливее тем, что выходит теперь из службы. Хотя он и *поляк* в душе, но, получив европейское воспитание, в нем не осталось ничего, что мне и вообще всем нам, русским, не нравится в его соотечественниках; я к нему очень хорошо расположен.

Как изъявление таковых же чувств его ко мне должен я принять его подарок: *кусок дерева от дуба, под которым Шекспир обыкновенно трудился* над своими бессмертными произведениями, которой он сам вывез из Англии.

Напившись у него чаю, пошли мы вместе на ожидаемой пир, где мы надеялись видеть чрезвычайно много смешного. Вслед за нами начала собираться и публика. Полдюжины актеров, несколько земских чиновников начали бродить около биллиарда, на котором мы играли в ожидании, когда придет каждому очередь по личному вызову хозяина получить стакан пунша. – Представительницы же прекрасного пола – две актрисы и *белобрысая* другая племянница Блезера – сидели в комнатах хозяина, покуда еще танцовальная зала не была освещена и жиды не настроили своих скрыпок. Казалось, что вот веселье и началось, потому что из биллиардной комнаты мы уже слышали музыку; оставив кии, и мы пошли туда, но нашли, что танцы что-то не ладятся; наш приход также не споспешествовал оным. Хозяйка одна сделала с графом Mare несколько кругов мазурки, после которой ее больному мужу сделалось дурно, и она ушла с ним; это было сигналом общего рассеяния, и мы остались одни; от нечего делать мы пустились сами вальсировать; но, как

казалось, что наше присутствие помешало общему удовольствию, то и мы удалились. Через несколько времени опять послышалась музыка, которая, однако, замолкла при вторичном нашем появлении. Не было сомнения в том, что мы были здесь лишними, особенно когда нам сказали, что Блезер сам велел перестать играть. Вслед за хозяйкой с Горлицкой, пригласившей нас к себе, и мы оставили танцовальную залу. Скоро после этого Вормс вызвал меня оттуда, чтобы объяснить мне причину этого расстройства нынешнего вечера: он сказал мне, что слышал собственными ушами, как Блезер сказал, что он велит “погасить в зале свечи, если мы не уйдем оттуда”. Такое преступление против их *благородий* требовало неотлагаемого наказания: Вормс обещался клятвенно при первом удобном случае Блезера побить, а мы решились тотчас оставить трактир и, поужинав у Фил., ехать в эскадрон, куда нам и без того необходимо нужно было отправиться. Но как тот трактир был уже заперт, то мы с Вормсом и должны были возвратиться и закусить здесь.

Между тем *Бася* ходила около нас, значительно посматривала на меня и спрашивала, когда мы опять приедем, скоро ли? – Я *печально потряс головою*[72] и отвечал отрицательно. Вот мы оделись и пошли, чтобы сесть в сани, но, не переступи порог комнаты, я встретил ее. На прощанье мое <она> отвечала объяснением, что муж ее нисколько не виноват, что он сам сожалеет о расстройстве своей вечеринки и т. п. Я ей отвечал уверениями в своей любви и, будучи окружен толпою людей, должен был ее оставить. В сенях столкнулся я с *Басею* и начал с ней сентиментально прощаться, а вслед за нею явилась и моя прелесть; вот новые уверения в невинности мужа и просьба остаться, а с моей стороны – в моей любви и что необходимость одна заставляет меня ехать, а не то, чтобы я считал себя обиженным. Я уже готов был подтвердить мои слова пламенным поцелуем, как и эта трогательная сцена была прервана внезапным появлением мужа. Оставив ее, ишел я сесть в сани, Блезер остановил меня с новым объяснением: утверждает, что он ни в чем не виноват, что господа обиделись, к чему, он сознается, был повод, но вовсе без его дурного намерения и пр. Я старался его разуверить, чтобы отвязаться от него, ибо внутренне чрезвычайно рад был этой катастрофе, во время которой я получил более изъявления участья, если не привязанности и любви, чем мог бы ожидать в самом шумном веселии.

31 декабря

Третьего дня смотрел эскадрон полковник, а вчера проезжал

он мимо, чтобы сделать распоряжения в соседственных деревнях, где открывалась *холера* точно так же, как и в самой Сквире, где есть до десяти человек больных. Она появилась там во время праздников – вероятно, от неумеренной пищи и пьянства во время разговен. В уезде же она показалась в разных местах почти в одно время, даже и у нас в деревне умер человек Рудольтовского, как говорят, от холеры. Сейчас я еду к Вормсу, чтобы с ним вместе ехать в Сквиру встретить новой год и заключить этот старой – с большими надеждами на любовные успехи. Но исполнятся ли они?

1831

Антоново, 4 января

<…> Нынешний год не встретил я столько приятно, сколько обещали мне любовные мои мечты. После трогательного расставания наше свидание с красавицею было довольно холодно; это меня до того взбесило, что ее роговое колечко, которое я взял с тем, чтобы сентиментально велеть обделать в золото, тут же подарил Горлицкой. – На другой день она была милее, но всё не столько, сколько должно, так что в эти 3 дня я едва ли несколькими шагами подвинулся, потому что два-три вынужденных поцелуев <!>, вырванных мною, нельзя считать за успех <…>

Белая Церковь, 6 января

<…> Наняв вчера наконец лошадей, приехал я сюда скорее, чем ожидал. Я чрезвычайно не люблю всякого рода поездки, которые простираются далее десяти верст, и потому, ехав сюда, я терпел все неприятности, которые чувствует человек, отправляющийся против воли в дальний путь. Но во сколько раз усилились эти ощущения, когда, прибыв сюда, узнал я, что не только скоро отправиться я не могу, но должен здесь прожить по крайней мере с неделю. – Это от того, что рекрутские партии, из которых должно выбирать в нашу дивизию, еще не прибыли.

7 января

Лишним бы было упоминать, что здесь несносно скучно, что я не могу здесь ничего делать и даже не имею свободной минуты написать несколько строк, потому что живу на одной квартире с Ушаковым. Эта скука тем горче для меня, что теперь в Сквире я бы, по крайней мере, волочился за молоденькою моею Мариною. Без меня я чувствую, что Рудольтовский ее совершенно отобьет и возьмет в руки к себе. Единственным делом и развлечением для меня эти дни было чтение нескольких книг из полковой библиотеки здесь расположенного 19-го егерского полка. Нельзя довольно похвалить офицеров здешнего полка, почувствовавших такую надобность, – видно, что просвещение входит и в ряды воинов. Я успел прочитать “Паризину”, перевод *Вердеревского*, “*Дмитрия* Самозванца”[1], а теперь у меня “Борский” *Подолинского*.

Первый перевод довольно хорош; Булгарина же роман лучше, нежели я ожидал, судя по разборам в “Литературной газете”, но и не совершенство, за которое хотят выдать его почитатели сочинителя оного. Слог оного, хотя и всегда чист и правилен, но, как и в “Выжигине”, не разнообразен и холоден.

Изображение действующих лиц, исторических и вводных, так же слабо; сам герой романа без нужды обременен убийствами и злодействами – в описании нравов и обычаев того времени он более всего успел. В “Борском” есть несколько хороших стихов, это всё, что можно в его пользу сказать[2] <…>

9 января

Проезжали здесь вчера *Ломоносов* и *Милорадович*, которых, неведомо по какой причине, требуют в 4 гусарскую дивизию <… > Если их точно возьмут из полка, то мы потеряем двух из лучших наших товарищей. *Милорадович* с того времени, как я кончил его дуэль, переменился совершенно в обращении со мною и сознается теперь, что он прежде не знал меня; я тоже с тех пор открыл в нем более хороших качеств, чем ожидал. Мы расстались лучшими товарищами, сердечно сожалевшими, что судьба нас снова разметывает. – *Ломоносов* в своем роде тоже человек очень милый и умный и в полном смысле слова *гусар-товарищ*. – При прощанье с такими людьми можно ли было не выпить лишней рюмки вина? – Хотя я, как всегда, старался пить как можно меньше, но от смешения разных напитков и теперь болит немного у меня голова.

Хочу сегодня ехать в Сквиру по той причине, что рекрутские партии прежде 15 числа не прибудут сюда.

10 января. Антоново

После часов трех езды по ровно накатанной дороге в почтовой телеге очутился я из Белой Церкви в Сквире у ног моей красавицы, разлука с которою, казалось, была главнейшею причиною, почему пребывание мое в Белой Церкви мне столь несносно было. Она приняла меня довольно мило, но весь вечер я не имел свободной минуты остаться с ней наедине; зато от Рудольтовского узнал я, к великому моему удовольствию, что он уже не в большой милости у ней. – Утро сегодня я всё почти провел с нею: то разматывал нитки, то рисовал ей узоры. Перед самым отъездом сюда, когда лошади мои уже стояли у подъезда и я ходил по комнате, ожидая Арсенья, она совершенно неожиданно вышла ко мне из другой, где спал ее муж; я не успел

воспользоваться выгодою моего положения, ибо вовсе некстати воротился Арсений. Я должен был ехать, но, одевшись в шинель, я воротился, и она не ушла в заповедную комнату, а допустила еще раз вынудить у себя поцелуй. Сегодня я был и здесь счастлив; возвратясь, я нашел у себя в хате Софью, она осталась топить печку, в которое время я употребил всё свое красноречие, чтобы убедить ее придти после ко мне: она и согласилась, обещав завтра придти, – увидим, сдержит ли она слово?

В два дня, которые я хочу провести здесь, хочется мне написать домой ответы на последние мною полученные письма.

О делах польских слышно только, что их, вероятно, окончат без кровопролития, еще менее должно ожидать европейской войны, хотя мы и двигаем теперь большие силы.

12 января

Вчера я просидел весь день у Ушакова, так что не успел окончить одного письма к матери. Софья меня обманула и не пришла, как обещалась, эту ночь, почему сегодняшний день, хотя и именины *Евпраксеи* и Татьяны[3], я начал не <в> веселом расположении духа. В ночи выпал небольшой снежок, который выманивает меня в поле; погода стала теплее, есть надежда, что будет санная дорога.

14 января

Весь вчерашний день я пролежал больной от угара, и только вечером голова моя освободилась от чада; в это время принесли мне письма из дому и объявление на 500 рублей. Деньги приходят всегда в пору и кстати, но должно сознаться, что я их совершенно не ожидал. Хотя на прожитье у меня теперь и нет денег, но эти я хочу почти всё отдать за лошадь, то есть я оставлю себе из них третное жалованье [4], а получив оное, я его отдам в эту сумму.

Письмо матери очень мило; она поздравляет меня с моим днем рождения и вместе с новым годом. Сестра тоже очень нежна, она нездорова, а Евпраксея приложила к письму тоже свой лоскуток бумажки, на котором она мне передает поклоны *от Катеньки Вельяшевой* и поцелуй от *Катеньки Гладковой*; последняя уверяет, что много про меня говорила с какими-то *Пашковыми*, в доме у которых я будто бы волочился за одной девушкой. Вот знакомство, про которое и во сне мне не снилось: правда ведь нашей братии Вульфов так много под луною, что легко можно принять одного за другого; я любопытен, однако,

знать, что это за *Пашковы*.

20 января

Пять день <!> прожил я совсем против моей охоты в Сквире и вовсе не с удовольствием: отправив лошадей, я не сказал, когда им приезжать за мной, а в Сквире хотели с меня так много взять, что я не решался нанимать мошенников евреев. Наконец уже сегодня удалось мне выехать с Вормсом. Кроме 500 рублей, я получил еще от матери посылку с бельем, которая меня чрезвычайно обрадовала, ибо в этом отношении я был в крайней нужде. Обещание матери в скором времени мне выслать еще *тысячу* рублей обеспечивает меня покуда совершенно насчет будущего.

В любовном отношении пребывание мое в Сквире не было успешно: не только я в это время нисколько не подвинулся вперед, но, напротив, совершенно почти прервал мое волокитство, потому что нет никакой надежды ни ей понравиться <…> Для порядочной связи она и молода, и холодна, и глупа, муж же ее жестоко записывает за всё – вот почему я хочу обоих впредь оставить в покое.

Под печатью тайны сказал мне сегодня Вормс, что здесь в Повете открыли у одного помещика *Туркула* злоумышленное сходбище поляков. Ротмистр *Погорский*, в месте расположения которого эскадрона живет этот помещик, поскакал туда разведать, что там делается, и если он откроет что-нибудь, то наш эскадрон, как ближний, может, завтра поведут туда. Так думает Вормс, мне же кажется всё это бреднями и вздором <…>

21 января

Утром я не писал писем, как это прежде предполагал, но читал В. Гюго драму “Кромвель”, которая очень занимательна.

Бросив мою трактирщицу,
Любовь покинул я, но в душу
Не возвращается покой![5]

Меня томит желание быть с женщинами, если нельзя их иметь <…>

26 января

<…> Из *Варшавы* пишут, что старания возмутителей вооружить народную стражу и вообще всех, кто в состоянии носить оружие, безуспешны. Есть уже известие, хотя и недостоверное, что диктатор Хлопицкий бежал и что Дибич, вступив в пределы царства, обнародовал сильную прокламацию против бунтовщиков[6]. Все ожидают скорого усмирения без большого кровопролития <…>

29 января

Вчера был у нас смотр эскадрона. Об нем нечего сказать, потому что ни верховая езда гусар, ни сухое обращение *Плаутина* с *Муравьевым*, которые друг друга очень не жалуют, ни глупости, деланные и сказанные Ушаковым, не стоят упоминания. – Всё это меня не столько забавляло, чтобы отвлечь мое внимание от третьего дня полученных писем, которыми я и теперь еще радуюсь. Мать описывает очень нежно, как она, встречая новой год в Острове у *Валуева*, вспоминала обо мне, а сестра Анна – как они довольно приятно там провели праздники и что Евпраксея сделала завоевания барона Вревского, из которого она говорит, что могут быть важные следствия; я, однако, этому не верю – не слишком ли далеко они увлекаются своими браколюбивыми мечтами. Еще передает она мне чрезвычайно милый поклон от Ольги Васильевны Борисовой, которая ей созналась, что еще ребенком (если не ошибаюсь, то это было в 17 году) она была в меня влюблена. Эту милую женщину после того я встретил только раз через десять лет, то есть в 27 году, когда я с братом Александром Яковлевичем Ганнибалом (ей внучатным братом тоже) проезжал Остров, где тогда лечилась ее мать. Я нашел ее уже женою тамошнего помещика господина Борисова, она мне тогда чрезвычайно понравилась, но, к сожалению, я с ней более не встречался. Если мне случится в нынешнем году быть в Псковской губернии, то, несмотря на ревность ее мужа, я употреблю всё мое старание, чтобы познакомиться с нею <…>

30 января

Путешествие Mollien в Колумбию не так любопытно, как я ожидал, – из оного я не получил столько сведений о крае, сколько я надеялся найти; этот дневник путешествия его по рекам *Св. Магдалины* и *Кауке*, в хребет Кордильеров около *Боготы* чрезвычайно скучен. Сведения, которые он дает о правлении новой республики, о духе и обычаях народа, очень кратки, а рассказ его чрезвычайно сух. – Прочитав эти два тома, я ничего не

встретил в них мне нового <…>

В моей бездейственной жизни время для меня бежит с необычайной скоростью. Мне кажется, что течение оного подвержено одному закону с падением тел, скорость которого увеличивается с тяжестью оных и с вышиною падения, или, чем время скучнее и мы чем старее становимся, тем оно скорее для нас летит <…>

8 февраля. Сквира

Не могу верить, что печальное известие, слышанное мною вчера, будто бы в газетах петербургских извещают о смерти *барона Антона Антоновича Дельвига*, было справедливо, пока сам не прочитаю[7]. Если, к несчастью, это известие <достоверно>, то какого прекраснейшего человека лишились все те, которые его знали. Нежный родственник, примерный муж, верный друг, присоединял он к этим редким качествам необыкновенное добродушие, приветливость и простоту в обращении, привлекавших к нему всякого, кто был столько счастлив познакомиться с ним. Эти прекрасные свойства души его не нужно было открывать в нем через долговременное знакомство; при первой встрече с ним их можно было видеть в его благородной наружности и обращении.

Достоинства его как писателя давно уже оценены. Поэзия его – отпечаток души, олицетворенные мечты, так же прекрасна, как и она; в ней является та же простота, та же чистота и изящность форм. В народной поэзии он явился самостоятельным гением – его песни, кажется, слышались нам в самой колыбели; они останутся у нас в памяти вместе с баснями Крылова.

Бедная Софья Михайловна! какая для нее потеря в то самое время, когда она только что начала носить имя счастливой супруги и матери! Ее положение должно быть тем ужаснее, что с ее пылкими чувствами она едва ли имеет друга, который облегчил бы ей перенесение такой потери. Я опасаюсь за ее здоровье [8].

9 февраля

Вчера получил я письмо от Анны Петровны, в конце которого она прибавляет: “Забыла тебе сказать новость: барон Дельвиг переселился туда, где нет *ревности и воздыханий*!” Вот как сообщают о смерти тех людей, которых за год перед сим мы называли своими лучшими друзьями. Утешительно из этого заключить, как в таком случае и об нас самих бы долго

вспоминали.

То, что она говорит про Софью Михайловну[9], тоже было мне не очень приятно читать, тем более что, два года живучи вне общества женского, мнение мое об них стало незаметно лучше. – Довольно об этом: остановившись на предмете, я выскажу более, чем еще в голове образовалось мыслей, которые, приняв однажды форму, уже выходят из власти нашей.

10 февраля

Туманского книги нам доставляют большое утешение; у него я взял теперь XII том “Истории” Карамзина. Слог его так увлекателен, что с сожалением оставляешь книгу, прочитав ее. Любовь, с которою он описывал великие события своей отчизны, дышит в каждом слове. Некоторые лица умиляют нас своею любовью к отечеству и возвышенностью чувств, например, Михаил *Скопин-Шуйский, Ермоген* и другие; даже неприятелям он отдает справедливость: *Болотникову, Делагарди*, гетману *Жолкевскому*.

Последние известия о важнейших делах в Польше не лишают надежды увидеть варшавский бунт усмиренным. Вследствие решения *Сейма Варшавы*, который объявил Польшу независимою, а престол оной упраздненным, повелел император вступить войскам в пределы царства, ибо мера терпения уже исполнилась, настало время наказать глупцов, не хотевших образумиться <…>

15 февраля

<…> Вчера полученный “Инвалид”[10] извещает о переходе наших войск границы Польского царства 24 и 25 января, которые жителями были встречены не только без сопротивления, но с хлебом и солью; число войск состоит из 103 батальонов пехоты, 130 эскадронов кавалерии и более 395 орудий. Найденными запасами обеспечено продовольствие войск <…>

24 февраля

<…> В караульне было так холодно, что я только пробыл до половины ночи; остальную я проспал дома. В манеже поутру я ездил тоже. Вечером возвратился из Бердичева полковник с известиями, что под Варшавою было кровопролитное дело, в котором мы хотя и одержали верх, но с потерею, и поляки очень хорошо дрались, и с важнейшим для нас (известием), что I

бригада получила повеление идти в *Дубно* и что нас ожидает то же и смотр послезавтра Кайсарова.

26 февраля

<…> Вчера вечером у стряпчего играли в фанты; это довольно было смешно, особенно для меня, отвыкшего от подобных *невинных* деревенских удовольствий <…>

27 февраля

Майор князь Трубецкой, недавно к нам переведенный из гвардии и которого посылали в Дубно курьером, привез сюда известие о втором деле, решившем судьбу армии бунтовщиков. Оно было также весьма кровопролитно и кончилось совершенным рассеянием оной на малые партии. Потеря с нашей стороны была очень значительна. Генерал от артиллерии *Сухозанет* умер от ран; даже говорят, будто бы и Дибич ранен <…>

28 февраля

Этот поход мне не по душе; я готов сделать всё возможное, чтобы избежать оного. Нужно же для этих безмозглых дураков переносить мне неприятности, которым совершенно всё равно, *Хлопицкой* ли или Константин с ними возится. Ах, когда бы мать согласилась на мою отставку, я был бы спокойным зрителем теперь, а не страждущим членом. Вместо того вот сколько времени, что не имеем спокойной минуты, кроме скуки, которою питаемся <…>

1 марта

Вчера после обеда мы точно получили повеление выступить в *Бердичев*, и сегодня мы оставляем *Сквиру*; я наряжен квартиргером и должен был еще отправиться в ночь, но успел отправить людей только в эту минуту <…>

Полагают, что мы далее Бердичева не пойдем; я душевно этого желал бы. Расставаясь, и моя трактирщица была со мною очень мила, просила меня непременно быть опять здесь в Сквире.

Бердичев. 5 марта

<…> Здесь время проходит для меня очень медленно и

скучно, особенно потому, что у меня нет денег. Голубинин, оставшийся в Сквире, привез мне письма от Анны Петровны и сестры. Первая пишет, что она чрезвычайно счастлива тем, что родила себе сына (!!), а вторая, что они во Пскове на ярмарке и что мать по следующей почте вышлет мне деньги – обстоятельство для меня чрезвычайно утешительное <…>

12 марта

<…> Время для меня проходит довольно скоро. За дурною погодою сижу поутру я теперь дома, читаю Vidocq мемуары о полиции. Он был главным сыщиком парижских воров, и его наблюдения за оными чрезвычайно любопытны[11].

По вечерам мы обыкновенно играем в вист, чем и оканчивается мое дневное занятие.

Кроме того, что я хорошо теперь ем, живучи с *Туманским,* других выгод и удовольствий бердичевская жизнь мне не представляет, и я бы очень был рад возвратиться в Сквиру.

Чем долее я веду нашу военную жизнь, тем более я чувствую все невыгоды оной; дай Бог только дожить спокойно до осени. Приехав однажды домой, мне нетрудно будет доказать, что, служа последним корнетом, потому что мое прошение о возвращении моего старшинства не уважено корпусным начальником, я не могу надеяться много выслужить.

17 марта

Третьего дня вечером, в то время, когда я с полковником сидел у Челищевых, на несколько дней сюда приезжавших, прискакал курьер от *Ридигера* с повелением по первому предписанию быть готовыми к выступлению через 12 часов по получении оного. Вот как он нас гоняет из одного места в другое! На другой день, т. е. вчера, получили мы и это повеление; но несмотря на оное, мы еще благополучно стоим здесь, а пойдет один полк графа Витгенштейна <…>

28 марта. Около Дубно

Сегодня Ушакова брат привез из Москвы известие, что Пушкин наконец женился[12], и поклоны от тверских сестричек. Говорят, что наш корпус назначен блокировать *Замосц*[13].

Савинов прислал нам литературных подарков: “Юрия Милославского”[14], “Поездку в Германию” *Греча*, которую я уже почти прочитал, и, признаюсь, без большого удовольствия. Об

книгах скажу, прочитав их, теперь же Туманский хочет спать и свеча мешает ему.

Вот наш маршрут:[15]

Марта 19	Янушков	28 верст	Марта 27	Мизоч	31
20	Город Любарь	32 –	28	Дубно	29
21	Лабунь	27 –	29	*Дневка*	
22	*Дневка*		30	Ярославичи	31
23	Середницы	17 –	31	Город Луцк	16½
24	Город Заслав	23 –	<Апрель> 1	Торчин	23
25	Город Острог	30 –	2	*Дневка*	
26	*Дневка*		3	Павловичи	
			4	Владимир *	

Конечный пункт маршрута полка, с которого началось наступление на Дверницкого под начальством генерала Ф. В. Ридигера.

10 мая. Местечко Кашовка

Вот уже десять дней, что мы окончив кампанию против *Дверницкого*[17], стоим здесь в углу Волынской губернии, в лесах Ковельского уезда, которые нам поручено очищать от взбунтовавшихся здешних помещиков под начальством *Ворцеля* и графа *Олизара*, составивших было несколько шаек, называемых *рухавками*, которые, однако, еще до прихода нашего были рассеяны против них посланными войсками, а со времени уничтожения *Дверницкого* и сам *Олизар* с Ворцелем скрылись[18].

Насчет будущего мы в совершенной неизвестности покуда; мы, т. е. 3 корпус, говорят, останемся здесь и пойдем вперед только в случае войны с *Франциею*, а как оную я полагаю столь же вероятною, как экспедицию в Китай, то и должно полагать, что (по этим слухам) нас не употребят более. – Ридигер с своим отрядом, однако, уже перешел *Буг*. – Из “Инвалида” же узнали мы, что одновременно с нами Крейц разбил Серавского и прогнал его за Вислу[19]. – Главная же армия, кажется, по сю пору ничего не сделала, кроме того <что> остановила неприятеля, преследовавшего ее до Венгрова[20].

На последних переходах сюда получил я почти неожиданно письма из дому и от Анны Петровны. Мать прислала и 600 рублей денег, которыми я сегодня уплатил полковнику мой долг. На оные я уже и отвечал.

Сестры пишут про редкие правила барона Бориса Сердобина[21], т. е. что будто бы он имеет намерение предложить свою руку Евпраксеи – для меня чрезвычайно трудно этому поверить, впрочем, невозможного тут нет.

Сознаться должно, что здесь стоять нам чрезвычайно скучно; одно у нас утешение, что на квартире полковника, у помещика в доме, есть биллиард, на котором зато мы беспрерывно и играем. – Меня ежедневно радует только то, как быстро проходит время, что до сентября уже осталось только 2 1/2 месяца. Этим только и живешь.

12 мая

Вчера пришло к нам много новостей: первую, что мы должны выступить отсюда с 3-мя эскадронами и 2 отделениями в Устилуг, а 4-й эскадрон останется здесь, привез граф Штейн бок, возвратившийся из отпуска, а прочие Голубинин из *Луцка*, где он дожидался возвращения из Бердичева Лошкарева, в окрестностях которого тоже появилась было рухавка, против которой послали только что туда прибывшие наши резервные эскадроны. Это часть шайки, набранной в Подольской губернии помещиком *Собанским* и другими, которую генерал Рот рассеял; часть оной даже была вблизи Сквиры, в 30 верстах оттуда она разграбила *Челищева* местечко *Ружин*, он сам, говорят, едва успел уйти. Рассказывают, что Рот, разбив бунтовщиков, несколько верст гнал их одними картечными выстрелами на ближнюю дистанцию и произвел ужасное кровопролитие[22].

В газетах прочитали мы подробное и красноречивое описание разбития *Серавского Крейцом* и реляцию об *Баромельском* деле и прогнании их за границу; то и другое никак не узнать из описания; в первом он <Ридигер> утверждает, что рассеял всю неприятельскую пехоту, которой и не было в деле, и что ночь не позволила ему преследовать неприятеля, тогда когда он на поле сражения оставил 5-ть орудий и неприятель в виду его всю ночь пировал в Баромелье. Что об этом он не упоминает, это естественно; но как не сказать ничего про полк, который один спас весь его отряд и его толстую фигуру[23]. Говорят, что мы в России служим из одной чести. Какая же тут честь, когда *храброго* и *труса* совершенно одинаково ценят: одного не награждают, а другого не наказывают. Из чего после этого должны мы служить? В постпакете[24], привезенном Голубининым, нашлось и ко мне два письма: одно от сестры, другое от Анны Петровны. Оба они давнишние и долго лежали в *Бердичеве*; сестрино письмо из Пскова с описанием веселостей, в которых они провели там

масленицу; Анна Петровна пишет много про Софью Михайловну и мало хорошего; разбирать тут трудно, тем более что она не говорит, чем виновата[25]. Семейственное ее благополучие не изменилось и всё еще стоит на высшей точке возможности – дай Бог, чтобы долго оно не упадало!

14 мая

Выступили из *Кошевки* по направлению к *Устилугу*. Но дойдя 16 числа до местечка *Торчина*, нашли мы в оном пришедшую туда нашу корпусную квартиру, почему и должны были сами расположиться на дневку не в самом местечке, а в ближайшей деревне *Борятине*. Здесь получили мы приказание не идти далее, а остановиться там, где найдем фураж, почему мы и перешли сюда, в село *Шепель*, деревню весьма незначительную, в дворов 40, с господским домом и пребойкою помещицею, в чем и заключаются все удобства оной; во всех других отношениях она преневыгодная для нас, ибо не только нет в оной квартир, но и жизненных припасов нельзя доставать; одно недальнее, 15 верст, расстояние от *Луцка* делает еще нам прокормление себя возможным.

24 мая. Деревня Шепель около Луцка

<…> Последние же новости из армии суть разбитие главных сил мятежников под начальством Скржинецкого при Остроленке, хотевших остановить новые наступательные движения Дибича; подробностей дела мы еще наверно не знаем, хотя об оном и было вчера благодарственное молебствие в Луцке [26].

Теперь только я замечаю, как странно, что я, тот самый, который прежде принимал такое живое участие во всём, что происходило не только в России, но и во всём образованном <мире>, ни малейше не имел любопытства узнать, о чем именно было молебствие, так что когда, возвратившись, полковник стал у меня расспрашивать новости, то я и не знал, что ему сказать. – Такое равнодушие (apathie) приписать мне должно или тому, что я уже столько раз читал о разбитии неприятеля, которые <!> никогда не имели никаких выгодных для нас следствий и после которых неприятель всегда нас встречал в превосходных силах (которые, не постигаю, с неба ли или из-под земли являлись), что я уже начал этим победам мало верить или же бесконечным толкам об этой войне, в которых никак не дойдешь до истины и которые путают известия одно с другим <…>

Наш же друг и приятель *Ридигер* находится теперь с своим

отрядом около *Замосця*. За истребление *Дверницкого* сделан он генерал-адъютантом – награждение не блистательное, но заслуг его не превышающее. Прочитав его донесение о сражении 6 апреля под *Хрениками*, где он отдал справедливость храбрым егерям № 19, 20 и прикрасил только свой успех взятием 4-х орудий, в сущности бывшие только пушки, валявшиеся в винокурне [27], мы ожидали, что в реляции 7 числа он и нам отдаст таковую же, но весьма ошиблись; в последней он только говорит, что "генерал Ридигер, атаковав неприятеля при местечке Баромели, совершенно уничтожил их пехоту". В этом донесении только две лжи, а именно: те, что ни его, ни пехоты польской не было в деле [28]. – Прошу после этого верить донесениям – чем же персидские, помещенные в "Северной пчеле" из похождений Хаджи Бабы, хуже наших[29].

25 мая

Образом нашей жизни нельзя похвалиться: он скучен до крайности. Мы не имеем удобств постоянных квартир, ни выгод и разнообразия военных действий, но терпим одни лишения и несносную неизвестность касательно будущего, которое можно только угадывать. Если Дибичу достаточно будет войск, которыми он в эту минуту действует, то, вероятно, не пойдем мы вперед; если же он присоединит к себе отряд Ридигера, то нас подвинут на его место – вот вероятности ожидающего нас в будущем. Об войне же с Франциею или с другой европейской державой я не стану и упоминать, хотя многие оной бредят, ибо должно слишком мало знать вещи, чтобы повторять такие невозможности.

Должность занятия квартир я взял добровольно на себя, предпочитая небольшие хлопоты, сопряженные с оной, скуке медленного движения полка. На этих двух переходах я имел мало вознаграждения за ночные переходы и голод, который я должен был переносить. Одно удобство было то, что последний день я не ехал верхом, а на подводе.

26 мая

Полк пришел сюда, в Устилуг, 27-го и расположился следующим образом: штаб и два эскадрона, 2-й и 4-й, здесь в местечке при дивизионной нашей квартире, лейб-эскадрон вниз по Бугу, в местечке *Корытницах*, 12 верст отсюда, а 3-й вверх по реке, в деревне *Изове*, в 4 верстах. Назначение наше есть охранение границы, по которой мы обязаны содержать

беспрерывные разъезды.

30 мая

Вследствие вчерашней тревоги, произошедшей от того, что *вчера* же утром в 10 часов толпа рухавки перебралась в верстах 20 отсюда через Буг в Польшу, та самая, которая была около Ковеля, получили мы (2-й эскадрон) *сегодня* повеление от господина *Лошкарева* вместе с 3-м эскадроном под начальством нового нашего подполковника *Булацеля* идти ее *преследовать* до местечка *Ухани*, в 40 верстах отсюда. Необъяснимый случай, что 3 эскадрон, будучи только в 4 верстах отсюда, и к которому утром еще послано повеление, доселе (6 часов пополудни) не прибыл, делает мало вероятным, чтобы нам удалось нагнать эту шайку, хотя и должно отдать справедливость мудрости распоряжений, которые предпринимали, *зная*, что они бесполезны <…>

1 июня. Устилуг

Выступив третьего дня в 6-ть часов вечера, шли мы без отдыха всю ночь, только раз остановившись, чтобы разделить принятые сухари, надели мы людям торбы. Со светом, подходя к местечку *Ухани*, услышали мы ружейные выстрелы. Полагая, что это, верно, нападение рухавки, подполковник *Булацель* приказал дивизиону идти рысью; около местечка встретили мы конно-егерский пикет, который не мог нам объяснить причину тревоги. Не дождавшись посланных вперед разузнать унтер-офицеров, бросились эскадроны в местечко, чтобы скорей самим подоспеть на поле битвы, которое должно было находиться за селением, ибо там был лагерь конно-егерский. – Мы уже проскакали большую часть деревни, как вдруг бросились к нам навстречу сотня казаков, бегущих от поляков; в улице, и без того не широкой, сделалась ужасная теснота от натиска с двух сторон, так что невозможно было подвинуться ни туда, ни сюда; одно средство было – выскакать назад из деревни, чтобы за нею опять построиться, – к нему-то толпа сама собой и прибегла. Через несколько минут после жестокой давки вся толпа выскакала из деревни, не преследуемая поляками; надобно ее было построить опять в эскадроны, что <стоило> много труда и крику, от которого я совсем охрип. Как скоро пришло всё в порядок, то Булацель послал меня с карабинерами 2-го эскадрона открыть неприятеля; в селении я его не нашел, а увидел уже за оным вправо от дороги Люблинской, от которой его фрунт был отделен оврагом. Чтобы удостовериться, что это точно неприятель, то с

одним карабинером я прокрался через сады к самому плетню, к которому он опирался левым своим флангом. Здесь я удостоверился, что между егерскими шалашами разъезжают действительно поляки, в шинелях и пики с флюгерами, следственно, вовсе не рухавка, а регулярные войска. Отсюда я возвратился опять на дорогу к карабинерам, откуда позиция их была виднее; передо мною было выстроено до трех эскадронов, которые сидели на конях; что же от них вправо тянулось, то нельзя было различить потому, что еще не совсем рассвело и что та сторона оврага, на которой они стояли, значительно возвышалась над нашей. Обо всём этом мною виденном донес я подполковнику. – *Уваров,* посланный налево, около деревни увидел пехоту и 3 орудия. Из сих донесений удостоверившись в превосходстве неприятельских сил и от усталости наших лошадей не будучи в состоянии напасть на него, решился подполковник отступить, чтобы накормить и дать отдохнуть лошадям, а казаков оставил перед селением, чтобы наблюдать за неприятелем, занявшим оное.[49]

Отправив казака с донесением об случившемся, отступили мы верст за 10 к первой деревне, где был водопой; подходя к оной, встретили мы и Ахтырской эскадрон, следовавший за нами. Здесь получили мы известие, что неприятель пошел обратно к Замосцю и что за ними следуют казаки. Отдохнув, пошли мы назад к местечку Городне, где на привале получили в ответ на наше донесение повеление преследовать и бить неприятеля; не имея возможности оное исполнить, полковник послал прибывшего с Ахтырской пехотой офицера *Туманского*, находящегося при корпусном начальнике и служившего у нас в полку юнкером, испросить новые повеления, во исполнение коих мы остались ночевать в местечке, а сегодня поутру возвратились в *Устилуг*. Неуспех нашей экспедиции должно всего более приписать, во-первых, тому, что мы слишком выступили, во-вторых, что изнурили лошадей сильным переходом, и наконец, еще неопытности и торопливости начальника.

3 июня

Носятся слухи о вторичном решительном поражении неприятеля при *Плоцке*, в котором неприятель потерял до 20 тысяч убитыми и ранеными, 7 тысяч пленными и всю свою артиллерию; говорят даже, что и Варшава сдалась. С нетерпением я ожидаю подтверждения всего этого как верного знака окончания нашей глупой войны <…>

5 июня

В пределы царства Польского вступил наш полк 5 числа сего месяца, будучи прикомандирован к 9-й пехотной дивизии, две бригады которой, под начальством дивизионного своего генерала *Куприянова*, с 8 легкими орудиями, наш полк с 4 конными № 5 и 2 казачьих *полка: Донской Попова* и Уральской – составляют отряд, простирающийся до 4000 глав пехоты и конницы, коих назначение есть, кажется, наблюдать за крепостью *Замосцем* и в случае нужды подкреплять Ридигера. Он расположен лагерем между селом и местечком *Грубешовым*, имея в тылу первое, перед собою второе, левым флангом упираясь к речке, протекающей местечко, который составляет пехота, поставленная в две линии, правым же выходит в открытые поля, где кавалерия может свободно действовать; оный составляем мы, имея между дивизионов свои 4 орудия. Если бы не чрезвычайно отдаленной водопой (за 2 версты), то позиция наша была бы довольно удобна. Из жита, в котором мы расположились, построили шалаши, защищающие нас от солнца и дождей, всё еще не перестающих, и мы лежим теперь в них, как медведи в берлогах.

10 июня. Царство Польское, лагерь при местечке Грубешове

<…> Из новостей самая любопытная, самая неожиданная и вместе печальная – есть известие, что главнокомандующим действующей армиею назначен *граф Эриванской* и что предместник его не перенес удара, а на другой день по получении сего известия скончался[30]. – Это происшествие так важно, что я ничего не смею сказать об оном, не зная подробностей. Одно только мне кажется странным: как сместить человека как бы неспособного, недавно еще славимого героем, поставленного на высшую степень величия гражданского.

После такой переменчивости может ли поступивший на его место быть уверен, что его при первом несчастье также не столкнут?

Теперь остается нам одно: желать, чтобы Паскевич оправдал доверие, которое к нему имеют, – тогда в короткое время забудут о существовании мужа, восстановившего честь нашего оружия за Дунаем <…>

24 июня. Устилуг

Кроме инспекторского смотра, бывшего 22 числа сего месяца,

у нас здесь ничего замечательного не происходило и ничего не было слышно из главной армии. Вчера вечером проехал только начальник штаба 1 армии *Красовский* в нашу корпусную квартиру: может быть, он привез какие-нибудь новости.

Не писав более месяца, удалось мне сегодня, наконец, окончить письмо к матери; кажется, если я прослужу еще несколько лет, то и переписки мои окончатся, потому что заметно, как я начинаю реже и реже всё писать.

Здесь в окрестности есть русское семейство *Палицыных*; хозяин, екатерининский полковник 80 лет, и хозяйка – добрые простые люди; у них три дочери довольно миленькие, но жаль, что одна простее другой, в их лета это очень некстати. Кроме их, в Устилуге я заслужил благорасположение двух девушек, сестер таможенного чиновника, которые, хотя и не красавицы и не очень молоды, однако, за неимением лучшего, сносных <!>

25 июня

Ходил наш полк на парад и вместе смотр, бывшие по случаю дня рождения императрицы и приезда начальника штаба *Красовского* в нашу корпусную квартиру. Место было назначено в верстах 15 отсюда – к *Грубешову*, в средоточии расположения корпуса, на левом берегу Буга, между селами *Городком* и *Выгоданкою*.

28 июня

Сегодня был здесь *Воейков*, поручик лейб-гусарского полка, а за месяц перед сим бывший корнет в нашем полку. Этот прыжок сделал он, съездив в Петербург с донесением о разбитии *Дверницкого*. Во время действий против него *Ридигер* посылал его с отрядами казаков для разузнания об неприятеле. За эти-то подвиги он, кроме полученного, представлен еще к Анне 3 степени и Владимиру 4-й. Если он всё это получит, то справедливо может сказать, что первая треть апрельской луны была для него счастлива. – Говорят, что мы будто бы пойдем вперед за Вислу: я этому не очень радуюсь, я обленился, да и пример такого счастья меня не завлекает, разве что перемена места немного развлечет и дадут полугодовое жалованье серебром – с другой же стороны, биваки скучны.

21 июля. Бивак под крепостью Замосцской

Простояв почти с месяц спокойно в Устилуге, двинулся наш

корпус в первых числах сего месяца через Буг и обложил крепость Замосц. Наш полк выступил из *Устилуга* 3 числа и пришел на настоящую позицию только 12 числа, с которого числа только и можно сказать, что крепость обложена.

Корпус наш состоит из 3-х бригад, 2 егерских и одной пехотной, из нашей дивизии кавалерийской и нескольких сотен казаков. Остальные полки остались за Бугом, а 10 пехотная дивизия и 2 бригада пошли к Ридигеру.

11 августа. Бивак под крепостью Замосцской

Месяц почти, что мы здесь стоим, и я так разленился, что во всё время не написал строки, между тем как случалось много достопримечательного.

Начнем с того, что касается меня в частности. Выступая из *Устилуга* 3 июля, я получил из Тригорского письма с известием, что сестра Евпраксея помолвлена за *барона Бориса Александровича Вревского*[31], всеми хвалимого молодого человека лет 25, с хорошим состоянием и ближнего нашего соседа – одним словом, партия, какой нельзя было лучше для нее желать, ибо если бы он был богаче, то это неравенство не было бы для нее столь выгодно. Свадьба назначена была в половине июля; одна холера, появившаяся в тех краях, затрудняла приготовления к оной. – Вслед за первым письмом я получил несколько их в короткое время одно за другим, от матери, Евпраксеи[32] и сестры, которой последнее обещает в скором времени сообщить столь же приятную новость и о *Сашеньке*; этому я еще не смею верить, но радовался бы столь же много, если не более, по многим причинам. Вот в какое радостное для нашего семейства время я осужден скитаться без пути и цели по концам земли! В первой раз счастье, кажется, улыбается нашему дому, а я не могу разделять с моими мне общее удовольствие. Не удивительно будет после этого никому, если я скажу, что эта война мне в высшей степени противна и что я всякий день теряю терпение и браню всех за то, что в течение оного не получено известие о взятии Варшавы <…>

Я с фланкерами нашего эскадрона находился между крепостью и форштатом, так близко к оной (на 2 ружейных выстрела), что ядра и гранаты все перелетали не только через нас, но и через эскадрон, шагов 500 стоявших за нами.

Мы стояли здесь в надежде перехватить тех, которые из местечка побежали бы в крепость, но, к несчастью нашему, из редута никто почти не ушел. С рассветом получил я повеление ретироваться вслед за эскадроном, но, не успев еще

присоединиться к ним, был остановлен для прикрытия пехоты, еще не отошедшей от местечка; тут начали по нас сильно действовать гранаты, которые стали лопаться между карабинерами, ибо стало так светло, что из крепости ясно нас было видно; чтобы укрыться от этих выстрелов, я с моими фланкерами спустился в лощину, где нас не было бы заметно. В это время услышали мы налево от нас в местечке крики “ура!”. Приняв оные за атаку казаков отряда *Лошкарева*, зажигавших деревню, я не обратил на это внимания, а остался на месте; но казаки донские с первого фланга моего поскакали туда, потом за ними и ахтырские с левого фланга; видя, что “ура!” всё не умолкает, я поскакал на высоту, закрывавшую от нас местечко, чтобы узнать причину оного. Оттуда я увидел, что казаки с ахтырцами, атаковав неприятельскую кавалерию, были опрокинуты оною. Против моего приказания, фланкеры мои были уже за мною. Не останавливая долее их рвение, пошел я с ними на неприятеля.

Наше появление остановило наших, а неприятеля принудило поворотить; мы погнались за ним и уже думали настичь его, бегущего в деревню, как вдруг перед местечком встретила нас пехота батарейным огнем; свист неприятельских пуль нас скоро остановил. В это время за нами показавшийся дивизион наш, который воротился, услыша наши атаки, не позволил нам выскакать из выстрелов, а остановил нас впереди себя. Никогда я не находился в таком сильном ружейном огне: под ногами лошадей пули падали, казалось, как редкой крупной дождь, а мимо ушей свистали, как рой пчел. Покуда эскадроны вздумали ретироваться шахматами и шагом, неприятель подвез два орудия и начал действовать гранатами; первые два выстрела были так метки, что оба ударили в наш эскадрон, но опять так счастливо, что не сделали никакого вреда. Первым сбило у гусара кивер с головы, а второй пронесло между ног лошади. Следующие выстрелы не могли уже нам быть столько опасными, ибо эскадроны сошли в лощины, а они потеряли направление нашей ретирады; это, однако, не помешало им еще убить ядром одну карабинерскую лошадь. Кроме сего, потеря в нашем эскадроне состояла в 5-ти лошадях, пулями раненных, – что, судя по огню, в котором мы несколько часов находились, весьма счастливо, особенно для карабинеров, между которыми разорвало несколько гранат; ружейные же пули так нас освистывали, что я под конец только тому удивлялся, отчего в нас они не попадали. Собственно наши подвиги этим кончились <…>

18 августа

В описании наших военных действий я был прерван поручением иного рода. Четвертого дня получил я повеление отправиться в местечко *Войславицы*, отдать владетельнице оного графине *Полетике* письмо корпусного начальника и просить ее приехать со мною в лагерь к Кайсарову. Всё это поручено мне было сделать с возможною вежливостью, но, не менее того, во всяком случае исполнить предписание. Выступив из лагеря с вверенным мне взводом, я встретил полковника *Фридерихса*, начальника корпусного штаба; он подтвердил мне наставления Плаутина об вежливости, прибавив, что посланный передо мною туда *Захаров*, полковник и командир корпуса квартирмейстеров, наделал там *глупостей*. – С такими наставлениями прибыл я вечером к месту моего назначения и, не объявляя своего поручения, занял в помещичьем дворе конюшню своему взводу и себе комнату в доме, а наконец явившись к графине, отдал ей порученное мне письмо. Покуда она читала его, имел я время рассмотреть лица, составлявшие круг, в который я в это время вступил неожиданным образом. После графини, женщины лет 40, с очень хорошим *тоном* и наружностью, бывшей в свое время прекрасною, вышла на сцену ее родственница и соседка, женщина уже в известных летах, но в которой еще видны были притязания на внимание мужчин. Наконец три молоденькие личика, из коих одна была дочь хозяйки, а другие также родственницы, обратили свое внимание на неожиданного гостя. Графиня не могла разобрать вежливого обращения Кайсарова, и удивление ее было велико, когда я на словах должен был объяснить оное; за оным последовали жалобы на неприличие оного, на шумный набег *Захарова* и ложный его донос, под конец слезы и разные причины, делающие невозможным исполнение желания Кайсарова. Тут, когда графиня так расстроилась, что должна была выйти, вступила в переговоры со мною, в должности домашнего дипломата, почтенная родственница; с ней-то уже на другое утро окончили мы дружелюбно условия, и в четверг графиня с двумя дочерьми (меньшая ребенок) в моем сопровождении отправились в коляске, несмотря на дурную погоду, в лагерь. Между тем успел я моих пленниц немного успокоить, уверив, как я сам думал, что когда Кайсаров увидит ложность донесения, то тотчас же их отправит назад. Подъезжая к лагерю, пушечные выстрелы начали пугать путешественниц.

К нашему несчастью, завязалась перестрелка на аванпостах; мы не застали Кайсарова, который был там, и я должен был отвезти графиню на назначенную ей квартиру – разоренный дом управителя, где помещалась разная лагерная сволочь; должно было нам и этим довольствоваться, ибо другого строения вблизи

лагеря не находилось. Совестно мне было поместить в такую мерзость наших гостей, и я ожидал приезда Кайсарова. Наконец он прислал за мною и стал расспрашивать про графиню; я успел его, кажется, уверить в неосновательности доноса, будто бы у ней есть заготовления оружия, военных припасов и т. п. Потом поехал он к графине, обошелся с ней очень вежливо, успокоил ее, но не отпустил, а оставил ее ночевать, между тем как в местечко к ней отправил отряд с генералом (каких много, к несчастью, у нас есть), чтобы сделать обыск. Дом, в котором находилась графиня, был весьма близко к нашей передовой цепи; всякой ружейной выстрел был им, не упоминая уже о пушечных, но несноснее самых выстрелов были внешние для них враги – блохи, которые нещадно их кусали. Одна надежда, что с этой ночью все настоящие и будущие неприятности их кончатся, давала мне дух оставаться при них. – Когда на другой день я благополучно отвез назад графиню, то ее приняли домашние как воскресшую из мертвых, а меня едва ли не как искупителя.

За исполнение этого поручения Кайсаров меня очень благодарил и вскоре в знак своей благосклонности дал другое, а именно: схватить одного *агента* революционного правления, которой старался организовать всеобщее восстание (Посполитое рушение[33]) и скрывавшегося в лесах около австрийской границы. Начальником экспедиции был нашего полка майор князь Трубецкой, а я был придан ему в роде офицера главного штаба. Его торопливость была причиною, что пан *Pomorsky* в наших глазах ушел в лес и мы только нашли его любовницу, молодую недурную женщину, еще в постели, из которой приятель успел только что выскочить. К счастью, сметливые егеря отыскали под полом амбара его бумаги, а то бы наша экспедиция не была блистательна <…>[34]

Сварив кашу и покормив немного лошадей, в полночь с 25 на 26 <августа> пошел отряд к селу Высокое, надеясь застать неприятеля еще на ночлеге. Кто испытал трудность ночных переходов, кто знает, как они утомительны для войска, как медленны – особенно в неизвестном краю, по проселочным дорогам без хороших проводников, как с нами это было, – тот не удивится, слыша, что отряд шел всю ночь до села *Высокого*. Там узнали, что неприятель расположился в небольшом фольварке[35] в нескольких верстах от селения. Чем ближе мы подвигались к неприятелю, тем осторожнее должно было идти, чтобы нечаянно не наткнуться на его аванпосты, и тем медленнее становилось наше движение. Вот открылся бивачной огонь – мы построились в боевой порядок; надежда на верный успех разогнала и усталость нашу, и сон. – Пошли вперед и… нашли пустой бивак на дворе

господского дома, где помещался, кажется, весь отрядец его, только что ушедший в противоположную сторону той, с которой мы приближались, и единственную, которая ему не была пересечена, по дороге или, лучше сказать, по тропинке, про которую, кажется, никто не знал из наших начальников. Она шла через болотистый ручей, сзади фольварка, который мы считали непроходимым, и вела в леса, которые отсюда простираются к югу по направлению к Янову.

Несмотря на досаду, что обманулись в ожидании нашем, мы так были уставши от похода в продолжение целого дня и ночи – уже рассветало, что каждый из нас рад был найти в господском домике уголок, где бы мог немного уснуть. Солома, разостланная по полу для поляков, пригодилась и нам, а у огней, ими разведенных, уселись наши гусары: так в военное время всё неверно и переходчиво! – Мы не захватили неприятеля по причине, не зависевшей от нас, по игре случая, всегда самовластного, особенно же в военных действиях, и против неудач коего никогда невозможно предостеречься. Аванпост наш из казаков, шедший по другой дороге, наткнулся в темноте на их аванпосты, приняв оные сначала за отряд *Гернета*, которого полагали встретить в этом направлении. Встревоженные таким образом поляки тотчас же поднялись и, благодаря своей счастливой звезде и *Гернету*, спаслись от плена.

Последний, то есть *полковник Гернет*, помог им следующим образом. С своим отрядом 300 человек отборных стрелков приближался он к неприятелю; на две версты встретил одного молодого человека, возвращавшегося из бивака польского и предлагавшего его проводить туда, и вместо того чтобы тотчас напасть на утомленного сильным переходом неприятеля, отступил назад и написал к нам *известие об своем намерении*, вследствие которого мы пошли на *Высокое*. Вот что значит иметь начальников неспособных – впоследствии этой же экспедиции доказал он даже недостаток благопристойной храбрости. – Но в нашей службе об ней и не спрашивают, вверяя кому-либо части войск какие-либо, застегнутые крючки и лоб, который бы не морщился от выговоров, а терпеливо бы сносил всё, чем начальство его ни жалует. – Не теряя еще надежды настигнуть отряд *Щенецкого*, генерал-майор Плаутин решился преследовать его далее. Чтобы не изнурять сильными переходами лишнее число войска, отправил он отсюда 1 дивизион обратно в лагерь, оставив у себя 3 и 4 эскадроны, 2 легких орудия и охотников 17 егерского полка. Узнав настоящее направление, взятое неприятелем, двинулся ему вослед 26 числа пополудни, имея, как и прежде, казаков в авангарде. На рассвете 27 числа подошед к

местечку *Янову*, узнали, что неприятель находится близь оного. Полагая его на дороге к *Завихостю*, отряд прошел быстро через местечко и вышел на оную, но не нашел его там. Между тем авангард открыл неприятеля, расположенного влево от оной дороги на опушке леса, который идет вдоль австрийской границы до самого *Завихостя*. Но так как между дорогою и лесом находится болотистая непроходимая речка, то и должны мы были возвратиться назад через местечко, чтобы добраться до неприятеля. Он был так близко, с полверсты, от оного расположен, что колокольный звон, вероятно, по предварительному условию с жителями, коим они дали знать ему о нашем приближении, мало дал ему времени приготовиться. Авангард наш, из казаков и гусар состоящий, бросился тотчас на неприятельскую кавалерию, но был остановлен ружейным огнем пехоты, засевшей в строении кожевенного завода и в кустах. Тут подоспели наши конные орудия, картечные два выстрела коих заставили улан первых бежать в лес; за ними вслед и пехота стала ретироваться, отстреливаясь и по возможности удерживая натиск наших егерей и фланкеров, чему способствовала густота леса. Несколько десятков пленных, захваченные вьюки офицерские на месте бивака и даже самого *Щенецкого* доказывали, как поспешно было отступление неприятеля. Верст семь по лесу гусары с казаками на рысях, а егеря бегом гнались за неприятелем, не дорогою, а тропинками, известными только тамошним жителям, и иногда в такой чаще, что нужно было перекликаться, как на охоте, что не только не утомляло людей, но оживляло их, придавая всему вид веселый; никто не замечал пуль, которые, свистя, ломали сучья над головами или, влепляясь в пни, щепили сосновую коры оных; как стая гончих, возбуждая друг друга кликами, как те лаем, искали только достичь предмет своей погони.

Пользуясь знанием мест, ему удалось при переходе через одно болотистое место обмануть наш авангард. Оставив часть пехоты ретироваться, всё отстреливаясь и удерживаясь по возможности по тому же направлению, по которому шел, сам Щенецкий с кавалериею и остальною пехотою повернул вправо и пошел к Завихостю. Хотя казаки и заметили скоро, что неприятельский след пропал, и потом успели скоро найти настоящий, но неприятель всё выиграл столько времени, что его снова только нашли тогда, когда он уже был против Завихостя, и дали время ему сломать мосты через речки, кои переходы он оставлял за собою. Несмотря на лесистую узкую песчаную дорогу, идущую вдоль австрийской границы, отряд, не останавливаясь от самого Янова, продолжал на рысях гнаться за неприятелем верст

25; ни орудия, ни пехота большею частью на повозках не отставали. У села *Боров*, в нескольких верстах от переправы через Вислу, неприятель сломал мост; ружейный огонь его не помешал скоро оный поправить, и у самой переправы отряд настиг неприятеля. Большая часть отряда оного была уже переправлена на остров, лежавший на середине реки, а офицеры уже на той стороне Вислы. – Меткими выстрелами орудий удалось нам разбить и потопить плот, на коем переправлялись поляки, так что оставшиеся под картечными нашими выстрелами на острову принуждены были сдаться. Мы тоже, не имея средств переправить их с острова, должны были довольствоваться тем, что несколько казаков, переплывя на остров, отобрали лучших лошадей и перегнали их вплавь на берег. Не рассудив за благо для нескольких десятков нам бесполезных пленных, тем более что уже начинало смеркаться, держать против них отряд на бивак <! >, Плаутин предоставил их собственному произволу и пошел в ближние деревни дать наконец отдых людям после столь сильных трудов.

Таким образом неприятельский отряд был рассеян; только малая часть оного успела с своими офицерами переправиться за Вислу. Число убитых и пленных было не так велико, как ожидать можно было по быстроте преследования, потому что отставшие люди имели все способы скрываться в лесу, выстрелы же кавалериста так неверны, что почти не делали никакого вреда неприятелю. Всё, однако, мы взяли человек 50 пленных, и, верно, было столько же убитых, если включить в то число тех, которые потонули в Висле с разбитого плота. – Мы потеряли также убитыми одного гусара и несколько казаков.

Всего замечательнее в сей экспедиции быстрота движения отряда. В течение суток он прошел от *Туробина* до *Завихостя* пространство, составляющее более 100 верст, в числе коих 25 верст рысью, не по *шоссе*, или большой дороге, а лесом и тропинками дровосеков, песками и часто болотами; в это же время он имел два дела с неприятелем, под *Яновым* и *Завихостем*, – и, несмотря на всё, не оставил ни одной лошади утомившейся, не потерял ни одной торбы овсяной. Для легкой кавалерии это подвиг, не менее похвалы заслуживающий, как и смелая, быстрая атака. Еще удивительнее то, что и два орудия легкой конной № 5 роты, несмотря на трудности дороги, несравненно для нее представлявшие более препятствий, успевали следовать за отрядом; <ни> одно из них ни разу на шаг не отставало от эскадронов. – Точно так же нельзя довольно похвалить рвение егерей: они делали всё возможное, чтобы ни в чем не уступать гусарам. Преследуя лесом неприятеля, казались

они веселыми охотниками, криком своим пугающих <!> одних робких обитателей дубрав, и кои встречают на каждом шагу не смерть, а только спешат на праздник.

Если станешь рассматривать движения обоих отрядов, то покажется, что успех нашего мог бы быть и полнее, и блистательнее, и совершен с меньшими трудами, чем оный стоил нам. – Когда 25 числа отряд, пришед в Старый Замосц (точка, с которой можно было действовать с равною быстротою на все стороны, где бы ни показался неприятель), когда узнали о числе неприятеля, то остановившись, скоро бы можно было узнать быстрыми разъездами о направлении, которое он взял, и одним ночным переходом на Желтки его, отрезав от *Завихостя*, принудить сдаться или начать дело в самых для неприятеля невыгодных обстоятельствах. С нашим превосходством сил и духом наших солдат успех не был сомнителен.

Другой столь же удобный случай захватить весь отряд Щенецкого представлялся тогда, как отряд, находясь под *местечком Торногурами* в ночи с 25 на 26 число, узнал достоверно по донесению *ротмистра Бакунина*, что неприятель, не ожидая нимало нападения, ночует весьма не в далеком расстоянии, менее 10 верст от нашего отряда. Ежели бы корпусный командир знал это обстоятельство, то, вероятно, не дал предписания возвратиться назад; следственно, на оное ссылаться не должно бы было, и предприимчивый начальник – качество, необходимое <в> кавалерийском генерале, – не упустил бы столь благоприятный случай сделать что-либо блистательное. А *Кайсаров* верно был очень рад таким успехом придать значение и важность своей блокаде.

Наконец из *Высокого*, где можно было уже убедиться, что неприятель ищет только перейти на ту сторону Вислы, а нимало не намерен нас беспокоить, возможно бы было послать офицера с несколькими десятками казаков или гусар прямо на переправу к Завихостю, чтобы уничтожить там все средства к переправе через Вислу, ибо в то время отряд был ближе от этого пункта, чем неприятель, который пошел на *Янов*. Тогда не осталось бы ему ничего другого делать, как бежать в Австрию, и то бы удалось в таком только случае, когда бы заблаговременно он узнал о случившемся, ибо, ретируясь на переправу и не имея на пятах неприятеля, он бы не успел воротиться от оной назад к границе австрийской.

По опыту, то есть по собственному, зная, сколько *русской задним умом крепок*, я не смею осуждать распоряжений начальника сей экспедиции. Но скажу только, что после я уже не имел столь высокого мнения о военных его способностях и что

когда в Торногурах при мне (проснувшись от огня, который подновили в бивачном костре, и от разговоров) получено было донесение об открытии неприятеля, то я тогда был того же мнения, что и теперь, т. е. что нам бы следовало тотчас идти атаковать неприятеля. *Щенецкой*, с своей стороны, сделал всё, что от него зависело. Он шел с необычайною быстротою по тропинкам, по которым трудно было поверить, что возможно пробраться. Удивительно, как пехота его выдерживала столь сильные переходы, как два последние его от Высокого к Завихостю; по следам видно было, что для облегчения она шла босая. – Пленные, все видные собою люди, говорили, что отряд был выбранный из разных полков, – и должно отдать справедливость, что, отступая от Янова, они храбро держались. – Цель же Щенецкого была, кажется, как после оказалось, приготовить для корпуса *Ромарино* переправу через Вислу, за коей он надеялся соединиться с отрядами *Ружитского* и *Каминского*, тогда как <!> сдавшимися в Сандомирском и Краковском воеводствах <…>

<…> Известие о взятии штурмом Варшавы получено было 30 числа;[36] его поспешили сообщить гарнизону крепости, предлагая оному сдать крепость, но предложение не было принято, и блокада продолжалась по-прежнему. Через несколько дней прислан был из главной квартиры в Варшаве офицер прежних польских войск с повелением от уничтожавшегося революционного правительства сдать крепость. Начальники крепости – их было много, потому что главный, комендант, имел весьма мало власти над гарнизоном, – из коих майор *Броневский* имел самое большое влияние, соблюдая все должные предосторожности, чтобы преждевременною сдачею не повредить делу, за которое они восстали, и чтобы вполне исполнить обязанности, возложенные на гарнизон, и тут не решились вступить в переговоры о сдаче, но просили позволения с своей стороны послать офицеров, дабы они могли убедиться в истине событий. Это и было им позволено, а до возвращения их прекращены были военные действия. Между тем, известясь о приближении корпуса *Ромарино*, преследуемого генералом *Красовским*, генерал *Рот* для содействия оному оставил перед крепостью достаточное число войск для содержания аванпостов, с остальными к <*нрзб.*> присоединил бригаду улан и несколько пехотных батальонов своего 5 корпуса, выступил 2 сентября из-под Замосця и ночевал около Щебрженша; 3 числа отряд дошел до села *Черничина* близ местечка *Туробина*, а 4 числа, узнав о разбитии Ромарино под местечком *Ополья*, не доходя до села *Божоволи*, слышали мы канонаду *Раковского* дела, впоследствии

коего было бегство Ромарино в пределы Австрии.

Только 5 числа подошел наш отряд к корпусу генерала *Розена*, стоявшего близь австрийской границы у села *Борова* на том самом месте, где мятежники перешли границу и где они выпустили последние выстрелы из 40 своих орудий, против коих весьма удачно действовали 4 легких орудия нашей № 5 конной роты, находившиеся в то время при конно-егерской бригаде[50] *генерала Пашкова*, преследовавших неприятеля. Это первой случай, в котором наша артиллерия смыла пятно Баромельского дела, в котором *она без выстрела потеряла* 5 *орудий*[37].

Несмотря на то что корпус *Ромарино* быстрым своим отступлением, недостатком в продовольствии уже несколько дней (с тех пор, как Красовский его преследовал, не имели мятежники ни минуты отдыху) совершенно деморализован и расстроен, ибо солдаты уже не только не дрались, но и не хотели слушать офицеров и толпами передавались к нам или, бросая ружья, скрывались в лесах, – удалось некоторым из членов прежнего правительства, вышедшим с корпусом из Варшавы, а именно: Чарторыжскому, *Лемьи* – завлечь бессмысленную толпу в Галицию обещаниями, что там найдут свободу и помощь. Обманутое такими лживыми уверениями, войско сначала было и не хотело складывать оружия, и только угрозою австрийского начальника пограничных войск, что в противном случае он вместе с нами силою принудит их к тому, заставило оное обезоружиться. Солдаты, видя себя таким образом обманутыми, предпочли возвратиться назад; в продолжение нескольких дней они сотнями переходили назад. Зная, что их распускают по домам, они просто не являлись ни к какому начальству, шли каждой восвояси. И, что всего удивительнее, несмотря на большое число таких людей, без способов прокормления шатавшихся, впоследствии нигде общественное спокойствие не было нарушено ни бродяжничеством, ни разбоем – черта, которая дает выгодное мнение об нравственности народа.

Если бы наши корпусные начальники *Рот* и *Кайсаров* заблагорассудили ранее выступить из-под Замосця, то, вероятно, ни Ромарино с корпусом, ни Чарторыжскому не удалось бы *<нрзб.>* в Галицию, а отрезанные от Австрии принуждены бы были сдаться, что нам принесло бы много славы. Но это было не в их плане: они пошли, чтобы только сказать, что ходили. Впрочем, истину нам, фрунтовым людям, *угадывать* только можно. Кроме представлений, выгод бы других от этого, конечно, России не было. – Поляки, верно бы, попытались пробиться, завязалось бы дело, которое без потери с нашей стороны не могло бы быть, а по-моему, жизнь одного солдата должна быть драгоценнее самых

блистательных реляций. – Итак, может быть, к лучшему, что Ромарино не воспрепятствовали убежать в Галицию <…>

Блокада *Замосця* имела еще ту выгоду для нас, что без всякой потери полки, наполненные рекрутами, приучила к войне, при окончании военных действий батальоны были комплектные, а наша дивизия в таком состоянии, какого нельзя лучше желать в материальном и моральном отношении.

В последнее время стояния нашего под *Замосцем* неожиданно сделалась в службе моей весьма выгодная перемена; я сделался полковым адъютантом совсем случайно. В отсутствие генерал-майора *Муравьева*, нашего бригадного, Плаутин (за Баромельское дело произведенный в генералы) назначен был командовать цепью аванпостов, почему и переехал в лагерь казаков; *Шедевер*, исправлявший должность полкового адъютанта (настоящего в полку давно не было), отправился с ним туда же, на время же занял я его место у командующего полком подполковника *Булацеля*. Когда через неделю *Плаутин* возвратился в полк, то *Шедевер* не взял у меня назад своей должности, потому что *Плаутин*, оставляя его при себе как будущего своего генеральского адъютанта, желал, чтобы я исполнял должность полкового с тем, чтобы уже оным и остаться впредь при будущем полковом командире, коего назначения он ежедневно ожидал, а тем бы познакомился с моею будущею обязанностью.

Я этим был весьма доволен уже и из той одной причины, что в холод осенней ночи не обязан был ездить на пикеты. Приятно мне было также выдти из отношений подчиненного к моему эскадронному командиру г. Ушакову, который хотя и добрый малый, но глупый и несносный начальник.

Не упомяну уже о том, сколько приятно было мне сблизиться с человеком столь любезного и благородного характера, как Плаутин, по службе находясь при нем. И честолюбивым моим мечтам открывалось тут же новое поприще.

Кроме *Шедевера*, в полковом штабе я нашел столь же доброго сослуживца *Голубинина* и так же мне благоволящего; мы стали служить вместе, и я на некоторое время увидел перед собою преприятную службу.

Пользуясь близким квартированием нашим, ездил я посетить графиню *Полетику*, которую недавно возил к *Кайсарову*, но не остался доволен ее вежливым приемом; это семейство слишком либерально и исполнено *патриотического* духа, чтобы благосклонно смотреть на русского офицера; от этого другой раз и не поехал к ней. Я не люблю этих предрассудков, кои не различают правительства или народ в целом от частного лица. У меня привязанность к родине смягчена космополитизмом, вместе

предохраняющим меня и от народных слепых ненавистей. Я не смотрю завистливо на трудолюбивого *немца*, которого иногда справедливо и даже против воли предпочитают самонадеянному невежеству любезного соотечественника; не вижу в каждом поляке своего *врага*, в французе только *хвастуна* и т. д. Этим я, кажется, обязан *истинным либеральным* правилам, кои я почерпнул в университете в борении с себялюбивыми *землячествами* (*Landsmanschaften*).

В конце октября пошли мы на назначенные нам квартиры в Краковское воеводство. Переправясь в *Рахове* через Вислу, пошли мы вверх по оной на Завихость и Сандомир. Последний замечателен не только красивым своим положением на высоком песчаном берегу Вислы, но и древностью своею. Он был некогда, до времен христианских, первою столицею королей польских; в нем воздвигнута первая христианская церковь в этих странах[38]. Это преимущество оспаривает у *Сандомира* одна только церковь в *Кракове*, которая там стоит на площади, малая, недалеко от прекрасной готической во имя какой-то Богородицы[39]. *Сандомирская* кафедральная церковь есть красивейшее здание готическое во всей Польше. Внутренность церкви писана альфреско и довольно дурно; рисунки изображают исторические события, из коих любопытнейшее и любимое живописцем, ибо изображено несколько раз, есть нашествие татар в XIII веке на этот край, во время коего они перерезали в церкви всех монахов, которых там нашли. Я заметил, что на рисунке, изображающем избиение монахов, у всех татар выковырены были глаза; спросив о причине, узнал, что этим правоверные мальчики показывали свою ненависть к мучителям иноков. Не столь же слепа ненависть и у нас часто бывает, взрослых!

Здесь же можно видеть, в числе других гробниц, памятник знаменитого архиепископа краковского *Солтыка*, которого во время *Барской* конфедерации[40] возили в Сибирь, что и изображено на гробнице.

Чем далее мы шли внутрь края, тем менее встречали следов возмущения; не видно было нигде опустошения: разоренных селений, необработанных полей, истоптанных жатв и прочего. Даже самые умы казались спокойнее и несравненно менее против нас предубеждены в этом сердце Польши. Вероятно, это от того, что, так как прежде революции во исполнение трактатов эти воеводства не заняты были войсками польскими, то и во время восстания они имели менее воинственного духу. Во время же революции здесь формировались только резервы польских войск. – *Посполитое рушение* этих воеводств под начальством *Ружицкого* и *Каминского* окончило воинские подвиги, состоявшие

только в том, что нашило себе *военные мундиры*, общим бегством при первом появлении наших войск, и *Красовскому* не стоило больших потерь загнать в Краковское воеводство тех, которые спокойно не возвратились восвояси. Других военных действий здесь не было. По этим причинам в миролюбивых здешних жителях и стали для нас заметнее добродушные и гостеприимные черты польского народного характера. Говорят, что здесь, в окрестностях *Кракова*, более, нежели где-либо в Польше, сохранилась простота нравов. – Помещики, те, которые остались, принимали нас довольно дружелюбно и явно, особенно уже пожилых лет, винили возмутителей, погрузивших в такие бедствия еще недавно цветущий край, в безрассудности. По неоспоримости истин должно бы было считать их суждения откровенными, но совершенно полагаться на это нельзя, ибо поляк до той степени приветлив, что из вежливости не остановится утверждать противное того, что он мыслит.

Ноября 3 числа пришел полк на зимние свои квартиры в *Стопницу*, обводовой[41] город *Кельцкого* воеводства, лежащий недалеко от Вислы, расстоянием от *Кракова* в 12 милях. Первая забота была, разумеется, отыскать *удобные* квартиры, т. е. такие, которые, кроме обыкновенных выгод дома, соединяли бы и не менее для нас *важную – хорошеньких хозяек*.

С первого взгляда на городок мы убедились, что выгод первого разряда нам ожидать нельзя; с трудом мы нашли для себя такие квартиры, где можно было поместиться, и то должны были стать вместе с хозяевами. Один только *Голубинин*, приехавший ранее, занял себе порядочную квартирку, единственно, однако, потому, что в ней была хорошенькая молоденькая хозяйка. Эта теснота в помещении полкового штаба и побудила Плаутина переехать в село Сборов в 4 верстах от Стопницы, где оставался пустым большой прекрасный каменный господской дом госпожи Виелоглоской, находившейся в то время в *Кракове*. С ним вместе переехали туда Шедевер, Голубинин и я с полковой канцеляриею. Плаутин занял средний, или бельэтаж, мы верхний, а канцелярия помещена была в нижнем. Дом нашли мы преудобным: просторным, теплым и порядочно меблированным. В числе мебели нашли мы биллиард, который тотчас и поставили.

Жители приняли нас в Стопнице и окрестных местечках, где расположились эскадроны, лучше, чем бы полагать должно было после народной войны. Старожилы смотрели на нас как на знакомых, ибо случайно наш полк стал теперь в тех же самых местах, в которых стоял после французской войны в 15 году. Ротмистр *Адамов*, единственный офицер, оставшийся от того времени, нашел еще старых знакомых. Шумную, веселую жизнь

тогдашних *белорусцев* еще свеже помнили некоторые из стариков помещиков и с восторгом вспоминали, как дружно они тогда вместе гуливали. Этот героический век наших гусаров *Бурцовых* и других давно уже миновался у нас; у них же, оставшихся на том же месте и едва ли не на той же самой точке просвещения, склонность к несколько буйным удовольствиям осталась; как предки свои, они смело еще пили *венгерское* и радушно потчевали им гостей своих. Эта несоответственность вкусов была теперь, может быть, причиною, что мы менее сошлись с жителями, чем предшественники наши, судя по тому, что гласит предание. Женщины и теперь остались верными себе: они встретили нас столь же благосклонно, как и прежде. Пользуясь близостью *Кракова*, который еще занят был нашими войсками, *Плаутин, Шедевер* и *Голубинин* тотчас же поехали туда; во всём штабе остался один я и майор наш, князь *Трубецкой*. Я переехал в *Стопницу*, куда скоро из Кракова возвратился и *Голубинин*. Вдруг дали нам знать, что денежный полковой ящик, находившийся в Сборове и при коем оставался ефрейтор караульным, разбит. Тотчас же я с Трубецким поскакали в Сборов освидетельствовать неслыханное в русской армии событие (исключая один пример в каком-то конно-егерском полку, где часовые увезли целый ящик). Точно, мы нашли замок от ящика отбитым, печати сорванные даже и с внутренних ящиков, в коих хранилась денежная сумма тысяч до 30 рублей; но, к нашему непонятному счастью, оная (оказалась) нетронутою – недоставало только одного рубля серебром, который лежал особенно. Это успокоило нас, бывших в весьма неприятном положении; меня, с получения известия о случившемся, заставляло надеяться, что деньги целы, то, что ни один из караульных не скрылся. – Арестовав тотчас тех часовых, которые стояли в продолжение ночи, в которую это случилось, Трубецкой стал их допрашивать, но напрасно: никто не сознавался, почему и оставили разыскание дела до возвращения Плаутина. – Со всяким другим начальником и человеком этот несчастный случай мог бы меня ввести если не в большую ответственность, то, по крайней мере, в неприятности, но он, как рассудительный, видя, что это было не от моего нерадения к службе, даже, я уверен, и не подумал меня в чем-либо тут обвинить – не только чтобы показал свое неудовольствие. Деньги нашлись все в целости – над виноватыми поручили Трубецкому сделать следствие – и дело было забыто. Через несколько недель, когда Трубецкой уехал в отпуск, не открыв виновного, приказал Плаутин, примерно наказав ефрейтора и часовых, в стояние на часах коих преступление случилось, распустить их в эскадроны. На одном из последних явно лежало подозрение как на известном

мошеннике, почему я и наказывал его очень сильно, – на другой день сознался дурак, что это он точно отбил ящик. – Плаутин возвратился из Кракова в очень хорошем расположении духа, всем показывал покупки, которые там сделал, утверждая, что они обошлись очень дешево; мы, т. е. штабные, соглашались с ним в ином, подшучивали в другом, особенно же радовались запасу *винному*, который он оттуда привез.

Через несколько дней вслед за этим прибыл из *Кракова* и другого рода запас. Приехала дама его навестить, с которою он там познакомился и пригласил к себе заехать по пути в Варшаву, куда она утверждала, что едет хлопотать о позволении для возвращения в Польшу своего мужа графа *Косовского*, офицера революционных польских войск, перешедшего в Галицию. Она осталась с *нами* пожить недели две и чрезвычайно оживила однообразие монашеской жизни нашей. Родом вольная гражданка Женевы, полуфранцуженка, она чрезвычайно скоро нашлась в довольно затруднительном своем положении. Не будучи вовсе красавицею, любезностью своею и приветливым своим обращением скоро приобрела она благорасположение всего нашего полкового семейства сборовского. С первого взгляда наружность ее не показалась привлекательною, но, узнав другие ее милые качества, <я> забыл об этом и очень полюбил ее *без всяких намерений*. Она также вскоре познакомилася со мною короче и благоволила ко мне. Мои же любовные поиски в это время обращены были совсем в другую сторону.

Хорошенькая хозяйка Голубинина, жена уездного землемера господина *Черинга*, истинного *патагонца*, которые, несмотря на 6 футов росту, бывают так же, как и другие, с рогами, обращала на себя всё мое внимание.

Несмотря на переселение наше в Сборов, эта квартира за Голубининым оставалась, и, бывая часто в городе, мы останавливались всегда в ней. Долго не имел я случая с нею познакомиться; я видал ее только у окна или в общей кухне; болезнь мужа ее, лежавшего в постеле, не позволяла мне идти познакомиться с ним. С моею застенчивостью и недоверчивостью к себе, овладевшею мною еще более с тех пор, как в Сквире я напрасно за двумя трактирщицами волочился, – довольствовался я одним старанием встречаться почаще с красавицею в коридоре или ходить мимо окон.

Однажды, приехав с Голубининым, вечером удалось мне в коридоре, разделявшем их половину дома от нашей, встретить мою черноокую младую… Я стоял на одном крыльце, которое к улице, она на другом, которое на двор, и никак не решался подойти к ней. – Двери к нам в комнаты были у того крыльца, у

которого я стоял, – против наших; следственно, чтобы возвратиться из кухни, откуда шедши она остановилась не ведаю что смотреть на дворе, к себе, должно было ей идти мимо меня. Как скоро она предприняла это движение, то я пошел навстречу к ней; на поклон ее и приветствие отвечал я таким же, как водится; сказал ей что-то о погоде, на каком же языке – и сам того решить не могу; она же, отворив двери, пригласила взойти к ним. Я так этому обрадовался, что не пошел тотчас за нею, а бросился к Голубинину в комнату сообщить ему неожиданное это событие и чтобы вместе с ним идти. Хозяина дома нашли мы лежавшего в постеле от лихорадки, которая начинала уже проходить у него. И так как он говорил по-немецки и по-французски, то мы без всякого затруднения и беседовали. Говоря с ним, занимался я, однако, более его женочкою, которую теперь в первой раз мог хорошенько рассмотреть. Она была молода, лет 20 (после узнал я, что ей только 18 лет и что она родилась со мною в один день: я 17 декабря старого стиля, она 29 нового), казалась росту среднего, очень стройного, несмотря на то, что довольно плохой капот ее на вате, обыкновенная одежда полек, не обрисовывал стана. Отличительные черты лица ее были большие кругловатые черные глаза, высокий лоб, белизна коего казалась еще ярче от черных как смоль ее волос, и маленький ротик, который, улыбаясь, открывал ряд перловых[42] зубов. От внимательного моего взгляда не укрылись хорошенькие ее ручки, которые так я люблю! – В выражении лица ее не видно было особенных, блестящих качеств ума, но зато умильные, томные, влажные глаза ее обещали многое тому, кому бы удалось вблизи всмотреться в них. – Первым этим посещением остался я очень доволен.

Через несколько дней, будучи в городе, заходил я опять к ним и нашел уже хозяина выздоровевшим, а красавицу еще милее прежнего, но сказать это ей старался я только взглядами, всегда понятными тому, кто захочет в них читать. Кроме молодых супругов, только год еще в супружестве живших, была еще в доме и третья особа, молодая девушка, родственница хозяйки, которая была бы хорошенькою, если бы, к несчастью, не хромала весьма заметно, что портило ее талию и делало ее еще меньше, чем она была ростом. *Panni*[43] *Ewa Jurkowska* была очень добрая девка и впоследствии мне очень полезная; ей-то публично посвятил я себя. – В *Николин* день, 6 декабря[44], назначен был церковный парад, этот же день избран был местным начальством города для возобновления присяги; все жители были в церкви и после на параде любовались нашим блестящим мундирам <!> – в том числе, разумеется, и моя красота. Возвратясь после оного домой, слезая с коня, я встретил уже ее и, в ответ на приветствие мое,

услышал от нее уверение, “que je ne dois pas douter de son cœur”. – В восторге успел я только произнести: “Charmante”[45], – как уже она скрылась, опасаясь, чтобы нас не застали вместе. Никак я не ожидал столь скорого успеха и объяснения на французском языке (правда, какого-то особенного наречия, вроде нашего нижегородского)[46], чрезвычайно довольный тем, что я теперь в состоянии буду объясняться на языке, обоим нам понятном. В следующий приезд мой застал я ее одну дома и только что после первого поцелуя хотел насладиться вполне упоением чувств, о котором давно уже мне только снилося, как на несчастье приехал какой-то *католик*, а потом возвратилась домой Ewa. Другой вечер просидев с ними втроем – муж играл у приятелей в вист, – я убедился в том, что при первом случае вполне буду владеть моею прелестницею. Она не отказывала мне ни в чем, что прихотливое воображение мое ни придумывало в замену высшего наслаждения, которого лишал нас третий собеседник. В этого рода подвигах я не был уже новичком; двухлетняя опытность собственная с двумя девами, с коими незаметно от *платонической* идеальности я переходил до *эпикурейской* вещественности, поверяя на деле всё, что слышал от других, и кои, несмотря на то, остались *добродетельными* (!!), как говорят обыкновенно, – служить может порукою в моих достоинствах. Ожиданный отъезд мужа в уезд по делам был условлен для будущего свидания. Этот желанный день и наступил скоро. После *вечера*, так же проведенного, как последний, ночь увенчала мои страстные желанья, развернув вполне передо мною объятия любовницы, в которые я ринулся с трепетом первых восторгов юноши. Отвыкнув от благосклонностей красавиц, я едва верил своему счастью; прощаясь вечером с моими собеседницами и получив уже согласие через час возвратиться к той, которой влажные, блуждающие взоры и неясное лепетание уст увлекательнее всех очарований, высказывавших ее томление чувств, я опять был раз в жизни счастлив, как редко им был! Вот прошел условленный час – я осторожно отворяю скрипучие двери, одни, другие, – и я уже там, где покоится моя краса, одна благосклонная темнота скрывает ее…

Вот был первый приветливый на меня взгляд своенравной богини Фортуны с тех пор, как я пошел на поле брани за ее дарами. После трехлетних неудач во всех моих надеждах, беспрерывных нужд, неприятностей ежедневных, горького опыта, кажется, навсегда исцелившего не только от надежд, но и от желаний, – потеряв наконец веру в самого себя, способность к чему-либо, – это была первая радость, проникшая в душу мою, первый луч света, озаривший мрак, который облег ее. Я сделался

испытанным столь недоверчив к самому себе, что едва сам верил своему счастью (удаче, сказать лучше, но для меня казалось это именно счастьем).

Мои ощущения были тем живее, что я никогда еще с такою полнотою не наслаждался дарами Пафийской богини[47]. Анна Петровна, единственная почти предшественница этой, не довольно их делила со мною, по причине, быть может, моей неопытности, и, несмотря на *страсть* мою к ней (никого я не любил и, вероятно, не буду так любить, как ее), я не столько наслаждался с нею.

Другие были девственницы или в самом деле, или должны были оставаться такими. Эта сила ощущений, для меня новых, и заменяла во мне так называемую любовь к моей красавице; и несмотря на то, что не имела она ни блестящего ума, ни образованности, ни ловкости, которая могла бы меня в нее заставить влюбиться, – ее <…> добродушного нрава достаточно было для того, чтобы всякой день меня более к ней привязывать, тем более что случаи к свиданиям нашим были довольно редки, чтобы могли мы друг другу наскучить. Отъезды мужа давали их нам только <…> Я радовался, что чувствовал в себе нечто похожее на любовь, сей пламень, всё оживляющий. Тот не совершенно счастлив в любви, кто не имеет поверенного. Я имел их разного рода.

<…> *Но венками Леля* не ограничились в этот раз дары слепого счастья. Между роз вплело оно и лавры, коих еще менее, чем первых, я ожидал и кои были, может статься, от того еще значительнее. – В числе 4-х офицеров, награжденных за кампанию, к удивлению моему, нашел я и себя награжденным чином *поручика*. Мне, последнему *корнету*, не только не бывшему в комплекте, а числом, кажется, 30-му, подобное и во сне не снилось: всё, чего я мог надеяться, – это была 4 *степени Анна*, к которой я был представлен, – награждение, справедливо сравниваемое с *коровьею оспою*. К моему счастью, у нас было так мало поручиков, что я стал 7-м, следственно, мог вскоре ожидать и дальнейшего производства. Этим нечаянным награждением обязан я был, во-первых, корпусному начальнику нашему *Кайсарову*: оставшись довольным исполнением собственных поручений его, на меня возложенных, представление мое к *кресту* переменил он к чину. Потом и за это, как и за многое другое, обязан я прекрасному полу, потому что в оба поручения, сделанные мне *Кайсаровым*, вмешаны были женщины. Так в военной службе я всем обязан им. Ради прекрасных уст *Анны Петровны генерал Свечин*, ее постоянный обожатель и следственно несчастный, выхлопотал, что меня в несколько дней

приняли в службу, а графиня *Полетика* дала мне чин поручика. – Какая же святая выхлопочет мне теперь отставку!!!

Незадолго перед сим воспользовался я и последовавшим разрешением отпусков, подав в конце ноября прошение об оном на четыре месяца. Жизнь наша в Сборове, несмотря на свое однообразие, останется у меня в памяти как время, весьма приятно проведенное. Занятия мои по службе полкового адъютантства были весьма незначительны; как и прежде во время моих предместников, *Плаутин* сам занимался полковыми письменными делами. В другие части должности этой я также мало входил, а передавал только ежедневные приказания и исполнял то, что именно мне было поручаемо.

<…> Обыкновенной порядок дня у нас был следующий. Около полудня мы сходили с *делами* вниз к генералу; окончив их и особенно *завтрак*, отправлялись в *биллиардную*, между тем графиня наша одевалась. Обедали в 4 часа, весьма вкусно, ибо, кроме весьма доброго краковского вина, приятная *семейственная* беседа нашей гостьи, очень веселого нрава, приправляла наши яства. Вечер, если не уезжал я к моей красавице, то оставались мы вместе часов до 9-ти, потом уходили наверх и заключали день партиею виста. – Сначала был Плаутин очень застенчив против нас и не знал, как поставить себя, что было для меня весьма забавно. Я едва мог себя удерживать от смеха, когда он в первые дни торжественно вводил в столовую, где мы почтительно стояли, свою гостью. Но скоро мы обжились, она привыкла к нам и, без зазрения совести говоря, что я принадлежу к семейству, при мне дурачилась, врала и нежничала с Плаутиным. Я, однако, вел себя чрезвычайно осторожно, нисколько не волочился за красавицею, но любил ее и с нею быть единственно ради ее любезности и добродушия. – От нее же я узнал весьма для меня приятное обстоятельство, что Плаутин ко мне благорасположен, в чем я не очень был уверен, несмотря на то, что при нем находился. Это сказала она мне однажды, когда мы обедали вдвоем; у нас за общим столом было много чужих, и случилось, что мне не осталось места, почему я и был с нею, – признаваясь, что сначала я ей не очень понравился и показался *fat*, что на наш язык довольно трудно перевести, разве: *много воображающим о себе*; говорила, что Плаутин заступался за меня, называя очень добрым малым, и что это только педантизм молодого студента. Она уверяла даже, что он *любит* меня. Душевно рад был бы я, если точно бы так было, но никак далее *благорасположения* я не могу распространить его чувства ко мне. Сам же я точно люблю и уважаю его <…>

Первая моя мысль была, прежде чем поеду домой, съездить к

брату в *Ченстохов* и узнать, как он живет. Получив позволение Плаутина, я и отправился туда <…> Выехав, пришла мне в голову (о любовь, это твой грех) мысль ехать не в *Ченстохов*, а в *Краков*, чтобы там сделать некоторые покупки себе и моей красавице, рассуждая, что брату большой радости от того не будет, что он меня увидит, и что денег ему теперь так нужно быть не может, ибо жалованье третное он только что получил. Ежели же я бы к нему приехал, то должно бы было ему дать или денег и остаться, не ехав в отпуск, или не дать и ехать – также неприятное обстоятельство. Сообразив всё это, подстрекаемый желаньем привезти подарков красавице, поехал я в Краков.

Этот поступок не прощу я себе никогда, что ради красавицы моей не захотел я взять на себя труд проехать сотню верст, чтобы побывать у брата, узнать его обстоятельства, тем более что, ехав домой, я мог бы помочь в том, в чем он нуждался, объяснив всё дома. Но такова наша слабость, что неприятности двухдневного пути остановили меня в исполнении должного, которому предпочел приветливый взгляд женщины! Скоро познал я всю слабость, *весь эгоизм* свой – раскаивался в оном и теперь каюсь, но этим не могу помочь невозвратимому. Хорошо, если после сего впредь я не впаду в подобный поступок; он останется всегда темным пятном на памяти моей, которого ничто не изгладит.

Краков мне показался первым истинно иностранным, европейским, где нет следов русского, городом. Неправильные узкие улицы, готическая архитектура зданий, атмосфера, напитанная дымом каменного угля, которым отапливается весь город и которая сильно поражает обоняние при самом въезде в город; мелкая промышленность германская, соединенная с порядком даже в самой прислуге гостиниц, – всё это с первого взгляда показалось если и не ново (потому что, живучи так долго, как я, в Лифляндии, немецкий быт мне был известен), то вполне европейским.

Мундиров, к которым наш глаз так привык, не видно было нигде: наши войска были уже выведены, городские же войска, несмотря на свои медвежьи шапки, не имели воинского вида. Также и польских либералов с трехцветными галстухами и палицами немного встретил я в продолжение двухдневного моего пребывания. Мудрый сенатор республики самых пылких из них принудил удалиться.

Делая необходимые мои покупки, я заметил, что, несмотря на *вольность города*[48], торговля оного не в цветущем состоянии, ибо стеснена заставами трех держав, во время революции более упала еще, так что покупки, сделанные нашими войсками, пришедшими с генералом Красовским, и теми, кои расположены были в

Краковском воеводстве, совершенно истощили все склады здешних товаров и подняли чрезвычайно цены на оные. Торговля Кракова, прежде чем он сделался вольным городом, была гораздо значительнее.

Столицу древних королей польских[49] трудно узнать в нынешнем Кракове; от прежнего величия оного осталось только несколько развалин; из коих самые замечательные – остатки замка[50], построенного на высоте, далеко властвующею над окрестностью, и у подошвы коей извивается Висла, уже судоходная, но еще не широкая. Рядом с развалинами замка стоит кафедральная церковь[51], на коей если нет следов разрушения, то, по крайней мере, видны большого упадка. Это большое готическое здание, посередине коего стоит серебряная рака Святого Станислава[52] под катафалком, загромоздившим всю церковь. Гробница эта, как обыкновенно, ничем не замечательна. В боковых аркадах есть много приделов с гробницами других королей польских и епископов краковских, коих изображения над гробницами высечены по большей части из желтоватого мрамора довольно уродливо и в положениях, какие место и пространство ниши позволяло. Иной архиепископ, несмотря на лета и важность сана, должен был умещаться скорчивши ноги, как иногда умещаются в короткую постель. Между сими древними гробницами весьма странно для меня было увидеть статую из белого мрамора прекрасного резца, сколько я умею судить, обыкновенной величины человеческого роста, нагую, как изображали древние своих богов, которую я принял за Аполлона, – но мне сказали, что это памятник *майора Потоцкого*[53]. Не постигаю, как можно <в> христианском храме между гробницами древних королей *господину Потоцкому* воздвигать в память греческую статую, с ним ничего общего не имеющую. – Под церковью в особенном отделе покоится прах трех мужей, признанных поляками за знаменитейших; это: *король Иоанн Собисский*[54], *Костюшка* и *Понятовский* (*князь* Иосиф, коему, мне кажется, слишком много сделали чести, поставив рядом с теми двумя)[55]. *Костюшка* еще не имеет гробницы, а стоит в гробе за печатью швейцарскою[56]. Гробницы Собисского и Понятовского весьма просты, из черного мрамора; первая поставлена вдоль стены против входа, вторая по правую сторону оного, а гроб Костюшки стоит по левую. – Надобно думать, что когда гробница последнего воздвигнется, то и украсят весь отдел, который покуда только выбелен. – Насыпанный близь Кракова в честь Костюшки курган, который я только мог видеть издали с колокольни этой церкви, по-моему, есть лучший из памятников – он совершенно народный. Есть еще два кургана в окрестностях Кракова:

королевы *Ванды* и *Кракуса*[57], и оба видны с этой высоты. Вообще виды отсюда, особенно за Вислу, в Галицию, на Карпатские горы, живописны. К сожалению, время не имел я быть в *Величке*[58], сей знаменитой соляной копи; все, которые из нас там были, уверяют, что точно любопытно посмотреть на это соляное подземное царство. Пробыв менее двух суток в Кракове, я поспешил, издержав все деньги, в объятия моей красавицы. На возвратном пути я также имел (на пути) неприятности: кроме того, что на таможне в мерзкой корчме принужден был ночевать и ссориться с казацким офицером, почти на каждой станции ломалась у меня бричка – но, несмотря на всё, к вечеру на другой день приехал я к моей красавице и к довершению удовольствия, которое ей сделали мои подарки (которые, однако, не дошли даже и до сотни рублей), не застал я мужа дома, так что мы вполне на свободе насладились нашим свиданием. Немного оставалось мне проводить таких приятных минут – собираться надо было в дорогу восвояси, тем более что скоро и полку наступало время выступления. – Еще нескольно ночей, и я должен был расстаться с моею миленькою, добренькою *Гонориною*, которую едва ли мне, к сердечному сожалению, удастся еще раз встретить! Если она не имела ко мне страсти, то, по крайней мере, была нежна со мною, верна (вероятно потому, что не было случаю изменить), и с нею я знал одно только удовольствие; ни одной печали или неприятности не была <она> мне причиною – и потому всегда с любовью и благодарностью я буду ее помнить…

Этим окончились счастливые дни моего пребывания в Краковском воеводстве, моей службы при Плаутине, одних из счастливейших дней моей жизни, коим цену я всякой день более и более познаю, и подобных коим я не надеюсь впредь увидеть[59]. – После осмидневного пути от подошвы Карпатских гор я уже в стране знаменитой псковитян, где некогда живали *вольные сыны воинственных славян*[60]; в Языковым воспетом Тригорске [61], куда приезд мой был совсем неожиданным. Кроме замужества Евпраксеи за молодого соседа *барона Вревского* – сына *князя Куракина*, известного нашего вельможи-министра, – я никакой значительной не нашел в нем перемены. Меньшие сестры мои, Осиповы, подросли, разумеется, как с детьми бывает, в четыре года так, что я едва их узнал. – Евпраксея из стройной девы уже успела сделаться полною женщиною и беременною. – Анна – сестра, разумеется, – тоже не помолодела и не вышла замуж, как и Саша. Брата Валериана[62] я не видал, он был в Дерпте, где, как и я, пользуется он учением германскому просвещению, – хорошо, если оно ему принесет хоть столько пользы, как мне принесло, хотя это и немного. Хозяйство

домашнее нашел я в прежнем положении. Всегдашнее безденежье и опасенье, что за неуплату казенных долгов и податей ожидают всегда описи и взятия в опеку имения <…> что нисколько меня не утешило <…> Исключая две или три поездки во Псков, где я познакомился с знакомыми матушки моей – семейством губернатора, *Бибиковыми*, я всё время отпуска не выезжал никуда, а провел в домашней жизни, в чтении из хорошей библиотеки моего зятя[63], в сценах с Сашей, в роде прежних, в беседах с сестрою и в безуспешном волокитстве за ее горничною девкою. Такая жизнь была мне, конечно, приятна только в сравнении с полковою, – а как я надеялся, что теперь последняя для меня изменится уже и тем, что полк шел в Варшаву для содержания там караула, то, возвращаясь в конце апреля (1832 года) к своему месту, я и был в ожидании великих и многих благ для меня, из коих ни одно, разве исключая надежду на дружбу *графини*, на деле не исполнилось.

1832

9 июня. Варшава

После четырех лет кочующей жизни, в продолжение которой почти все связи мои были прерваны со всеми, исключая своей семьи, начинаю опять понемногу входить в прежний круг людей, с которыми в разные времена моей жизни я встречался и с коими я более или менее был связан узами дружбы или любви. Первый шаг к тому была поездка в отпуск, в продолжение которого я возобновил одну после другой все нити, которые меня соединяли с людьми, мне милыми. Я отыскал Языкова, Лизу, а мой единственный Франциус, прекраснейшее из созданий, украшающих этот мир, над раннею могилой, куда его низводит неизбежная судьба, вспомнил об отдаленном друге его молодости и, несмотря на многолетнее его молчание, которое всякий бы принял за забвение, подал мне дружескую руку, чтобы еще раз в этом мире приветствовать меня. Возвратившись, таким образом, опять к обществу, я берусь с новым удовольствием за ежедневный отчет в самом себе.

Я бы мог теперь быть доволен моим положением на время, если бы не смертельная болезнь брата Михаила. Возвращаясь из отпуска, нашел я его в Бресте чрезвычайно слабым, до высшей степени изнуренным болезнью и оставил там с надеждою в выздоровлении. Но теперь мне пишут, что она исчезла; я прошусь в отпуск на 28 дней, чтобы съездить к нему, но не знаю, застану ли в живых… Недостаток денег заботит тоже меня. Жизнь здешняя разорительна, а из дому скоро получить тоже едва ли будет возможно. Вот достаточные причины, по которым жизнь мою здесь нельзя назвать приятною.

10 июня

В Варшаву ехавши, я ожидал найти здесь кучу удовольствий, но чрезвычайно ошибся, потому что никаких не нашел, кроме встречи с двумя или тремя молодыми людьми. Из них Лев Пушкин, с детства мне знакомый, более всех других меня утешает. С ним я говорю об домашних моих, об поэзии и поэтах – наших друзьях, об любви, в которой мы тоже сходились к одному предмету, и даже о вине и обеде, которым он искушает мой карман.

12 июня

Вчера получил я прискорбное известие о кончине брата Михаила, последовавшей 20-го числа прошлого месяца, в тот самый день, в который Гаврило написал мне, что он опасно заболел. Бедный брат! Для чего он родился? Разве для того, чтобы перенести столько страданий! А мы зачем живем? Мне больно, что обстоятельства не позволили мне еще раз его увидеть: его умирающий взор не встретил ни одного родного, последний час его был столь же печален, как и вся его жизнь. Будет ли он утешен там, где, говорят, уравновесят наше бытие? Хотя цель его существования и не была достигнута, но он мог бы еще вкусить много радостей, ибо где те люди, которые постоянно стремятся к достойному? Алексей Дмитриевич Богушевский, бывший его эскадронный командир, а ныне начальник пограничной стражи в Брест-Литовске, показал себя истинным благодетелем моему брату: он пекся об нем с отеческою нежностью и был для него самым нежным родственником. Он же меня известил как о смерти брата, так и о том, что ему отдал последний долг, проводив останки его к месту покоя. Встреча в жизни с такими людьми, как Богушевский, утешительна; она делает нас самих лучшими, мирит с остальным человечеством.

15 июня

Большую часть моего времени вне дома провожу я с Львом Пушкиным. Он меня завел здесь и к своей знакомой – госпоже Вульф, где я бываю по вечерам; она приняла меня сначала более чем с распростертыми объятиями, но, заметив, что меня одурить ей не удалось, она возвратилась ко Льву и продолжает с ним проделывать разные фарсы.

Я познакомился с Очкиным, старым приятелем Языкова; он, кажется, очень добрый малый. Рассказы про жизнь его в Грузии чрезвычайно любопытны; он был там при Паскевиче и с ним сюда приехал.

18 (30) июня

Вот и к Анне Петровне написал я письмо; остаются теперь неудовлетворенными Франциус и Языков. Я так отвык от немецкого языка, так разучился ему, что мне чрезвычайного труда стоит письмо к нему. Так всякое знание требует постоянного занятия оным, без которого в непродолжительном времени всё изглаживается из нетвердой памяти. Как-то она

перенесла потерю своей матери? Пушкина писала Льву, что она очень больна; но как уже тому более месяца и в последних письмах об ней ничего не говорит, то это меня успокаивает: если бы ей сделалось хуже, то верно бы она написала. Я недоволен образом жизни, который веду: хочу чем-либо заняться; но я так отвык от умственного труда, что не знаю, как и начать.

19 июня

Всё та же госпожа Вольф, тот же обед в трактире, те же знакомые и такой же, как прежние, бесполезный день! Я теперь ничего не читаю, чтобы скорее написать письмо Франциусу, но оно не подвигается вперед.

Я видел здесь одну книгу запрещенного нашего журнала московского “Европеец”, который начал издавать Киреевский, известный читающей публике своими ценными критиками. Этот журнал обещал многое, но, к несчастью, кажется, пустился в политику, почему и остановлен правительством[1]. В этой книге нашел я три прекрасные стихотворения Языкова, и каждое из них принадлежит своей эпохе его стихотворческой деятельности. “Воспоминания о Воейковой” принадлежит ко времени его любви к ней, его студенческой жизни. Оно чисто, пламенно, исполнено чувств и юношеских восторгов. “Конь” принадлежит к его немногим пьесам, в которых, как в “Водопаде”, он изумляет смелостью, сжатостью и силой языка. “Элегия” его дышит негой сладострастья, но не столь нескромного, как его песни цыганкам;[2] это – соблазны теплой летней ночи, которые прикрыты собственным ее мраком.

Жуковского перевод с немецкого гекзаметрами “Войны мышей с лягушками” чрезвычайно хорош. Он имеет дар во всех своих переводах казаться самобытным. Есть тут же два хороших стихотворения Хомякова и Баратынского “Послание к Языкову”. Прозаические статьи – повести, критики, смесь – не отличаются особенно ничем, кроме одной антикритики на разбор “Наложницы” Баратынского, весьма отчетисто, благопристойно написанный[3]. Недавно я прочитал давно известного “Юрия Милославского” с удовольствием: всё, что можно сказать про него, ибо ни слог, ни характеры, ни занимательность и искусство в завязке похвалить особенно нельзя. Из русских до него писателей, конечно, он первый.

23 июня

В военном нашем быту есть новости. Пехоте велено так же,

как и легкой кавалерии, носить усы. Поговаривают, что офицерам позволено будет носить фраки; это мне кажется невероятным. Образ моей жизни совершенно городской и столичный: встаю я очень поздно, выхожу из дому обедать обыкновенно около пяти часов, а возвращаюсь домой всегда после полуночи.

По примеру Пушкина, которого теперь трясет лихорадка, стал я гастроном, но надеюсь, что обойдусь без оной. Со всем своим умом иногда он очень забавен. По сю пору он еще пьет *на славу*, чтобы дивились тому, сколько он выпивает не пьянея, твердит о том, что несколько лет не был в церкви и обещался никогда не входить, наконец хочет переупрямить лихорадку, как будто бы она – Вольфша! Или этим он доказывает свое молодечество? Таковы-то мы все, люди: у всякого есть своя пята, как у богоподобного[4].

25 июня

Наконец отправил я вчера свое послание к Франциусу. Дай Бог, чтобы оно доставило столько же удовольствия, как его письмо мне. Остается теперь мне один милый Николай Михайлович; сейчас же пишу к нему.

26 июня

Меня сегодня нарядили в разъезд, завтра, быть может, в караул и т. д. Хорошо, что я окончил свои письма: к Языкову, последнее, лежит уже готовое, а то я долго бы теперь не собрался. С завтрашнего дня я намереваюсь вести жизнь добропорядочную. Стану брать из библиотеки книги и реже ходить к Пушкину.

Письма́ я всё еще не получил. Вот и оно, в сопровождении другого – от сестры Анны. В последнем, как и везде, печаль сливается с радостью. После известия о смерти Траскиной, бывшей Вревской, она пишет о предстоящем замужестве Саши. Дай Бог ей скорее выйти, а ему, господину псковскому полицеймейстеру Беклешову, дай в ней добрую жену[5]. Она говорит, что ненавидит и ругает меня; но мне это не помешает ее любить и сделать всё возможное, что будет зависеть от меня, к ее благополучию. Анна осталась одна в Тригорском; бедной, должно быть, скучненько; что делать!

27 июня

<…> Возвращаясь домой, я шел мимо квартиры Ушакова; он еще не спал. Это мне пригодилось, потому что, пришедши

домой, я нашел на дверях запор, а верного моего служителя, кто знает, а только не я, где. Я принужден был воротиться к Ушакову, посидел у него и взял в запас французский перевод последних песней “Don Juan”[6], и хорошо сделал, потому что успел прочитать (было утро) целую песню, пока дождался мучителя моего. Может быть, не оттого ли и “Жуан” в *случае* <!> мне не понравился. Так проведенная ночь отзывается во мне теперь.

28 июня

Здесь я встретил одного из моих собратов-студентов, с которым вместе слушал лекции военной науки у почтенного Адеркаса, которого даже ввел в наше университетское братство (Burschenschaft)[7]. Всю турецкую войну служили мы в одном корпусе; в одном лагере, под Шумлою, простояли целое лето и ни разу не встречались; недавно сошлися мы в одной лавке. Он служит теперь в генеральном штабе и отправляется на тригонометрическую съемку. Вчера на прощанье выпили мы в память прошлых дней несколько бутылок вина. Он добрый, честный малый, несмотря на то что в университете не постигал ни нас, ни цели, к которой мы стремились. Это не мешает быть ему хорошим, чем мы, энтузиасты. Если последние блестят, увлекают, как поэзия, то первые, как проза жизни, постоянным трудом идут к той же цели.

3 июля

Два дня я занимался составлением журнала военных действий нашего полка и окончил первую кампанию 1828 года. На 29-м году мне будет труднее, ибо я должен совершенно из памяти составлять описание дел, зато он гораздо короче: одно Кулевчанское дело только и есть[8]. Сегодня бы я написал и это, но меня нарядили дежурным по полку.

11 августа

Вчера совсем нежданно получил я дружеский ответ Франциуса и Рама; они мне сообщают известия об остальных моих товарищах-студентах. Одного из них уже не стало: Лейтганг, последний из семьи, оставшийся со мною в Дерпте, погиб жертвой своей обязанности в чумном госпитале, бывшем в его ведении в Варне. Это второй (после Кош куля), выбывший из круга нашего, и, к несчастью, третий, достойнейший из всех, неминуемо должен вскоре последовать за ним… Исполненная

возвышенных чувств пламенная грудь Франциуса разрушается… Он знает, как глубоко смерть уже гнездится в нем, сколько дней еще ему отсчитано, и мужественно встречает ее, умоляя только краткий срок, чтобы окончить изящный труд, который он хочет нам оставить как памятник своего существования, в котором он желает отразить свою душу и доказать, сколько в ней было любви к прекрасному. Несчастный друг, как жесток твой удел!

Я имею теперь некоторое понятие о том, как проведу эту зиму. Я назначен в учебную команду при дивизионной квартире, которая соберется, когда полки возвратятся из караула на свои квартиры. Этому радуюсь я: буду иметь, по крайней мере, полезное занятие, покуда не сподоблюсь выйти в отставку. Во всяком случае, приятнее быть при дивизионной квартире, чем жить в какой-либо деревне со взводом.

21 августа

Трехдневный срок содержания моего в карауле исполнился сегодня. Время на оном проходило для меня так скоро, что я не успел в продолжение двух дней прочитать трех книжечек очень занимательного романа “Le rouge et le noir” par Stendhal. Прекрасный сад дворцовый, в глуши дерев коего потонула гауптвахта, посещения товарищей вечером, прекрасная музыка, свет луны попеременно занимали мои досуги.

23 августа

Давно не читал я столь занимательного романа, как этот – Стендаля.

26 августа

Сегодня годовщина[51] штурма Варшавского. Кичливые бунтовщики в это время, не смиренные первым ударом, еще мечтали о возможности противостоять. Напрасно: упорное мужество сокрушило все твердыни и свобода Польши пала, быть может, надолго!

27 августа

“Дочь купца Желобова”, роман Калашникова, читаю я теперь, но с меньшим удовольствием, как ожидал.

1 сентября

Сегодня бы я уже мог подать прошение об отставке, если бы я в состоянии был определить мою будущность; но на это я не могу еще решиться. Всё, что я сделаю, будет то, что напишу к матери, сколько мне мало можно ожидать от моей службы и сколь велико мое денежное затруднение. Если бы ей удалось перезаложить Тригорское скорее, тогда бы можно было надеяться получить тысячи две, иначе же трудно мне что-либо получить теперь. Не понимаю, отчего Богушевский не шлет мне по сю пору тех, которые у него остались. Скоро я буду в большом затруднении. Служба между тем идет своим чередом; вчера был я ординарцем у светлейшего[9].

13 октября

На этих днях приехала из Петербурга давно ожидаемая Ольга Сергеевна Павлищева. Я чрезвычайно обрадовался ее приезду как ради удовольствия видеть ее, так и потому, что с нею я могу говорить обо всех лицах, меня некогда занимавших в Петербурге. Она не переменилась, сколько я замечаю; мила и забавна, как была прежде до своей болезни. Вечера у ней будут для меня верным убежищем от скуки.

16 октября

У Павлищевых я обедал вчера и провел остаток дня. Ольга мила, как всегда; но сегодня что буду делать?

17 октября

Ничего решительно кроме того, что обедал. Даже к Павлищевым не пошел вечером, а прямо домой, чтобы за романом Кока заснуть в 10 часов вечера.

27 октября

Вчера с Ольгою Сергеевной ходил я гулять в Лазенки и Бельведер;[10] в последнем убирают уже все вещи и перевозят в Петербург. Нам показали, как самое любопытное, кровь генерала Жандра, оставшуюся на стенах, и его шляпу. Один из наших верноподданных написал на стене, что он целовал и ту, и другую с благоговением. С первого взгляда оно кажется довольно

смешным – прикладываться к крови Жандра, но, рассудив, что он погиб как будто бы жертвою привязанности и верности, кровь его некоторым образом смывает пятна с его характера и пробуждает сожаления в постороннем зрителе. Как Милорадович, он умер на своем месте, на пороге своего господина, сделал всё, что мог лучшего, хоть, может быть, и против воли; но так глубоко не должно вникать в причины наших поступков.

1833

Город Хелм, 19 февраля (3 марта). Воскресенье

Перечитывая варшавские мои записки, родилось во мне от удовольствия, которое они мне доставили, снова желание продолжать их. Не имея теперь на душе никакого дела (кроме письма Языкову, которому я не отвечал с августа, что мне да простит Всевышний!), а более чем нужно свободного времени и при порядочном образе жизни, я с наслаждением берусь за перо, ибо оно будет часто выносить из настоящей скуки меня в область воспоминаний, в которой всегда только цветущее видишь.

10 часов утра

Сейчас отправил я письма к матери, сестре и Саше в ответ на два от них полученных мною на прошлой неделе. Болезнь Анны удерживала их еще 4-го февраля в Петербурге, так что мать вынуждена была послать свое благословение на бракосочетание Саши с Беклешовым для того, чтобы не отсрочивать до Святой недели свадьбы. В эту минуту должны быть все уже в Тригорском. К Франциусу я наконец тоже собрался с силами и отвечал на два его письма от 1-го августа и 20-го ноября. К нему писать мне вовсе не шутка, отвыкнув совершенно от немецкого языка. Он чрезвычайно добр ко мне в беспримерной снисходительности к моей лени. Как душевно скорблю я о том, что дни его сочтены и что столько высоких его способностей должны исчезнуть, как исчезает в пространстве пламя, слетая с пепла. Желал бы еще раз на него взглянуть и посмотреть, сколько телесные немощи властны над нашим духом. Рам, пишет он, женится и влюблен по уши; этому человеку, совершенному прозаику, можно смело предсказывать всё счастье в жизни, на которое имеет право честный, благоразумный и трудолюбивый гражданин. Прошло десять лет, как мы семеро постановили наш союз во имя Бога, Чести, Свободы и Отчизны. Честь оного принадлежит вся Франциусу: он нас соединил и дал направление юношеским нашим умам к высокой цели добра. С того времени я стал постигать благородное назначение жизни. В нем одном себялюбие жизни не ослабило прекрасного стремления, и он, благороднейший, уже на краю могилы! Еще, быть может, немного дней, и того, кого я более всех люблю (скажу, как Байрон, всегда исключая прекрасный пол), уже не будет!

20 февраля. Понедельник

Я нахожусь здесь, в городе, для проверки полковых счетных книг. Они еще не готовы, и следовательно, и комиссии нашей нет еще никакого дела. Утро провожу я обыкновенно дома, читая что-нибудь (мемуары Байрона[1] теперь); потом бродишь по городу, обедаешь у подполковника Булацеля, человека очень порядочного и ко мне благосклонного, а вечер играешь в карты: единственное утешение в столь скучном месте, где мы, праздно живущий народ, лишены всех способов к развлечению. Не будучи никогда игроком азартным, я если и не сделался теперь им, но всё успел проиграть 900 рублей по той причине, что, кроме редкого несчастья, которое я всегда имел (исключая однажды в жизни, под Замосцем, где я шутя сорвал 38 банков сряду и на 39-м почти всё проиграл назад), я мало опытен в расчете игры. Такой образ жизни не только вовсе не приятен, но даже и вреден здоровью. Коль скоро земля немного просохнет, то я намерен много ходить, хотя без какой-либо цели я и не люблю этого делать.

Из Варшавы выехал я довольно удачно. Потеряв надежду получить там деньги, не видя возможности без больших неприятностей, то есть занимая у приятелей деньги, долее так существовать, сел я в отправляющуюся оттуда новую коляску Плаутина, деланную под моим надзором, и пустился в путь. С Варшавой мне не было очень трудно расставаться, потому что, кроме Льва Пушкина и Ольги Сергеевны, да еще доброго обеда у старика Chovot, ничего для меня там не было привлекательного. Всех трогательнее была моя разлука с Ольгой, тем более что ей она была совершенно неожиданною, почему при ней она и выказала более свое дружеское благорасположение ко мне, чем бы она это сделала в другом случае, но всё не столько, сколько я бы желал в ней найти, ибо я ее очень люблю.

После долгой нерешимости и внутреннего борения между убеждением невыгоды продолжать мне службу и заманчивыми надеждами на будущее, которые некоторым образом подкреплялись вероятностью в непродолжительности получить несколько чинов (у нас выбыло в короткое время много офицеров из полка, и лучшие, к сожалению), рассудок мой одержал верх, и декабря 1-го дня я подал прошение об отставке. Скоро после того я получил от матери письма, в которых она просит меня остаться служить; если бы они не приходили долгое время, как деньги, то, вероятно, их бы было достаточно, чтобы остановить меня. Но теперь всё кончено, чему я очень рад, тем более что по последнему письму матери вижу, что она не имеет намерения, как я это ей предлагал, остановить в Петербурге ход моего

прошения. Все мои надежды и планы основываются теперь на том, чтобы хоть месяца через три моя отставка вышла и мне бы выслали столько денег к тому времени, чтобы благопристойно можно возвратиться восвояси, а не блудным сыном. Хотя с некоторого времени и родилось во мне желание пошататься по свету образованному и необразованному, но я не смею предаваться оному, не видя никакой возможности к исполнению оного.

При таком образе жизни, скучном и бесцветном, как мой, с тех пор как я здесь, в Хелме, мерзком городишке, где даже недостаток чрезвычайный в квартирах для нас, были для меня Мура “Переписка и записки о Байроне”[2] драгоценностью. Всегда предпочитал я и любил преимущественно этого певца как величайшего гения, но с тех пор, как Мур раскрыл передо мною с величайшим искусством жизнеписателя, которое при первом взгляде же бросается в глаза, всю жизнь его и показал характер его со всех сторон, во всех положениях ее жизни и в постепенном развитии оного, то сделался я даже пристрастным обожателем его слабостей в такой же мере, как любишь недостатки своей любовницы. Я, кажется, теперь совершенно понял этот великий дух (довольно самонадеянно) и узнал всю прелесть как наружную, телесную, так и нравственную его. Кажется, будто бы я вместе с ним жил, – так живо я себе представляю его образ жизни, его привычки, странности. Даже умственное бытие его, то, что мучило и услаждало дух его творческий как поэта и как простого человека, стремящегося к истинному и идеальному, постиг я и, как обыкновенно это случается, сверяя с своими идеями, находил часто сходными, вероятно потому, что прежде, быть может, почерпнув их от него же, присвоив себе, считал за собственные. Всю турецкую войну возил я его творения с собою – теперь же они будут со мною неразлучны! Наполеон и Байрон заключают в себе всё великое, что я знаю.

21 февраля. Вторник

Прочитав Байрона, я взял Руссо, которого я не знаю. Жаль, что и самое издание отнимает охоту его читать: так мелки буквы, что трудно глазам читать. Не знаю, буду ли иметь теперь терпение дочитать его “Элоизу”: это будет третий опыт!

23 февраля. Четверг

Я был в 20 лет хватом, слыл забиякою (чего тогда и желал, не будучи им никогда), пил также в свое время из удальства, потом

волочился за женщинами, как франт[3]. Наконец оставалось мне испытать только игру, чтобы заключить курс моей молодости, что теперь я, кажется, и делаю. Не имея с природы пылких страстей, тем более что с молодости я в достоинство ставил их обуздывать, не знал я страсти к игре. Теперь вижу я, что от праздной жизни можно легко ее получить и что она может сделаться самою сильною. Никакая игра не доставляет столь живых и разнообразных впечатлений, потому что совершенно неопределенна, неограниченна, что во время самых больших неудач надеешься на тем больший успех, или просто в величайшем проигрыше остается надежда, вероятность выигрыша. Это я слыхал от страстных игроков, например от Пушкина (поэта)[4], и теперь я признаю справедливость его слов. Вчера я был и в игре чрезвычайно счастлив: для перемены попробовал метать банк и выиграл 150 рублей; сегодня утром тоже выиграл.

24 февраля. Пятница

Услужливая лень породила во мне престранную мысль не писать к Языкову, пока не получу отставки. Но я ее с негодованием отвергаю как недостойную чувств моих к любезному Николаю Михайловичу и тотчас же сажусь отвечать, если можно назвать ответом письмо, полгода позже, чем следует, отправляемое.

25 февраля

Всё, что я был в выигрыше, рублей 160, проиграл я вчера опять. Поставлю себе за правило каждый день ограничивать проигрыш известною суммой. Сегодня день прекрасный; я воспользуюсь им окончить к Языкову письмо. Ясная погода делает и наш дух светлее.

Я читаю теперь знаменитый “Contrat social” Rousseau, который во мне родил мысль, что частные лица, коих имущество (земля и пр.) уступается одним государством другому, должны бы иметь право требовать вознаграждения за переходящие в другое владение их земли от того, в пользу чью сия уступка делается, разумеется, только в таком случае, когда они не пожелают переходить и сами с их собственностью, что всегда должно быть предоставлено их произволу.

1 марта. Среда

Чтение мое теперь ограничено творениями Байрона и Руссо. Я начал сочинения последнего с политики, с “Contrat social” (“Условие общества”), который я нахожу достойным славы своей. В Байроновом “Пророчестве Данте” остановился я на мысли, что тот, кто входит гостем в дом тирана, становится его рабом. Она сказана в предостережение поэтам-лауреатам, которых Байрон очень не жалует. Он повторяет часто, что великим поэтом может только сделаться независимый. Мысля об этом, я рассчитываю, как мало осталось вероятностей к будущим успехам Пушкина, ибо он не только в милости, но и женат.

2 марта

“Должно избегать случая, в котором обязанности в противоречии с нашими выгодами”, – говорит Руссо. Правило столь же истинное, как и то, что несчастье других не вселяет в нас столь живого участия, чтобы тотчас не видеть в нем собственных выгод своих, если они от оного могут произойти.

3 марта

Вчера я немного отыгрался: я выиграл сотню рублей. День целый я провожу, читая Руссо; для перемены я за его “Исповедью” теперь. Молодость его была такова, что ожидать было нечего от него. Безрассудность, непостоянство, слабость характера не поставили бы его на степень величайших писателей своей страны и не сделали бы проповедником истины и свободы, если бы не раннее расстройство здоровья, которое ограничило деятельность его духа одним направлением к ученью и, умерив пыл его страстей, сделало их постояннее.

Вот дожил я до тех лет, что все ровесники, знакомые, друзья – кто женился, а другие жениться намерены; мне же этого не определено… Может быть – к лучшему. По крайней мере, я это буду думать, чтобы утешить себя в лишении живейших и чистейших наслаждений… Отеческие чувства я буду всегда считать такими. Если я буду иметь столько власти над собою, что удержу себя от искушения жениться, то желание найти женщину, которая захотела бы со мною жить единственно по своему произволу, без всяких церковных и гражданских обязанностей, было бы единственное, которым бы я утруждал небеса. Впрочем, мне можно бы решиться на супружество, ибо всегда можно отыскать благопристойный предлог к разводу, особенно с деньгами.

8 марта

Есть у меня в голове две мысли, коих пластически я никак не могу выразить. Одна, которая родилась, мне кажется, из девиза Байрона: “Crois Byron” – “верь мне”; другая, кажется, – плод собственного размышления: “изменяясь – я усовершенствоваюсь”; последняя даже не полно выражается. Что избрать символом первой? Что в этом мире вещественном признано может быть за неизменное? Одно разве целое, то есть весь мир, вся природа. Другая же тогда задача бытию всего человечества еще менее способна к изображению чем-либо вещественным, когда оно есть только понятие невыразимое, точно так же как Божество, коему другого не могли дать имени, как *Сый, Сущий* и пр. Вот два эпиграфа, которые я имею дерзость, надменность выбрать для себя. Если первым я слишком много от других требую, то есть веру в меня, то вторым я, по крайней мере, показываю, что знаю, к чему я должен стремиться; делаю ли я или нет – это уже другой вопрос.

24 марта

Из секретных предписаний Ридигера, вследствие сообщений графа Витта, командующего царством на время отсутствия Паскевича, видно, что поляки, находящиеся теперь в разных странах и частях света, не оставили намерения какими бы то ни было средствами (отъявленные либералы неразборчивы в выборе их) противодействовать правительству русскому, хотя бы сие и привело к конечному разорению края и уничтожению последней самобытности царства. Сии революционисты точно так же, кажется, далеки от истинного либерализма в своих понятиях, как и в поступках. Только народ, достигший известной точки просвещения, может пользоваться истинною гражданскою свободою. Польша весьма далека от оной. Созревший народ никогда не оставался в рабстве и неволе: тому нет примера в истории. Преждевременные же попытки только удаляют от желанного времени. Ридигер пишет, что 20-го марта (вероятно, нового счисления) схвачен был некто Джевицкий, офицер известного прежнего 4-го линейного полка, перебравшийся из Галиции под видом ремесленника и который вскоре отравился, не сделав никаких показаний. Но от другого захваченного, унтер-офицера прежних войск, и из переписок поляков, находящихся за границею, узнали, что он, Джевицкий, прибыл из Франции с намерением образовать шайки партизанов, которые, скрываясь в лесах, старались бы по возможности вредить русским и бунтовать

край, и наводнить ими всё царство. С 25-ю человеками ему и удалось прорваться в Сандомирское воеводство. Другая партия под командою капитана Вронского должна была действовать в Краковском. В Люблинском также намеревались нарушить спокойствие. В непродолжительном времени сии показания и оправдались: в Ленчинском обводе Мазовецкого воеводства показалась шайка, начавшая свои операции забиранием у жителей скота, хлеба и т. под. В Люблинском, в лесах около Янова, показалась другая и взяла направление на местечки Быхово и Пяски, пробираясь лесами, коими покрыто всё сие пространство. Наконец, полагают, что и в Беловежской пуще, в Гродненской губернии, должна скрываться таковая же. Из всего этого заключает правительство, что злоумышленники в этих частных нарушениях спокойствия следуют общему предначертанию и что скопища сии состоят в связи одно с другим, почему и приказано усугубить со стороны воинских чинов наблюдение за всем, что происходит в местах расположения войск, и все меры предосторожности против неожиданных случаев, особенно в продолжение наступивших праздничных дней, в кои жители, собирающиеся вместе, более подвержены злонамеренным внушениям, нежели в обыкновенное время. Полиции предписано строго рассматривать паспорты вновь прибывших из-за границы ремесленников и художников, ибо известно, что с таковыми многие из удалившихся за границу возвращаются назад. Даже многие с намерением вступали в учение разным ремеслам или в фабрики, чтобы от оных получить виды, под коими, не обращая на себя подозрения правительства, проникнув в царство, им бы возможно было действовать на умы. Вот план, сознаться должно, весьма остроумно придуманный, но приведет ли он к желанной цели? Весьма сомнительно. Когда целый народ, восставший единодушно, не мог противостоять, то чего надеются несколько сотен людей, не имеющих ничего, кроме жизни своей, которую не знают, чем поддерживать и что из нее сделать.

29 марта

Я прочитал трагедию Хомякова “Ермак”. В ней казаки-разбойники, завоеватели Сибири, говорят языком семейства Атридов во французской трагедии. Сам Ермак – какой-то унылый мечтатель, который в длинных монологах под бледным сиянием луны всё вздыхает об минувших летах молодости, угнетен проклятием отца и разлукою с любовницею своею. И эта любовь даже не придает никакой занимательности ходу пьесы, которая

тянется бесконечными монологами, хотя и писанными хорошими стихами, но не менее того утомительными. Как в первом опыте молодого писателя, нельзя в трагедии его искать ярко очерченных характеров, ни искусства в ходе драмы[5]. Такие произведения у нас не первые в своем роде: Ростовцев, Катенин дарили нас такими же. Говорят, Хомяков пишет теперь “Самозванца”: в этом предмете он найдет более способов.

Еще прочел я историю последней турецкой войны Валентини; он поторопился с нею, написав ее по одним официальным донесениям и по запискам, весьма кратким, одного офицера, вероятно делавшего одну кампанию 1828 года и, кажется, находившегося при Евгении Виртембергском, ибо одни только действия 7-го корпуса, который принц принял под Шумлою от Воинова, рассказаны подробно, остальные же происшествия обеих кампаний автору, видно, были известны по одним газетным реляциям, которые всегда недостаточны и редко справедливы бывают. Общий его взгляд на войну, несмотря на то, верен и довольно беспристрастен, то есть не скрывает ошибок наших полководцев. Мысли его об образе войны с турками весьма основательны, и по всему видно, что он говорит об предметах, которые не только что сам видел, но на кои глядел глазами человека, знающего свое дело.

23 апреля. Воскресенье

Сейчас получил я прискорбное известие, что Франциус скончался прежде получения моего последнего письма, еще прошлого декабря 6-го дня! Итак, совершилось то, чего я уже давно страшился, о чем я скорбел душевно прежде, чем неизбежное исполнилось! Прекраснейшее и благороднейшее существо, коего чистый дух, кажется, ничем земным не был омрачен, прошел своею чередою, и как упавшая звезда после себя только на несколько минут в падении блестит, так и память об нем, быть может, только недолго проживет в памяти его друзей и потом исчезнет в общем мраке. Я не встречал еще человека, который так пламенно, как он, любил истину, всё высокое и изящное, в котором бы лета жизни, обычный быт, опытность, приобретаемая ежедневными обманами, физические, наконец, страдания, которые ежедневно, видимо, вели его к ранней могиле, так мало ослабили его стремления к идеальному. Этот цвет молодости нашей был неизменным качеством его пламенной души. Как человечество вообще, столь же пламенно, с таким же самоотвержением любил он каждого из своих друзей. Эту чувствительную прекрасную душу озарял светлый и мощный дух.

Познав истину, он везде исповедовал оную, смело и мужественно восставал за оную не только против частных лиц, но даже против самовластного общего мнения. Так, в университете не усумнился он, собрав около себя несколько человек, в число коих благосклонная судьба и меня ввела, восстать против всего университета, распавшегося на землячества и ордена (вечная причина междуусобной ненависти, вражды и буйства студентов не только во время академической их жизни, но переходящих и в гражданскую позднюю), и проповедать первые истины, либеральные идеи, недавно возникшие в германских университетах, клонящиеся к тому, чтобы распространить истинное образование и искоренить в юношестве направление к буйству и разврату. Как всякое восстание против общих пороков общества никогда без возмездия с его стороны не остается, так и здесь оно мстило клеветою на его характер, которая сколько бы лжива ни была, но всегда нам вредит; зависть назвала его буйным и развратным за то, что он искал слишком много, быть может, обыкновенную жизнь возвысить до идеальной. Но она бессильна была оспорить его умственные редкие способности. Самые неприятели его соглашались в обширности дарований, коими природа его украсила: он обладал умом верным, быстрым и обширным и приятные пламенные свои чувства изъяснял он всегда с увлекательным красноречием равно пером, как и в благоразумной речи своей. В обществе студентов, пирующих на веками освященных своих празднествах или беседующих об знаниях, ежедневно приобретаемых каждым из них, был он всегда душою всеоживляющею, веселя блистательным остроумием и сатирою, иногда очень едкою, но никогда с намерением обиды. Божественный дар поэзии согревал его душу; он пел, и песни его так же чисты были, как она. Многие из его произведений (которые теперь выдаются в свет) имеют много лирического достоинства; почитатель Шиллера, он и был счастливым его последователем. Наружность его была привлекательная; рост имел средний, очень стройный, прекрасную голову с темно-русыми кудрявыми волосами и лицом, полным жизни и выражения в голубых его глазах и прекрасно очерченном рте, в определенных, чистых формах коего можно было узнать решительный, живой и смелый его дух.

Вот некоторые отличительные черты блистательнейшего создания, которое я знал. Встреча с таковым показала мне, что есть в мире люди, коих действия не основаны на одном себялюбии, о чем бы я без того долго сомневался. Рам пишет мне, что и в последние минуты своей жизни он вспоминал обо мне и завещал мне дружеский поклон. Вот лучшее доказательство, как

он любил своих друзей, и свежести его души, которая при гробе еще сохраняла впечатления, многими летами ослабленные. Душевно сожалею я о том, что судьба не свела меня еще раз с ним: он бы передал мне снова много прекрасных, возвышенных идей; его бы пламенем согрелась и моя хладеющая от ежедневного опыта грудь, я бы освежился духом.

29 апреля

В последнем номере “Инвалида” читал я объявление о выходе в свет стихотворений Н. М. Языкова. Верно, цензура много подстригла кудрей у его студенческой вольнолюбивой музы. Воейков хвалит его самобытность, но сожалеет только, что он не воспевает, как французы, воинских подвигов христолюбивого нашего воинства. Истинный издатель “военных ведомостей”! Прошу угодить всем: один хочет торжественных од, другой – поэм народных оригинальных, третий – исторических драм! Любопытен я видеть, чем нас подарил *мой* ленивый певец. Не напишет ли мне он что-либо в ответ на мое послание к нему?

3 (15) мая

Я читаю теперь историю Франции Royou, сочинение весьма обыкновенного разряда. Повествование довольно скучное очень не занимательных событий первых веков существования Франции. Она написана без всякого общего взгляда на события и на людей и только не что иное есть, как повествование об сражениях, кой-где распещренное анекдотами. По времени (1819 год), в которое это сочинение издано, его можно назвать очень запоздалым: веком бы назад оно было в своем месте наряду с сочинениями Ролленя, Миллота, Шрекка[6] и других. Давно не читав ничего исторического и никогда – вполне подробную историю Франции, я читаю ее теперь с удовольствием.

5 (17) мая

Не ошибся я в моем предположении, что мать только обещала написать, а верно не исполнит: вот прошла и другая почта, а обещанного письма нет. К счастию, в “Инвалиде” нет еще и моей отставки.

Горный кадетский корпус[7] переименован в Горный институт у воспитанников отменены кивера, тесаки и пр.; весьма благоразумное преобразование. Отдать должно полную справедливость, что меры, принимаемые правительством при

преобразованиях по всем частям государственного управления, всегда клонятся к явной пользе, сообразны с целью, которой желают достигнуть, и менее чем прежде находятся под влиянием солдатизма.

15 (27) мая

Сегодня получил неожиданное письмо от Языкова, письмо, меня несказанно радующее, хотя по привычке своей он и мало говорит про себя. Извещая о выходе из печати своих стихотворений, обещает выслать мне экземпляр оных в память нашей студенческой жизни. Он всё еще не имеет оседлости и будто бы от того ничего значительного не предпринимает; меня же благословляет на мирную жизнь.

16 (28) мая. Вторник

Жаль, что Николай Михайлович, мой вселюбезнейший (его выражение в последнем письме) певец, не берется ни за что дельное, а вот лет десять уже всё обещает только: публика ожидала многого от него, но, кажется, всё обманываясь в своих надеждах, охладела к нему приметно. Журналисты давно перестали его ласкать и частенько бранят его студенческую музу. Пора, пора! Не то – так пройдет молодость, а с нею и вдохновение. Он говорит, что, верно, мне наскучила так называемая поэзия военной жизни, и прав в этом, даже в такой степени, как я не ожидал от него, не видавшего этой поэзии. Я вижу давно уже, что поэзия живет в нашей душе, а не в предметах так называемых поэтических. Пламенное воображение облечет каждый в изящный идеальный образ, тогда когда холодное видит только одно, так сказать, чувствами и рассудком осязаемое. Часто даже воспоминание сильнее на нас действует, чем самый предмет оного.

17 (29) мая. Среда

Сегодня как вчера было и как будет завтра: всё одно и то же, скучно, да делать нечего! Единственное мое занятие – господин Рою; несмотря на свой ultra-роялизм и иезуитизм и то, что он ожидает канонизации Лудвига XVI, сознается он в том, что причиною революции были ложные меры правительства и слабость оного. Оно в такой степени было ничтожно, что без досады на него нельзя читать истории этого времени. Хорош также и господин Неккер! Наполеон справедливо назвал его

главнейшим участником и причиною революции. Всего забавнее в моем почтенном историографе, что царствование последнего, Наполеона, он вовсе не признает.

18 (30) мая

Утром читали с Шедевером роман, а именно: “La tour de Montlhéry”, исторический роман XII столетия, довольно занимательный тем, что выведены в нем на сцену известные лица того времени, например, Suger, Элоиза, и несколько очерков нравов того времени[8].

Государь, осматривая войска 1-го пехотного корпуса, был до такой степени недоволен 1-ю гусарскою дивизией за незнание своей обязанности офицерами (верховой езды), что на месте смотра у начальника дивизии, генерал-майора Ланского, отнял оную, точно так же сменил и одного из полковых командиров, на место которого назначен приятель мой Кусовников. Такая строгость заставила и наших генералов подумать об езде офицерской. Остальными войсками, в том числе гренадерами, которых смотрел в Луге и Пскове, государь был очень доволен.

13 июня

Прочитав господина Рою, одного из несноснейших историков нынешних времен, каких я читывал когда-либо, заступника всего, что только было близко престолу, еще более, кажется, иезуитов и церковного самовластия (феократии) и противника всего, что только есть либерального, – теперь же нашел я у Булацеля “Les Ruines” Вольнея, совершенно противоположное в рассуждении о происхождении и развитии религиозных идей: этот выводит не только, что происхождение всех вер есть общее, одинаковое, но даже и то, что ни одна из них, самая христианская, не основана на так называемом “откровении”. Он так же объясняет, как и Dupuis, сочинитель “Origines de toutes les cultes”, что христианство есть сабеизм[9], почитание солнца, составленный из мифологии египтян, индейцев, последователей Зердуша[10], или магов, а жизнь Христа – аллегорическое описание годичного течения солнца[11].

15 (27) июня

С большим удовольствием перечел и сегодня 8-ю и вместе последнюю главу “Онегина”[12], одну из лучших глав всего романа, который всегда останется одним из блистательнейших произведений Пушкина, украшением нынешней нашей

литературы, довольно верною картиною нравов, а для меня лично – источником воспоминаний весьма приятных, по большей части потому, что он не только почти весь написан в моих глазах, но я даже был действующим лицом в описаниях деревенской жизни Онегина, ибо она вся взята из пребывания Пушкина у нас, “в губернии Псковской”. Так я, дерптский студент, явился в виде геттингенского под названием Ленского; любезные мои сестрицы суть образцы его деревенских барышень, и чуть не Татьяна ли одна из них[13]. Многие из мыслей, прежде чем я прочел в “Онегине”, были часто в беседах глаз на глаз с Пушкиным в Михайловском пересуждаемы между нами, а после я встречал их как старых знакомых. Так в глазах моих написал он и “Бориса Годунова” в 1825 году, а в 1828 читал мне “Полтаву”, которую он написал весьма скоро – недели в три. Лето 1826 года, которое провел я с Пушкиным и Языковым, будет всегда мне памятным как одно из прекраснейших. Последний ознаменовал оное и пребывание свое в Тригорском прекрасными стихами и самонадеянно прорек, что оно

> …из рода в род,
> Как драгоценность, перейдет,
> Зане Языковым воспето[14].

14 (26) июля…

Прочел я теперь две драмы Гёте: “Тассо” и “Не законная дочь”. Первая имеет свое достоинство как живое изображение восторженной страсти поэта и своенравия его; к тому же в ней высказано прекрасно много истин. Вторая же пьеса так слаба, что едва находишь в себе терпение ее дочитать: просто это одни возгласы, декламация. Трудно узнать в ней первостепенного поэта Германии.

22 июля (3 августа)

Моя отставка вышла[15]. Принес сейчас Мануйлов мне радостное известие, и все заботы мои кончились; настали другие, только более утешительные. Не могу опомниться от радости.

24 июля (5 августа). Понедельник

Вслед за получением моей отставки начались поздравления моих сослуживцев с оною. Приехал ко мне мой бывший

эскадронный командир Аминов, с ним Голубинин. Пили чай, а после оного угостил я их *емкою*, “сим напитком благородным”, прославленным Пушкиным и Языковым[16].

29 июля (10 августа)

Булацелю вздумалось третьего дня вдруг пригласить меня съездить с ним в Грубешов, и я, которому так трудно отказывать, согласился с ним ехать, несмотря на то что очень не люблю поездки. За мое снисхождение я и был награжден, во-первых, тем, что Шепелев отдал мне небольшой должок, а во-вторых, что у него прочел знаменитого Бальзака, коего по сю пору знал только по слуху. Небольшая повесть его “La Vendetta” передо мною оправдала его европейскую славу. Слог его истинно превосходный и мне показался выше всего, что я ни читал из нынешних и прежних произведений французских писателей.

24 августа (5 сентября). Варшава

Вот наконец после долговременной скитающейся жизни в Хелме, Люблине и самой Варшаве, где я уже живу другую неделю, первая минута свободная для меня, что я могу помыслить, опомниться и сообразить всё случившееся со мною в продолжение трех недель, как я странствую.

27 августа (8 сентября). Воскресенье

Всё это время шатаюсь по лавкам, закупая разные разности моего нового убора. Теперь ожидаю я от портного платье, так что я сегодня буду в первый раз одет в партикулярное платье. После пятилетней военной жизни кочевой, цыганской я возвращаюсь снова в общество людей с удовольствием, без сожаления о том, что оставляю. Мне должно, по крайней мере, благодарить за то судьбу, что каждая перемена моего образа жизни была добровольная, своевременная, в которой я доселе еще не раскаивался, начиная от студенческого значка до чина штабс-ротмистра[17], мною ныне добытого если не кровию, то такою жизнью, которая много оной портит.

28 августа (9 сентября)

Ольга Сергеевна, по-видимому, ко мне очень благорасположена: это видно не только из всего обращения со мною, но еще более по довольно забавному предложению,

которое она мне недавно сделала: она просила меня как можно более публично заниматься ею по той причине, что в варшавском кругу ее знакомых говорят, что будто бы она кокетничает с одним юношей – господином Софиано, который, кажется, влюблен в нее.

Лев – всё тот же, свою скуку мыкающий в Саксонском саду или Розмайтостях[18] и, к несчастью, в совершенном безденежье. Он имел неосновательность проиграть не только все деньги, которые он получил от отца и занял от других, но даже более, чему трудно помочь.

5 (17) сентября

Прочел я теперь несколько повестей Eugène Sue, знаменитого сочинителя “Саламандры”, которую всё не могу я прочесть еще. Некоторые из этих повестей имеют свое достоинство как свежее, живое изображение страстей необузданных.

10 (22) сентября

Войска, занимающие царство Польское, собраны теперь почти все около Модлина для маневров. Сегодня ожидали туда и государя, возвращающегося с конгресса, о коем ничего я не знаю основательного. Этот проезд инкогнито через царство Польское занимает теперь все умы, и мнения об оном несходны весьма. Одни находят, что он хорошо делает, осматривая свои войска и не обращая внимания на жителей; другие не согласны в том и думают, что неприлично Николаю таиться от своих подданных; явив же себя им, должно облечь себя в милость и разлить около себя одно благотворение, показать себя народу истинным солнцем, всё оживляющим. Прибытие его в Модлин ожидали вчера; неизвестно мне, исполнилось ли ожидание. Сегодня имел быть смотр войскам. Погода ему, по крайней мере, не благоприятствует: она стоит совершенно осенняя, дождлива и туманна.

12 (24) сентября

Вчерашний “Курьер Варшавский” возвестил жителям кичливой Варшавы, что “наияснейший цесарж и круль” прибыл 10-го (22-го) числа в Модлин, что 11-го числа (вчера) назначен был смотр войскам, там находящимся, а сегодня – маневры. Это известие следовало бы, по-моему, напечатать не просто как о приехавшем каком-либо шляхтиче, а огненными буквами: так важно должно быть это событие для жителей сего царства;

Варшаве же всей, всей следовало бы к нему выйти с повинною головою – от первого сенатора царства до последней обитательницы улицы Фурманской. Верно бы это умилило его грозное чело. Рассказывают, что в Калише встретил народ его с коленопреклонением, что, принимая генералитет, он был с ним чрезвычайно ласков, но про Варшаву сказал он Панкратьеву, что она “не стоит того, чтобы ему в ней быть”.

Такая фарса, как этот выход с хлебом и солью, мог бы много принести пользы. Народ, вообще всякая толпа, так глупа, что, твердя ей одно, можно уверить в том даже, что противно истинному образу ее мыслей. Если бы ей (толпе) чаще твердили, что она любит своего монарха, то она бы и поверила этому, особенно когда бы к этому присоединились две-три высочайших улыбки, которые всегда имеют чарующую силу. Странно, что правительство, употребляя столько людей на то, чтобы наблюдать за общественным мнением, чтобы отыскивать каждую сказанную глупость, так мало заботится о том, чтобы управлять этим общественным мнением. Это, мне кажется, было бы не только легче, но и полезнее; менее было бы случаев делать людей несчастливых, да и самое ремесло было бы чище, следственно, и лучших бы людей можно бы было на оное употреблять. Судьба столь многих не была бы в руках столь низких, коим поневоле правительство должно отдавать на жертву.

…У меня теперь последний роман Вальтера Скотта “Опасный замок”. И в нем видна широкая и могучая кисть романиста, но мне кажется, что уже в ней менее жизни, менее свежести и яркости в красках, что всё подернуто тем же туманом, под коим и в повести многое делается. В описаниях же подробностей и лиц он – всё тот же.

13 (25) сентября

Вчера в 4 часа пополудни государь был здесь, то есть в здешней цитадели, осмотрев которую и войска, составляющие гарнизон городской, отправился в дальнейший путь – в Брест-Литовский. Представленных ему членов правления здешнего принимал он очень ласково, и они остались очень довольными сим приемом. Красотою его не могут они нахвалиться. Варшавских же жителей он не жалует: не захотел принять и депутации их, которая долженствовала просить его осчастливить их его присутствием.

20 сентября (2 октября). Среда

Из писателей, утешающих скучные мои дни, Бальзак есть решительно первый: всё, что ни прочел я из его повестей, прекрасно. “Les contes drolatiques” совершенны в своем роде [19]. Он выбрал для них древний французский слог, тот, которым писал его учитель Рабле, как он говорит. Прочитав несколько страниц, к нему так привыкаешь, что понимаешь остальное без труда. Рассказ очень вольный этих повестей чрезвычайно смешон; конечно, не многим женщинам можно читать эти повести, потому что они довольно сильно действуют на чувственность, но которая их прочтет, будет довольна ими и не найдет их приторными ради игривости их, заглушающей остальные впечатления.

Повестями *Jules Janin* не столько я остался доволен: это всё журнальные, эфемерные статьи, интерес коих исчезает за изменениями политическими, потому что политика в них занимает первое место, литературное же достоинство – второе. Кроме того, он чрезвычайно многословен, как всякий журналист.

5 (17) октября

Сегодня уехал или уезжает мой добрый приятель Лев Пушкин. Судьба сжалилась над ним в особе Аничкова, который увозит его в Петербург так, как Ушаков хотел увезти меня в Москву. Он жил здесь два года для того, чтобы быть исключенным из службы за неявкою в полк (ходатайством фельдмаршала переменили выключку в отставку) и чтобы нажить несколько тысяч долгу, которого, вероятно, он никогда не уплатит. Счастье его, что он еще нашел приятеля, который его вывез из этого неприятного положения, в котором он бедствовал [20]. Хотя я и душевно радуюсь, что он выехал, но мне теперь в моей болезни это большая потеря: я остаюсь в совершенном одиночестве, потому что если кто будет меня навещать, то это всё люди, с которыми у меня мало общего.

6 (18) октября

Я читаю теперь знаменитую книгу стоодного писателя “Le livre des cent-et-un”, или изображение Парижа[21]. Большая часть статей, составляющих оную, весьма любопытна как по содержанию своему, так и по слогу, которым они написаны. Одна из них – “Дуэль” – снова привела мне на память всё, что мы (Burschenschafter) десять лет мыслили об нем, и все старания, которые мы принимали к искоренению оного.

(12) 24 октября

Есть один роман *J. Janin* под названием “Barnave”, одно из произведений его пера, составившее ему известность писателя, которою он теперь и пользуется довольно справедливо, несмотря на журнальную, французскую плодовитость его слова. В этом романе вывел он на сцену, кроме самого Барнава и Мирабо преимущественно, еще несколько лиц того времени. С первого взгляда я узнал, что он их очертил вовсе не в историческом образе, а совершенно в идеальном, так что этот роман нельзя назвать и историческим. В этом мнении моем я еще более убедился теперь, прочитав книгу “Les souvenirs sur Mirabeau”[22], в коей автор оной весьма просто и вероподобно рассказывает, что все почти речи, говоренные Мирабо в национальном собрании, сочинены его сотрудниками, из коих он сам был один из трудолюбивейших, и что во всех остальных сочинениях Мирабо, если бы всякий из его приятелей взял бы назад свое, то у него бы мало что осталось, кроме великого достоинства его собирать и обделывать по-своему чужие материалы. Этим даром, – говорит повествователь, – владел он в высокой степени; кроме того, имел он и другой – заставлять сотрудников своих работать и поощрять в их занятиях. Полную справедливость отдает далее автор книги силе и могуществу его слова, которое заглушало, побеждало всё. Способности же защищать свое мнение он не имел и в этом случае далеко уступал Барнаву, великому диалектику и логистику. Прозорливость Мирабо была, так сказать, пророческая. Она была следствием знания его людей и света, приобретенного им в течение бурной и буйной его жизни. С первого взгляда он безошибочно узнавал людей и всегда умел, когда хотел, снискивать их благорасположение, употреблять их в свою пользу. С начала революции предвидел он и предсказал ход ее.

17 (29) октября. Вторник

Одно утешение моей жизни здешней – это Ольга Сергеевна. Она истинно, кажется, ко мне расположена дружески. Третьего дня была она со мною так откровенна, что не только читала мне свои стихотворные произведения[23], но и сказала, что меня так любит, что сожалеет, зачем я не женщина, чтобы со мною быть еще откровеннее.

27 октября (8 ноября)

Вчера был для меня день исповеди. Ольга поверила мне не только историю чувств своих с самого раннего детства, из коих

многие уже мне знакомы были, но и самое настоящее положение ее сердца. Она так со мною была откровенна, как едва ли она была с кем другим когда-либо, и я дорого ценю эту откровенность.

20 ноября. Тригорское

Исполнились мои желания: возвратился я в дом отцов моих, к жизни новой, единственной оставшейся мне на выбор после испытанных. Непривлекательная она, не заманивает она наше воображение ни разнообразием, ни прелестью видов. Один постоянный труд может сделать ее сносною, может укротить не вовсе еще потухшие страсти – честолюбие и жажду наслаждений. Испытаем ее!

После десятидневного пути от Варшавы, довольно благополучного, без особенных происшествий, с обыкновенными неприятностями путешествия в такое время года в скромном перекладном экипаже, приехав, нашел я всех моих домашних: мать и сестер, замужних и незамужних, – здравствующими: это всё, чего я только и желал. Несмотря на тяжелый от общих неурожаев год, кажется, и хозяйство не в нужде, по крайней мере, сколько мне известно про оное: также важная причина к общему удовольствию.

23 ноября. Четверг

Я застал еще здесь отцов Пушкиных, собиравшихся в путь ко Льву в Петербург, и которые радовались моему приезду, как радуются приезду родного[24]. Провожал их до Врева – баронское владение Евпраксеи[25].

…Хотя я и нисколько не сожалею о том, что оставил службу военную, и не желаю снова начать гражданскую, разве в таком случае, что представились бы мне в какой-либо особенные выгоды, – но всё сельская жизнь землепашца, помещика пугает меня своим однообразием и отчуждением от движущегося и живущего мира.

Я уже решил, что, хотя присутствие мое в тверской деревне и необходимо нужно, жить там один постоянно я не намерен, тем более что это вовлекло бы меня в большие издержки, чем доходы наши это позволяют: должно бы было тогда жить двумя домами, двумя хозяйствами. Мои желания теперь ограничиваются тем, что, узнав настоящую цену и доходы имения, мне бы удалось найти управителя, которому бы можно было поручить оное под собственным моим надзором, а самому, живучи здесь в

Тригорском, разнообразить мой быт хоть кратковременным пребыванием в одной из столиц.

Вчера я приписывал в сестрином письме к Ольге Сергеевне и так расписался в душевном удовольствии, как никакой из приятельниц моих не писывал.

1834

18 февраля. Село Малинники

Я руки в боки упираю
И вдохновенно восклицаю:
“Здесь дома я, здесь лучше мне!
Вот так-то мы остепенимся!”[1]

Вот эпиграф к настоящему моему быту из последнего послания ко мне возлюбленного Николая Михайловича. На пути из Псковской губернии в сию заезжал я на несколько дней в Петроград, чтобы в день именин Анны Петровны[2] навестить ее, и нашел у А. Пушкина, что ныне камер-юнкер, послание ко мне, про существование коего мне и не снилось. Эти четыре стиха я выписал из оного.

19 февраля. Понедельник

Кроме удовольствия обнять Анну Петровну после пятилетней разлуки и найти, что она меня не разлюбила, несмотря на то что я не возвращался с нею к прежнему нашему быту, имел я еще и несколько других, а именно: познакомился с двумя братьями моего зятюшки Бориса – с баронами Михаилом Сердобиным и Степаном Вревским, людьми очень милыми в своем роде; потом представлялся я родственницам и приятельницам матери – госпожам Кашкиным, на свидание с коими мать теперь поехала туда же; рад я был видеть и недоступных Бегичевых, из коих старшей я подрядился чинить перья; наконец, у стариков Пушкиных в доме я успел расцеловать и пленившую меня недавно Ольгу[3]. Вот перечень всего случившегося со мною в столице севера, если я прибавлю еще то, что видел моего сожителя варшавского Льва Пушкина, который помешался, кажется, на рифмоплетении; в этом занятии он нашел себе достойного сподвижника в Соболевском, который по возвращении своем из чужих краев стал сноснее, чем он был прежде[4]. Я было и забыл заметить также, что удостоился я лицезреть супругу А. Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашел мало изменившимся от супружества, но сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его,

написавшего теперь повествование о бунте Пугачева[5] и несколько новых русских сказок[6]. Он говорит, что он возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи.

1 апреля

Две недели тому назад познакомился я с родственницами, довольно дальними, с которыми бы можно было даже законно сблизиться священными узами: с девицами Бакуниными[7]. Числом их шесть сестриц, очень милые, кажется, к тому же и певицы, и плясавицы[8], но всё это никак не манит меня к супружеской жизни. Отец их – препочтенный и преобразованный старик, которого я очень полюбил; и хозяйка, настоящая-то родственница наша, – прелюбезная женщина, которая меня обласкала, как истинно родного.

23 августа

Шесть месяцев, что я живу в одиночестве здесь, прошли так быстро, что я их не заметил. Ежедневный надзор за хозяйством оставлял мне мало времени для других занятий, а еще менее – для жизни умственной с самим собою. Физическая деятельность и отдых после оной сменялись только разъездами к почтенной моей родне.

Заехав однажды, в Троицын день, в Тверской уезд, в дом Ушаковых (они родня моей родне, а у сына их я служил три года в эскадроне)[9], нашел я там, кроме трех премиленьких девочек (хозяйка дома – одна, а две – мои здешние соседки Ермолаевы), очень приятное общество и молодежь нынешнего и прошлого века, так что три дня, которые там я провел, кажутся мне теперь столь приятными, как редко я их проводил. С Ермолаевыми я врал и нежничал, а с одним юношею-поэтом, князем Козловским, твердил стихи Языкова; это первого встречаю человека, который, не знав Языкова, знал бы наизусть столько же стихов, сколько и я их знаю. Чего же мне нужно более? Потом я встречался опять с некоторыми из лиц, там бывших: с двумя темно-русыми сестрицами Ермолаевыми, но всё мне не казалось столь приятным их общество, как в первый раз это было. Они пленяли меня в разных видах и уборах и песнями, и плясками, но очарование новизны исчезло, точно так и надежды на быстрые успехи, которые всегда сначала мне льстят…

4 сентября

Чтение меня это время так избаловало, что я не берусь приняться и за хозяйственное писание, еще менее – за какое-либо другое. Сначала прочел я пресловутую “Историю Русского народа” (4 части), сочиняемую Полевым, и нашел ее лучше, чем ожидал оную найти. Он, по крайней мере, понимает, как история должна писаться, и делает по силам: на Карамзина он нападает с пристрастием иногда, но вообще бывает более правым в своем мнении об нем. Взгляд его на разные эпохи русской истории вернее его предшественников, и некоторые лица оной являются у него в совершенно новом виде, чем у прежних историков. Везде видно, что он учился и трудился по новым германским образцам, кои так далеко подвинули вперед науку дееписания[10].

Потом прочел я две книги нового журнала “Библиотека для чтения”, сотрудниками коего суть все наши литературные знаменитости от Пушкина до Полевого. Главные его редакторы – Греч и Сенковский; последний, однако, удалился от издания и вошел в ряды простых сотрудников[11].

3 октября

Новые приятели мои – Ермолаевы – снабжают меня и книгами; последняя, которую они мне дали и я теперь только прочел, а именно “Résignée” par G. Drouineau[11a], есть что-то “неохристианское” (и выражение-то мне непонятно), чего я никак не понимаю. Автор старается доказать лицами, у него действующими, во-первых, превосходство своего неохристианского исповедания, потом – ничтожность и пустоту материализма и рационализма, проповедуя, что вне веры нет спасения и жизни в этом мире. Этот господин сперва доказывает весьма многословно и высокопарно существование Божие, в чем, однако, еще никто, кажется, и не сомневается. Но от существования Божия до христианства, и особенно до неохристианства, еще весьма далеко. Читая эту книгу, я невольно почувствовал желание отдать отчет самому себе в своих понятиях о сем предмете и должен сознаться, что нашел в себе одно только сомнение, или чистый скептицизм, или неверие и сомнение во всём, что относится к религиозным понятиям, к так называемым обязанностям человека к Божеству. Что же касается до взаимных обязанностей людей, одного человека к другому, и до общественных, то дело другое: тут всё положительно и сомнений нет. Любить другого, как самого себя или еще более, как христианство гласит, есть идеал высокий; но не делать другому того, чего не желаешь самому себе, – возможно не всякому.

1836

8 декабря

Вот чрез два года, откинув лень, эту постоянную мою слабость, от которой ни летá, ни убеждение не исправляют, вздумалось мне взяться за перо, чтобы отметить эти минуты жизни моей. Следовало бы сперва сделать очерк самого себя и прибавить, в чем я думаю, что изменился с того времени, как письменно не излагал отчетов о самом себе. Но я не живописец и едва ли буду уметь то сделать; по крайней мере до этого времени мне никогда не удавались портреты. Постараюсь, однако, надо же испытать свои силы.

Начну с тела: состояние его важнее, чем многие думают. Эти два года был я совершенно здоров; довольно однообразная, воздержная жизнь, свежий воздух, здоровый климат и телесная деятельность, сопряженная с надзором за хозяйством, предохранили меня от всяких болезней. Вот всё, кажется, что можно сказать о бренном теле. Успехов от развития его сил в эти лета и в нашем образе жизни почти нет: всё поглощают умственные занятия. Разве назвать успехом то, что, будучи прошлое лето в Петербурге, я взял несколько уроков в танцовании и теперь, танцуя без усталости, заслуживаю часто похвалу хозяек дома, нуждающихся в неутомимых плясунах.

После телесных следует, разумеется, заметить умственные перемены (успехами едва ли можно назвать): они незначительны. Кажется, опыт этих двух лет только развил и подтвердил во мне начала, уже существовавшие, признанные мною. По образу жизни – новых познаний приобрел я только несколько практических, относящихся к главному занятию моему. От других я совершенно отлучился – более от лени, чем по другой какой-либо причине. Поэтому я стал еще реальнее прежнего и вовремя почти оставил идеализм, с которого прежде всё начинал. Это господствующее направление заметно и в нравственном состоянии моем. Страсти мои вещественны: я не увлекаюсь надеждами славы, ни даже честолюбия. Я почти ограничиваюсь минутным успехом. Женщины – всё еще главный и почти единственный двигатель души моей, а может быть, и чувственности. Богатство не занимает меня, и жажда его не возрастет во мне до страсти. Если бы я мог пристраститься еще, то это – к азартным играм: они довольно сильно действуют на меня. Пушкин справедливо говорил мне однажды, что страсть к игре есть самая сильная из страстей[1].

Уединенная, одинокая, ни от кого не зависящая жизнь, привычка всегда повелевать ими, иногда вредное влияние на наш нрав делает его самовластным, нетерпеливым, вспыльчивым. Трудно мне будет избегнуть от этого влияния, особенно с моим запасом самосознания. Меня обвиняют в слишком высоком мнении те (женщины – с мужчинами я мало рассуждаю), с которыми я иногда разговорюсь, потому что, говоря о себе, я выставляю себя таким, иногда до бессмыслия; они верят на слово и по нём составляют себе обо мне понятие. Увы, кто лучше меня знает, как мало во мне дельного! Что в других я его тоже немного встречаю, не есть причина себя высоко ценить. Таким ли бы я желал быть, каким я себя чувствую! Большой недостаток твердости в исполнении воли я постоянно вижу в себе и мало замечаю успеха, так что мне гораздо лучше бы было следовать минутному впечатлению, не вдаваясь в рассуждения: совсем наоборот, чем советуют другим людям, у которых страсти берут верх над рассудком.

Очередь теперь сердечным ощущениям. Иные утверждают, что я решительно не способен стал к ним, а может – и был; это мне трудно определить. Я ценю любовь самоотвержением и по степени его определяю и ту. Таким образом, сколько собственного блага, удовольствий, спокойствия, труда, наконец лишений я в силах принести за тех, кого люблю, можно только узнать по опыту. Убежденный в необходимости пожертвования, я думаю, что буду способен к нему.

Занятия мои ограничивались одним распоряжением хозяйства моего. Успехи в них не соответственны ожиданиям, какие следовало бы иметь. И причины тому ясны: это лень и слабость характера. Знания в деле достаточны бы были, но исполнение недостаточно. Особенно нынешний год понес я убытки значительные от беспечности и нерадения. Я искренне убежден в этих моих недостатках и проступках, которые ежедневно я чувствую, но, увы, мало исправляюсь! Я читаю больше, чем следовало бы, романов и журналов, потом всё, что выходит из печати по части главного предмета моих занятий, но не довольно его изучаю.

На выборах дворянских нынешнего года взял я на себя обязанность непременного члена губернской комиссии народного продовольствия – место, которое не требовало много занятий, но в 14-тиклассной табели наших чинов занимало шестое место, то есть в чине полковника или коллежского советника. Я то сделал, чтобы показать, что я не чуждаюсь ни светской, ни служебной черни[2]. И я не сожалею о том, тем более что через месяц потом этой должности, бывшей без жалования, назначен был

соответственный чину 1500 рублевый оклад жалованья. Этот случай можно мне назвать счастливым, точно так и всё начало моей дворянской службы. После трехлетия меня в ней можно будет выбирать только в высшие должности – предводителя и тому подобные.

10 декабря

Занятия по этой моей должности почти ничтожны и не требуют постоянного присутствия в губернском городе. Прежде службы моей познакомился я в Твери со всеми властвующими. Губернатор – граф Толстой Александр Петрович, сын генерала от инфантерии Петра Александровича Толстого, человек очень достойный и благонамеренный, с познаниями, приобретенными в путешествиях, в службе военной, – был флигель-адъютантом, из высшей аристократии, с обращением человека светского и образованного, к тому же очень простой и добрый; с первого знакомства через Александра Михайловича Бакунина был чрезвычайно любезен со мною. Губернский предводитель Алексей Маркович Полторацкий был приятелем отца моего и припомнил даже, что был мне крестным отцом, чего я до сего времени и не подозревал, точно так же всегда был ко мне очень хорош. Эти связи поставили меня тотчас на первую степень тверского общества и много содействовали успеху моему и на выборах. При баллотировке положило дворянство мне 160 белых и 20 с чем-то, если не ошибаюсь, черных шаров. Всего лестнее было для меня здесь слышать общий голос похвалы деду моему Ивану Петровичу и отцу моему. Память добродетелей первого и любезных качеств другого всё еще свежа в тех, которые их знали. Несколько раз я слышал вопрос: “Какой это Вульф?” – “Сын Николая Ивановича”. – “О, так ему надо положить белый шар!”

Со времени моего приезда сюда я ездил два раза к матери в Псковскую губернию и по пути заезжал в Петербург[3]. Кроме того, в 1835 году я был летом там же по делам опекунского совета и в феврале этого года прожил две недели по той же причине в Москве. Эти поездки и кратковременное пребывание в столицах замечательны только для меня тем, что ввели в значительные издержки, но пользы и, следовательно, удовольствия мало мне принесли. Прошлое лето, будучи в Петербурге, видел я впервые в толпе других не пользующихся никаким преимуществом зрителей знаменитый петергофский праздник 1-го июля[4] с его великолепным освещением сада и с десятками тысяч народу всех состояний, толпящимися в его аллеях. Видел я и царскую фамилию с блестящею атмосферою двора, но это всё в дали

такой, что должно бы было казаться мне удивительно любопытным, занимательным и прекрасным, почему я об этом и ни слова, кроме одной похвалы толпе, которую я всегда тоже люблю, где бы то ни было – в церкви, на бале или на гулянье, особенно если она оживлена хоть и не общим удовольствием, по крайней мере, общим любопытством. Такого же рода удовольствием пользовался я на публичных маскарадах в доме Энгельгардта в том же году на масленой неделе: та же масса людей, но только теснее сжатая и, следственно, более оживленная.

На московский свет я только успел взглянуть мельком, и то во время Великого поста, следственно, не в минуту полной жизни. Был я и в известном собрании московского дворянства, которое точно лучше и блистательнее всех других, какие я видал.

Там я неожиданно обрадован был встречею с несколькими старыми, десятилетними знакомцами: с Шепелевым, моим академическим приятелем, который вместе с Языковым был из соотечественников моих единственным задушевным моим приятелем; потом с братом Языкова, Александром Михайловичем, которого я знавал в Петербурге. Он, кажется, порадовался мне искренно, написав об встрече со мною тотчас же к брату, так что вскоре после возвращения моего из Москвы я получил от Николая Михайловича письмо, меня чрезвычайно утешившее: я думал, что он забыл про то, что я его так люблю. После получил я другое в ответ на мое, но странное дело, он опять замолчал. Недавно, в октябре, я спрашивал снова его о причине, но еще не получил ответа. Говоря о Москве, нельзя умолчать о первой ее красе – о девицах; искони ими она богата и славится. Одну из этих пресловутых (Екатерина Николаевна Ушакова), знакомую мне понаслышке много уже лет по дружбе с Пушкиным, Александром[5]. Этот тип московских девушек был со мною чрезвычайно любезен так, как будто бы мы уже знали друг друга с тех пор, как друг о друге слышали; обо мне, однако, слухи дошли до нее, вероятно, не так давно, как я об ней слыхал. Вот всё почти, что на этот раз осталось в памяти моей об Белокаменной.

1842

9 января. Пятница

Кроме хозяйства, мои занятия заключаются в чтении. Эти дни в руках у меня было несколько нумеров “Revue de deux mondes”[1] прошлых месяцев. Кроме литературных статей в нем много и политических, очень хорошо писанных. Первые, разумеется, как и во всех нынешних повременных изданиях, все повести лучших французских писателей, и читаешь их всегда с удовольствием. Читал я эти дни также собрание повестей в пользу Смирдина, изданных под заглавием “Русской беседы”[2]. Русские писатели хотели этою “Беседой” вознаградить Смирдина за то, что он разорился из приязни и самоотвержения к русской литературе: такую нелепость он напечатал при объявлении об издании “Беседы”. И нельзя сказать, чтобы господа писатели наши оказались щедрыми в этом случае. Первый том вышел ниже посредственности, так что “Отечественные записки” не нашли в нем ничего похвалить лучшего, кроме басни, чьей же? – Бориса Федорова![3] Второй том немного лучше: там хоть и не встретишь также ни одной из наших знаменитостей, но по крайней мере из патриотизма, более самоотверженного, чем все издания Смирдина, можно прочитать повести Основьяненка и Соллогуба. Третий, надеяться можно, будет еще лучше[4]. Надо заметить, что книгопродавцы наши ведут свои дела очень плохо. Хотя книги у нас и дороже, чем где-либо, а главные торговцы ими все разоряются. Все, которые из них брались за издание книг, обанкрутились: Плюшар с своим “Энциклопедическим лексиконом” и роскошными иллюстрированными изданиями, московский член разных ученых обществ Ширяев – своими хозяйственными и общеполезными изданиями дошел до того, что после смерти его в прошлом году книжная лавка его также закрылась; наконец Смирдин, издавший на несколько миллионов сочинений русских классических писателей, тем самым расстроил совершенно свои дела, как сами писатели то публично объяснили. Такому общему несчастью этих книгопродавцев, однако же, причиною не книги, не писатели наши, а просто их собственная безграмотность. Трудно поверить, в какой запутанности и безотчетности были их дела! У Ширяева, например, не было каталога, по которому можно бы было отыскать книгу, за год у него же перед тем вышедшую! Лажечников, наш знаменитый романист и сосед по Старицкому

уезду[5], рассказывал, что он однажды с Смирдиным несколько месяцев не мог рассчитаться, чтобы только узнать, кто из них кому должен! И ни с ним одним это случалось. После таких примеров можно себе представить порядок в делах этих торговцев и как шли их обороты. Покуда торговали они книгами, как в Гостином дворе торгуют московскими ситцами, дела были у них хороши; но как скоро обороты от успеха стали у них обширнее, взялись за издание книг, то по совершенной безграмотности своей они должны были разориться, особенно когда сами писатели и преимущественно журналисты наши воспользовались этим. Булгарин своею “Россией” подорвал Плюшара, Сенковский за редакцию “Библиотеки для чтения” тоже со Смирдина брал столько, что тому немного от нее оставалось. Эти господа составили себе большое состояние, а книгопродавцы разорились.

6 февраля

Много лет уже, как я более ленюсь, чем дела делаю. И в хозяйственных занятиях я избегаю трудных, то есть постоянных и сухих, и предпочитаю им легкие, не требующие ни труда, ни лишений, ни умственных напряжений. Чувствую, как это недостойно всякого рассудительного и себя сознающего существа, но это сознание всё остается бесплодным. Вот одно доказательство отвычки от всякого умственного занятия: два года тому назад я получил от Языкова, быть может, единственного человека, которого я люблю (других немногих уже не стало), из-за границы письмо и не нашел времени к нему написать. Теперь привез мне Николай Игнатьевич Шениг (называю его потому, что он стоит у меня на ряду немногих)[6], возвратившись недавно оттуда же, от него подарок – сигарочницу, и сколько я ни дорожу этим воспоминанием обо мне, всё не благодарил его за оное.

21 марта. В Малинниках

Весь февраль прожил я в Тригорском в ожидании снега и только в конце оного дождался; это было на масленой неделе. Его было, однако, не так еще мало, что с трудом доехали мы с братом[7] до Острова, где и провели неделю с сестрами очень весело. Первым удовольствием для меня была неожиданная встреча с Львом Пушкиным. На пути с Кавказа в Петербург, разумеется, не на прямом, как он всегда странствует, заехал он к нам в Тригорское навестить нас да взглянуть на могилу своей матери и брата, лежащих теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу после смерти, чем были в жизни. Обоих он не

видал перед смертью и в 1835 году, расставаясь с ними, никак не думал, что так скоро в одной могиле заплачет над ними. Александр Сергеевич, отправляя тогда его на Кавказ (он в то время взял на себя управление отцовского имения и уплачивал долги Льва), говорил шутя, чтобы Лев сделал его наследником, потому что все случаи смертности на его стороне: раз, что он едет в край, где чума, потом – горцы, и наконец, как военный и холостой человек, он может быть еще убитым на дуэли. Вышло же наоборот: он – женатый, отец семейства, знаменитый – погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом, а этот под пулями черкесов беспечно пил кахетинское и так же мало потерпел от одних, как от другого! Такова судьба наша или, вернее сказать, так неизбежны следствия поступков наших. Преждевременная смерть в прошлом году Лермонтова, еще одного первоклассного таланта, который вырос у нас не по дням, а по часам, в два или три года сделавшегося первым из всех живших поэтов, застреленного на дуэли из-за пустой шутки на Кавказских водах, служит другим доказательством, как от страстей своих никто не уходит безнаказанно. Лев рассказывал как очный свидетель этой печальной потери, которую понесла в Лермонтове вся мыслящая Русь. Прошлую зиму я встретился с ним в Петербурге в одном доме, именно у Арсеньевых, его родственников, и с любопытством вглядывался в черты его лица, думая, не удастся ли на нем подглядеть напечатления этого великого таланта, который так сильно проявлялся в его стихах. Ростом он был не велик и не строен; в движениях не было ни ловкости, ни развязности, ни силы; видно, что тело не было у него никогда ни напрягаемо, ни развиваемо: это общий недостаток воспитания у нас. Голова его была несоразмерно велика с туловищем; лоб его показался для меня замечательным своею величиною; смуглый цвет лица и черные глаза, черные волоса, широкое скулистое лицо напомнили мне что-то общее с фамилией Ганнибалов, которые известно, что происходят от арапа, воспитанного Петром Великим, и от которого по матери и Пушкин происходит. Хотя вдохновение и не кладет тавра на челе, в котором гнездится, и мы часто при встрече с великими талантами слышим, как повторяют, что наружность такого-то великого писателя не соответствует тому, что мы от него ожидали (и со мною это случалось), но всё, кажется, есть в лице некоторые черты, в которых проявляется гениальность человека. Так и у Лермонтова страсти пылкие отражались в больших, широко расставленных черных глазах под широким нависшим лбом и в остальных крупных (не знаю, как иначе выразить противоположность “тонких”) очерках его лица. Я

не имел случая говорить с ним, почему и не прибавлю к сказанному ничего об его умственных качествах. Не могу, однако, расстаться со Львом, не заметив, что восемь лет его очень мало изменили: он всё такой же милый собеседник, каким узнал я его в Варшаве; как тогда готов дни просиживать за обедом, а ночи – за пуншем и т. п. Разница между нами стала только в том, что в его курчавых белокурых висках просела седина, а у меня стали волосы редеть. Морально же мы каждый своим путем: я стал еще холоднее и рассудительнее, он же – беззаботнее, кажется.

19 ноября

Весь прошлый месяц, октябрь, мы здесь так много веселились, как только возможно было. Была сначала у Понафидиных свадьба. После истинного пира свадебного настала пора охоты, и мы отправились в отъезд сначала поближе – к Казнакову, нашему уездному предводителю (семейство всё чрезвычайно своеобразное), принимавшему нас очень радушно. Потом и далее – к Бакуниным. Никогда я так безусловно приятно, без всяких особенных видов, как было прежде, когда так съезжался с своими соседками, не гостил. Отчасти тому причиною, что встретил там моих молоденьких и хорошеньких приятельниц, тоже Полторацких, с коими танцовали мы опять три дня сряду, как на свадьбе, и снова я приобрел похвалу и признательность танцующих за добрый пример, который им подавал. Так-то! Мы еще не очень постарели и еще имеем некоторые успехи в деревенском безлюдье. Это новое поколение выросло недавно на наших глазах, так я и смотрю на них, как на детей, а они уже твердят, что “нам семнадцать лет и стали невестами”. Любезничать же с ними по-прежнему, как с их предшественницами, как-то совестно. Тут опять вспомнишь приятеля нашего Александра Сергеевича, который то же говорил в свое время:

Мне не к лицу и не по летам…

и т. д.[8].

Как верно он передавал ощущения наши, своих почти современников, или, сказать вернее, нас, его учеников и последователей!

Приложения

Памятная книжка А. Н. Вульфа на 1829 год

12 генваря	Именины Евпраксии.
16 генваря	Поехал с Пушкиным в Петербург.
18 генваря	8 часов вечера с Пушкиным приехал в Петербург.
24 генваря	Зачислен я на службу в принца Оранского гусарский полк унтер-офицером до рассмотрения бумаг.
7 февраля	8 часов вечера выехал из Петербурга.
9 февраля	11 часов вечера приехал в Торжок.
10 февраля	В Малинники.
25 февраля	Был я в Твери у Евпраксии.
8 марта	Выехал из Малинников.
9 марта	Выехал из Старицы.
15 марта	Пробыл в Киеве.
18 марта	Ночью приехал в Могилев, что на Днестре, с артиллерии генерал-майором, служащим при великом князе, Бибиковым.
22 марта	Выехал из Могилева.

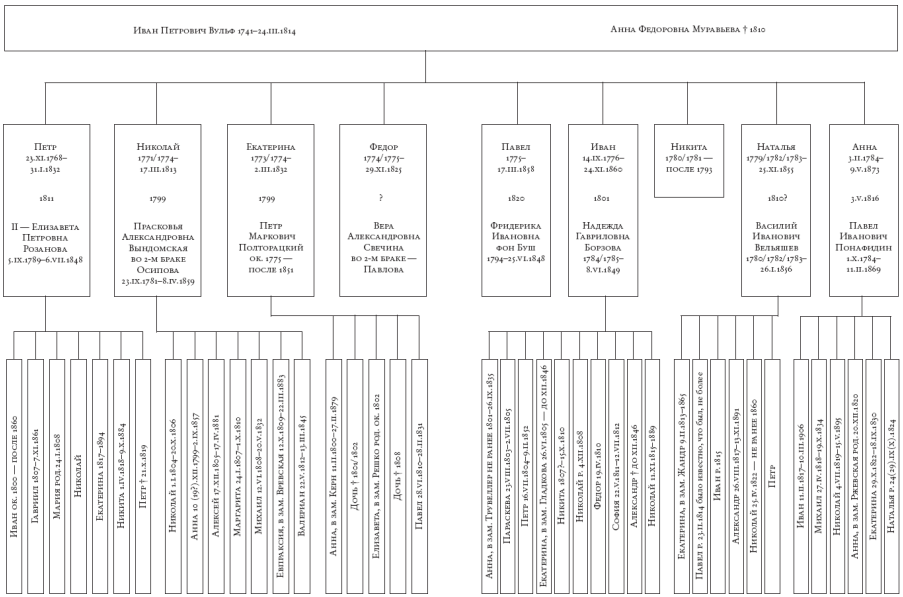
24 марта	Прибыл в Яссы.
28 марта	Выехал из Ясс.
1 апреля	Приехал в село Пашкане, местопребывание полка.
7 апреля	Выступил в поход принца Оранского гусарский полк.
15 апреля	Писал в Тверь и Петербург.
25 апреля	Писал к Языкову.
27 апреля	Писал к матери, сестре и Анне Петровне через Одессу.
28 апреля	Перешли мы Дунай.
11 мая	Пришли мы в лагерь при селе Кагарне (Каургу).
17 мая	Выступили из Каургу.
19 мая	Пришли в Козлуджу.
25 мая	Дело под Праводами.
29 мая	Дело Витгенштейнова полка с отступающим из Правод визирем.
30 мая	Разбитие визиря под Шумлою (19 конно-батарейная рота Бобылева решила дело).
31 мая	Кавалерийское дело нашей дивизии под Шумлою.
6 июня	Пошла наша дивизия в экспедицию за Шумлу к Джумае.
9 июня	Получил от Анны Петровны письмо, возвратившись из экспедиции.
14 июня	Получил письма от матушки и сестры через Ушакова.
18 июня	Пришла наша дивизия под Силистрию, которая в этот же день, по нашем приходе, и сдалась.
23 июня	Писал к матери, сестрам и Анне Петровне.
28 июня	Возвратился опять под Шумлу.
29 июня.	Получил письма от сестры и Анны Петровны

5 июля	Отступила главная квартира от Шумлы; мы были в арьергарде.
6 июля	Пришли в Енибазар и остались в нем при наблюдательном корпусе над Шумлою.
17 июля	Отправлены письма к матери, сестрам и Анне Петровне.
26 июля	Экспедиция нашего полка в Балканы к Джумае.
27 июля	Рекогносцировка ущелий близ Эски-Стамбула, где при атаке редутов князь Горчаков ранен и потерял (без нужды) более 100 человек.
28 июля	Нападение турок на наш корпус под Марашем; Ахтырский и Александрийский полки прогнали их; первой особенно отличился и 19 конно-батарейная рота.
2 августа	Получил письмо от Анны Петровны от 28 июня; просил полковника о представлении.
3 августа	Отвечал Анне Петровне.
4 августа	Перешел лагерь <?> нашего корпуса под село Мадара.
6 августа	Рождение Л. П. Райзер.
7 августа	Принял наш (3) эскадрон майор Бер.
14 августа	Писал к матери и сестре.
18 августа	Лагерь выступил вечером из Мадеры, а ночью заложен 1 редут и параллель под Шумлою.
19 августа	Продолжаются работы, а в ночь заложен 2 редут на правом фланге.
22 августа	Открыты батареи на наших редутах.
25 августа	Вечером турецкая граната взорвала в переднем редуте зарядный ящик и убило 3 человека. Пошли мы к Джумае.

26 августа	До свету атаковали и взяли оной без выстрела, но после вытеснены из оного — хвала нашему распоряжению!!!…
29 августа	Узнав от переметчика об уходе части нашей кавалерии, вышли поутру турки из Шумлы, но скоро были прогнаны артиллериею и оставшеюся кавалериею.
31 августа	Возвратились мы из экспедиции в Джумай.
2 сентября	Получил письма от 1 августа от матери, сестры Сашеньки и Евпраксии.
4 сентября	Умер Мадатов.
5 сентября	В ночи получено известие о заключении мира; я был при первом свидании визиря с Красовским.
9 сентября	Получил письмо от Анны Петровны от 17-го июля.
20 сентября	Отправил письма к матери, сестрам и Анне Петровне.
22 сентября	Получено известие, что военные действия с турками начались опять. Этот слух оказался впоследствии ложным.
25 сентября	Получил письма от матери и сестры.
28 сентября	Отвечал матери.
5 октября	Отвечал сестре.
10 октября	Писал к Анне Петровне и Языкову.
21 октября	Пошли от Шумлы обратно в Бабадаг.
23 октября	Козлуджи.
25 октября	Безарджик.
3 ноября	Пришли мы в деревню Сарыкиой близ Бабадага — зимние наши квартиры.
14 ноября	Чувствуемо было довольно сильное землетрясение поутру, около 6-ти часов.

15 ноября	Получил письмо от матери и сестры от 8-го сентября
19 <ноября>	Отвечал матери и сестре.
7 декабря	Получил письмо от матери.
25 декабря	Получил от матери письмо из Тригорского от 4-го октября.
30 декабря	От матери получил <письмо> от 4-го ноября.
31 декабря	Отправил письма к сестре, матери и Анне Петровне.

Из родословной Вульфов (потомство Ивана Петровича Вульфа)



Комментарии

Настоящее издание дневника А. Н. Вульфа – наиболее полное из всех сегодня имеющихся. Готовя его, мы преследовали две цели. Во-первых, познакомить широкого читателя с этим замечательным и очень характерным документом эпохи. Во-вторых, дать в руки специалистам более достоверный, чем они имели ранее, текст этого литературного памятника. В связи с этим определились и особенности подготовки текста дневника к печати.

Как известно, отрывки из дневника Вульфа впервые появились в печати в журнале "Русская старина" (1899. № 3. С. 499–537; № 4. С. 39–52; сообщено Л. Н. Майковым) и в книге Л. Н. Майкова "Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки" (СПб., 1899. С. 164–222). Л. Н. Майков опубликовал фрагменты записей за 1827 и 1832–1842 годы, которые были им обнаружены. В настоящее время нахождение рукописи, с которой осуществлял свою публикацию Л. Н. Майков, неизвестно, поэтому мы вынуждены воспроизвести эти части дневника Вульфа в том виде, как они даны у первого публикатора, хотя совершенно очевидно, что текст Вульфа был подвергнут Л. Н. Майковым редакционной правке, в результате которой многие особенности вульфовского текста унифицированы. Кроме того, тексты журнальной и книжной публикаций имеют некоторые отличия, происхождение которых не вполне ясно. Лишь в наиболее очевидных случаях мы вносим исправления в книжный текст по журнальной публикации.

Позднее были обнаружены и опубликованы дневники Вульфа за 1828–1831 годы. Публикатор и автор примечаний М. Л. Гофман проделал исключительно большую работу, представив текст дневника в том виде, как он вышел из-под пера Вульфа: со всеми сокращениями и ошибками. Надо, впрочем, сказать, что в чтении отдельных мест М. Л. Гофман был неточен, ряд пассажей был опущен им по цензурным соображениям, многие страницы были выпущены как не представляющие (с его точки зрения) особого интереса. Вместе с тем эта публикация (Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. XXI–XXII) до сих пор сохраняет свое значение, хотя и в ценном комментарии М. Л. Гофмана мы теперь находим ошибки.

Публикация дневников Вульфа в 1915 году произвела очень сильное впечатление на читателей. Е. К. Герцык (*Воспоминания*. Paris, 1973. С. 160) писала о реакции М. О. Гершензона: "Помню впечатление, вынесенное им из записок Алексея Вульфа <…>

Холодный разврат, вскрывшийся в них (не ради самого Вульфа, а ради участия в нем Пушкина), буквально терзал его, и недели он ходил, как больной".

В 1929 году появилась новая публикация дневника Вульфа, редактор которой П. Е. Щеголев соединил две предыдущие. Текст публикации Л. Н. Майкова он передал с некоторыми сокращениями; в тексте же публикации М. Л. Гофмана, вопреки заявлению в предисловии "От редактора" ("кое-какие пропуски мы могли восстановить по подлиннику" // Вульф А. Н. *Дневники (Любовный быт пушкинской эпохи)*. М., 1929. С. 7), не только не было сделано никаких дополнений, но, напротив, были сделаны большие и не всегда оправданные купюры. Впрочем, недостаток издания 1929 года заключается, скорее, не в этом, а в том, что в текст дневника вкралось очень большое количество неточностей, ошибок и опечаток. Были унифицированы диалектно-разговорные формы, многочисленные у Вульфа: например, "куда" – вместо "куды" (с. 186 и др.), "Рождества" – вместо "Рожества" (с. 188) и т. п. Были унифицированы формы согласования, например: "У ней видно было расслабление во всех движениях, которое (у Вульфа: которую) ее почитатели назвали прелестною томностью" (с. 186) и т. д. Как результат стремления к унификации появились портящие текст сочетания: вместо "во всякой яму задерживают его" (здесь "ям" – почтовая станция) появилось: "во всякой яме задерживают его" (с. 194). Многочисленны пропуски значительных отрезков текста и другие недочеты. Между тем авторитет П. Е. Щеголева придал публикации 1929 года большой научный вес, и недостатки издания просто не замечались. Более того, воспоминания Вульфа об А. С. Пушкине перепечатываются по этому изданию во всех последующих публикациях, включая и наиболее авторитетные (см., например: *А. С. Пушкин в воспоминаниях современников*: В 2 т. М., 1985. Т. I. С. 449–456). Это, естественно, приводит к умножению ошибок. Примечания же к изданию 1929 года, написанные И. С. Зильберштейном, повторяют текст примечаний М. Л. Гофмана, не внося ничего нового. Эти замечания следует отнести и к современным перепечаткам фрагментов дневника Вульфа: *"Опасение верности": Алексей Николаевич Вульф на rendes-vous* / Предисловие и комментарий А. Е. Махова // Апокриф. 1994. [№ 3]. С. 77–83; Любовный быт пушкинской эпохи; [В 2 т.] М., 1994. Т. 1 / Составление, предисловие, подготовка текста С. Т. Овчинниковой. Надо, впрочем, указать, что С. Т. Овчинникова верно отмечает все недостатки предыдущих изданий и одновременно полагает, что "дневники Вульфа еще ждут своего научного издания: тщательно сверенный с автографом текст их должен быть опубликован без

досадных пропусков и небрежностей и подробно прокомментирован современными исследователями” (с. 7).

Высказанные соображения, помимо живого читательского интереса, который вызывает дневник Вульфа, делают новую публикацию текста еще более необходимой и ставят одновременно перед публикаторами особые задачи. Прежде всего, учитывая адресацию книги широкому читателю, мы публикуем текст дневника не со всеми палеографическими особенностями. Во-первых, без особых оговорок расшифрованы все сокращения, которые есть в дневнике Вульфа, поскольку особой системы сокращений у него не было и они, следовательно, были не значимы. Во-вторых, в тех случаях, когда то или иное написание изменилось просто от времени, текст дневника печатается по нормам современной орфографии (типа написания наречий с приставками: в XIX веке писали “в право”, теперь же – “вправо”). Вместе с тем необходимо было воспроизвести с максимально большой точностью те стороны рукописи Вульфа, которые отражают характер эпохи и его личный, индивидуальный характер. Сохранены все грамматические особенности его речи, например, отличные от современных согласование и управление. Кроме этого, сохранены стилистически маркированные формы литературного языка начала прошлого века: например, окончание прилагательных – *ой,* использовавшееся в “низких” жанрах, для передачи речи, близкой к бытовым формам, и окончание – *ый*, – в жанрах “высоких”, для передачи речи торжественной, небытовой (см. об этом: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. *Текстологические принципы издания* // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 517–518). То же относится к употреблению форм типа “лица” и “лицы”, “постеля” и “постель”, и к такой непривычной форме глагола “идти” в прошедшем времени, как “ишли” вместо современного “шли”.

В настоящем издании восстановлены многие моменты текста, которые были купированы в издании 1929 года по сравнению с предшествовавшими публикациями Л. Н. Майкова и М. Л. Гофмана, и введены в основной текст те фрагменты, которые в издании М. Л. Гофмана были даны в примечаниях и в сопутствующих комментариях. По рукописи дневника 1828–1831 годов, хранящейся в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Институт русской литературы РАН), восстановлен ряд мест, опущенных предыдущими публикаторами по цензурным соображениям; некоторые моменты, отражающие работу Вульфа над словом (нижний слой текста); а также другие эпизоды, не представлявшие особого интереса для наших предшественников. В результате текст дневника за 1828 год, интереснейший в жизни

Вульфа и богатый информацией о литературно-художественной жизни Петербурга, а также страницы дневника за 1829 год (до описания Киева включительно) впервые даны полностью. Многие места, затруднявшие предыдущих публикаторов, прочитаны более точно, в ряде случаев по-новому расшифрованы имена, сокращенно представленные у Вульфа.

Текст дневника дополнен двумя приложениями. Первое из них представляет собой текст записной книжки, которую А. Н. Вульф вел в 1829 году, когда он не имел возможности делать поденные записи в дневнике. Эта записная книжка восстанавливает важные пробелы дневника и позволяет объяснить метод работы Вульфа над многими его страницами. Во втором приложении дан фрагмент родословной таблицы Вульфов: тех трех поколений, которые фигурируют в дневнике А. Н. Вульфа. Это приложение позволяет наглядно представить ту большую семью, которую автор дневника называет “тверскими Вульфами” и “нашим обществом старицким”.

Комментарий к изданию разделен на две части. В первой дано пояснение реалий, упоминаемых в тексте. Во второй части комментируются имена, встречающиеся в дневнике Вульфа: это аннотированный именной указатель, в который включены только те имена, которые называет Вульф, или имена тех авторов, произведения которых упоминает Вульф. Имена, зафиксированные в комментариях, в этот список не включены.

Мы благодарны всем, кто на разных этапах работы помогал нам своими советами и справками: Л. Г. Агамалян, А. Ф. Белоусову, Л. А. Бы ковой, Г. В. Бырдиной, Л. А. Казарской, Р. Д. Кузнецовой, Г. Ф. Симакиной, Л. А. Тимофеевой, Л. К. Хитрово, С. А. Фомичеву, Татьяне Шор.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

Гофман – Гофман М. Л. *Предисловие. Примечания. Приложение 1: Маршрут А. Н. Вульфа. 1828–1832 гг. // Пушкин и его современники.* Пг., 1915. Вып. XXI–XXII.

Дельвиг – Дельвиг А. И. *Воспоминания. 1820–1870* / Ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха: В 2 т. М.; Л., 1930. Т. 1.

Зильберштейн – Зильберштейн И. С. *Комментарии // Вульф А. Н. Днев ники (Любовный быт пушкинской эпохи)*. М., 1929.

Керн – Керн А. П. (Маркова-Виноградская). *Воспоминания о Пушкине*. М., 1987.

Модзалевский – Модзалевский Б. Л. *Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание*. СПб., 1910. Пушкин и его современники. Вып. IX–X. Репринтное воспроизведение: М., 1988.

ПИМ – *Пушкин: Исследования и материалы*. Л., 1956–1991. Т. I–XIV.

П и С – *Пушкин и его современники.* СПб. (Пг., Л.), 1903–1930. Вып. I–XXXIX.

Пушкин – Пушкин. *Полное собрание сочинений*: В 16 т. [Л.], 1937–1949.

Рукою Пушкина – *Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты.* М.; Л., 1935.

Семевский – Семевский Михаил. *Прогулка в Тригорское: Биографические исследования и заметки о Пушкине* / Вступит. статья, составление и примеч. С. В. Березкиной. СПб.: Пушкинский Дом, 2008.

Языков – Языков Н. М. *Полное собрание стихотворений*. М.; Л., 1964. Библиотека поэта. Большая серия.

1827

[1] И. П. Вульф владел в Тверской губернии большими поместьями в Старицком уезде, которые впоследствии были разделены между его детьми (называем только центры поместий): Петр И. Вульф стал владельцем сельца Соколово; Николай И. Вульф – владельцем сельца Малинники; Федор И. Вульф – владельцем сельца Нивы; Павел И. Вульф стал владельцем сельца Павловское; Иван И. Вульф получил в наследство Берново. Дочери получили в приданое: Екатерина И. Вульф (замужем за П. М. Полторацким) – деревню Кушниково; Ан на И. Вульф (замужем за П. И. Понафидиным) – хутор Курово-Покровское; Наталия И. Вульф (замужем за В. И. Вельяшевым) – сельцо Мариничи.

[2] А. П. Керн так вспоминала о родителях Вульфа:

> Это была замечательная пара. Муж нянчился с детьми, варил в шлафроке варенье, а жена гоняла на корде лошадей или читала Римскую историю… Нас (А. П. Керн и А. Н. Вульф. – *Ред.*) и вели совершенно ровно, и покупали мне то, что и ей, в особенности наблюдал это брат моей матери Николай Иванович, превосходное существо с рыцарским настроением и с любовью ко всему изящному, к литературе… (Керн. С. 340, 362).

[3] Стол, стола и т. д. (*лат.*).

[4] Реминисценция из комедии Д. И. Фонвизина “Недоросль”.

[5] В петербургском Горном кадетском корпусе Вульф обучался с 1817 по 1819 г. См.: Лоранский А. *Исторический очерк Горного института.* СПб., 1913; Черняев В. Ю. *“Воспитан в Гор ном корпусе…”* // Русская литература. 1975. № 4.

[6] В Дерптском (ныне Тартуском, Эстония) университете Вульф обучался на кафедре военных наук при философском факультете с 28 июля 1822 г. по 25 августа 1825 г. Выдержав с блеском экзамен 18 декабря 1826 г., он получил 12 марта 1827 г. аттестат на звание действительного студента, который давался для дальнейшего поступления в военную службу (Телетова Н. К. *“Душой филистер Геттингенский”* // ПИМ. Т. XIV. С. 207). Обучался Вульф под руководством Ф.-В. Адеркаса, занимавшего кафедру военных наук, и заслужил звание его “любимца” (*Письма Н. М. Языкова к родным*. СПб., 1913. С. 324).

[7] Зильберштейн (с. 417) отметил сходство этих рассуждений Вульфа с запиской “О народном воспитании” Пушкина (ноябрь 1826):

> Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении <…>
>
> Уничтожение телесных наказаний необходимо. Надлежит заранее внушить воспитанникам правила чести и человеколюбия; не должно забывать, что они будут иметь право розги и палки над солдатом; слишком жестокое воспитание делает из них палачей, а не начальников (Пушкин. Т. XI. С. 45, 46).

[8] Марк Порций *Катон* Старший был известен как примерный семьянин и в качестве цензора прославился как поборник чистоты нравов; однако в старости, овдовев, он имел своей возлюбленной молодую служанку, а потом женился на девушке незнатного рода.

[9] *“Кормчая книга”* – сборник правил византийской Церкви и касающихся ее государственных постановлений, принятый Древней Русью (русские переводы – с XIII в.). Последние издания ее были осуществлены в России в 1804 и 1816 гг.

[10] В село Михайловское в 1827 г. Пушкин приехал 30 или 31 июля и пробыл там до 11–12 октября. Тот факт, что начало дневника Вульфа совпадает с пребыванием Пушкина в Михайловском, позволяет предположить, что Пушкин повлиял как на самое обращение Вульфа к запискам-воспоминаниям (ср. историю возникновения записок П. В. Нащокина, М. С. Щепкина), так и на рассуждения о воспитании в России.

[11] Книга: Montesquieu Charles. *Œuvres complètes de Montesquieu, précédées de son Eloge, par d’Alembert.* Paris, 1827 – сохранилась в библиотеке Пушкина с его автографом (Модзалевский. С. 293).

[12] Книга: *Bibliothèque de campagne, ou amusements de l’esprit et du soeur*. Amsterdam, 1758–1779 – из библиотеки Тригорского, сохранилась (см.: П и С. Вып. I. С. 25). Пушкин сделал извлечения из этой книги, намереваясь обработать один из сюжетов (*Рукою Пушкина*. С. 497–501; 276).

[13] Книга: Щербатов М. М. *Журнал, или Поденная записка, блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Великого…* Ч. 1. СПб., 1770 – сохранилась в библиотеке Пушкина (Модзалевский. С. 117).

[14] В библиотеке Пушкина сохранились книги: Alfieri Vittorio. *Du Prince et des Lettres. Paris*, 1818; Tragedie scelte di Vittorio Alfieri… (*Biblioteca poetica italiana…* T. XXVII–XXIX. Parigi, 1825 (Модзалевский. С. 138).

[15] Имеются в виду либо номера “Московского журнала” (1791–1792), либо номера “Вестника Европы” в период издания

его Карамзиным (1802–1804). В библиотеке Пушкина не сохранились.

[16] В библиотеке Пушкина подобных книг нет. О книгах прославленного в “Евгении Онегине” Мартына Задеки см.: Лотман Ю. М. *Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”*: Комментарий. Л., 1980. С. 276–277.

[17] Пушкин в Кишиневе в 1821 г. был членом масонской ложи “Овидий” (см. сводку данных о ней и литературу вопроса: Фомичев С. А. *Пушкин и масоны //* Русская литература. 1991. № 1). Тетради, упомянутые Вульфом, после закрытия ложи и запрещения масонства в 1821 г. стали рабочими тетрадями Пушкина; описание их см.: Фомичев С. А. *Рабочая тетрадь Пушкина ПД, №* 835 *(Из текстологических наблюдений) //* ПИМ. Т. XI; Иезуитова Р. М. *Рабочая тетрадь Пушкина ПД, №* 836 *(История заполнения) //* ПИМ. Т. XIV.

[18] Известно, что к написанию романа о царском арапе Пушкин приступил в последних числах июля 1827 г. (Иезуитова Р. М. *Указ. соч.* С. 143); в тетрадь же ПД, № 836, которую видел Вульф, вписаны не две первые главы, а первая и третья главы романа (там же. С. 145). “Историческая основа” романа заимствована из семейных преданий и из “немецкой биографии” Ганнибала (см.: *Рукою Пушкина*. С. 39–59; Телетова Н. К. *К “Немецкой биографии” А. П. Ганнибала //* ПИМ. Т. X).

[19] Автором замечаний на “Бориса Годунова” был Ф. В. Булгарин (см. об этом: Сухотин С. М. *Дела III Отделения о Пушкине*. СПб., 1906; Зенгер Т. Г. *Николай I – редактор Пушкина //* Литературное наследство. М., 1935. Т. 16–18).

[20] Неточная цитата из второго стихотворения цикла Пушкина “Песни о Стеньке Разине” (1826):

Стал Стенька Разин
Думати думу:
“Добро, воевода.
Возьми себе шубу.
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму”
…….

(III, 24)

Сюжетное положение: дарение шубы, “чтобы не было шуму”, – трансформируется у Пушкина в “Капитанской дочке” в отношения Петра Гринева и Пугачева.

[21] О реакции Николая I (а не московской цензуры) на “Песни

о Стеньке Разине” и “Графа Нулина” см.: Пушкин. Т. XIII. С. 336.

[22] Речь идет о записке “О народном воспитании” (см. прим. 7). Позиция Вульфа изложена в записи от 10 августа, а его возражения Пушкину по поводу преимуществ воспитания в закрытых учебных заведениях – в приписке от 8 июня 1828 г.

[23] В произведениях Пушкина не находим критической оценки “летописной” манеры Карамзина. В дневнике Вульфа мы видим, возможно, вольную интерпретацию мыслей Пушкина о том, что “нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Карамзиным. Где рассказ его неудовлетворителен, там недоставало ему источников: он их не заменял своевольными догадками” (Пушкин. Т. XI. С. 120). Ср., впрочем, запись от 10 ноября 1830 г., где Вульф дает положительную оценку “простоты и величия <… > рассказа” в “Истории государства Российского”.

1828

[1] Письмо Н. М. Языкова от 4 августа 1828 г.: “Желаю тебе всевозможного счастья на поле чести и славы…” и т. д. (Русская старина. 1903. № 3. С. 486–487).

[2] Как указывает Гофман (с. 203–204), Вульф следил за политическими новостями главным образом по “Санкт-Петербургским ведомостям” и “Северной пчеле”.

[3] В 1826 г. после смерти короля Португалии Жуана VI, присягнувшего конституции в 1822 г., его старший сын Педру стал императором Бразилии, дочь Изабелла Мария назначена регентшей, а младший сын Мигел был сослан еще отцом в Австрию за сопротивление конституционным реформам. Педру предложил Мигелу стать регентом Португалии до совершеннолетия дочери Педру Марии да Глориа, которая по наступлении совершеннолетия должна была стать женою своего дяди и королевой Португалии. Но Мигел, прибыв в Португалию в 1828 г., нарушил конституцию, распустил законодательные органы – кортесы и расторг брачные обязательства с Марией да Глориа. Период контрреволюции закончился поражением в 1834 г. Мигела и утверждением на престоле Марии да Глориа, вернувшей конституционное правление. Англия, куда бежала Мария да Глориа в период контрреволюции, помощи ей не оказала.

[4] В 1828 г. в Греции под покровительством “союзных держав” Англии, Франции и России было создано независимое государство, республика во главе с избранным в 1827 г. президентом графом И. А. Каподистрия, бывшим в 1803–1807 гг. активным политическим деятелем Ионийской республики, а в период ее ликвидации, с 1809 по 1822 г., состоявшим на русской службе в Министерстве иностранных дел. См. о нем: *Спасаемая Греция, или Картина военных действий россиян против турок в 1827 и 1828 годах*. СПб., 1829. Ч. I. С. 1–27. Приложение. С. I–IX; Теплов В. *Граф Иоанн Каподистрия, президент Греции: Исторический очерк*. СПб., 1893; Арш Г. *Иоанн Каподистрия и греческое национально-освободительное движение 1809–1822 гг*. М., 1976.

[5] Манифест о войне с Турцией был подписан 14 апреля 1828 г. Текст его см.: *Спасаемая Россия*… Ч. II. С. 21–24.

[6] Слова о “жажде блистательной воинской славы” восходят к стихотворению Пушкина “Желание славы” (1825).

[7] Вульф с августа 1828 г. служил в Департаменте разных податей и сборов. В 1822 г. Александр I запретил тайные (в

первую очередь масонские) организации. 21 апреля 1826 г. Николай I рескриптом министру внутренних дел давал амнистию масонам и членам тайных обществ, не сознавшимся в 1822 г., и предлагал предоставить правительству правдивые сведения о своей деятельности. Новая подписка содержала следующий текст:

> Я, нижеподписавшийся, чистосердечно и со всей откровенностью объявляю <…>, что в продолжение всей моей жизни ни к какому тайному обществу не принадлежал и оных ни токмо никогда не посещал, но никакого ни об одном тайном обществе сведений не имею… и принадлежать не буду (Кондаков Ю. Е. *“Запрет” масонских лож Николаем I (на материалах Главного управления управления почт)* // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2012. № 9. С. 45.

[8] О восприятии Пушкиным романа Г. Смита “Брамблета-Хаус” см.: Долинин А. *О пропущенной цитате в статье Пушкина “О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»”* // Временник Пушкинской комиссии. СПб., 1993. Вып. 25.

[9] Спектакли французской труппы ставились на сцене Малого (Деревянного) театра. Отзыв об этом спектакле см.: Северная пчела. 1828. 21 августа. № 100.

[10] Комедия “Мольер у Нинон” представляла чтение Мольером своей пьесы “Тартюф” в салоне известной французской куртизанки Нинон де Ланкло (1620–1705), на котором присутствовали знаменитые писатели-классицисты Корнель, Лафонтен, Буало.

[11] Через Ф.-В. Адеркаса (см. прим. 6 за 1827 г.) Вульф хлопотал о зачислении в военную службу.

[12] Французский перевод “Истории Шотландии” В. Скотта, который читал Вульф, сохранился в библиотеке Тригорского (П. и С. Вып. I. С. 46).

[13] Е. Н. Бегичева.

[14] Карс был взят приступом 23 июня, Ахалкалаки (а не Ахалканы, как у Вульфа) – 24 июля 1828 г.

[15] Н. В. Муравьева.

[16] Вульф слушал “Сороку-воровку” 31 августа (Гофман. С. 211). Отзыв Д. Ю. Струйского (псевдоним Трилунный) об игре Шоберлехнер в роли Нинетты см.: Литературная газета. 1831. № 21. С. 169–173. Този исполнял роль Подеста, Марколини – роль отца Нинетты солдата Вилламбаллы.

[17] Животный магнетизм – теория австрийского врача Ф. А. Месмера (1734–1814), который полагал, что с помощью особой

“жизненной силы” живые организмы таинственно воздействуют друг на друга.

> Животный месмеризм <…> происходит от внутреннего устремления мыслей одного человека или существа на другое”, но “происходя от действий психических, производит действия физические (цит. по: Глязер Г. *Исследователи человеческого тела от Гиппократа до Павлова*. М., 1956. С. 211–212. Ср. также: Долгорукий А. *Орган животного месмеризма*. СПб., 1860. С. 50–55).

Теория магнетизма была весьма популярна в России в 1820–1830-е годы; ср. произведения Пушкина (“Пиковая дама”), Лермонтова (“Вадим”, “Княгиня Лиговская”, “Штосс”). См. о Ф. А. Месмере также: Цвейг Стефан. *Врачевание и психика*. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд. М., 1992.

[18] В библиотеке Тригорского имелся роман Ван дер Вельде “Арвед Гиллерштирна” (*Arwed Gillerstierna*. Von E. T. van der Velde. Dresden, 1823. I Th. // П и С. Вып. I. С. 31). Заглавие его встречается в одной из творческих рукописей Пушкина (Рукою Пушкина. С. 313). См. об этом: Якубович Д. *Литературный фон “Пиковой дамы”* // Литературный современник. 1935. № 1; Шарыпкин Д. М. *Вокруг “Пиковой дамы”. 2. Эпиграф к V главе* // Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974. Учи ты вая интерес Пушкина к этому писателю, следует полагать, что и переводы Вульфа из него были задуманы не без участия Пушкина.

[19] О культе дуэли среди студентов Дерпта см.: Гофман. С. 212. Ср. запись устных рассказов А. Н. Вульфа, сделанную М. И. Семевским в 1880 г.: “Дуэль – эспадроном в грудь ранен – лечился дома в 1825 г. – Черта мелом, с секундантами – три дуэли, и с свидетелем, клинок сломился” (Семевский. С. 253).

[20] Текст следует понимать так: Анна Ив. Вульф звала кузена с собою на крестины, поэтому он должен был покинуть вечер у Бегичевых в связи с именинами Анны Ивановны (9 сентября – день святой праведницы Анны).

[21] *Французскую комедию* Вульф посетил 9 сентября. Ср. отзыв об этом спектакле: Северная пчела. 1828. 4 августа. № 93.

[22] О восприятии Пушкиным одноименных романа и пьесы Ж.-А. Ансело, повлиявших, очевидно, на Вульфа, см.: Вольперт Лариса. *План Пушкина “ L’homme du monde” и роман Ж.-А. Ансело “Светский человек” (*Мотив “неверной же ны*”) //* Studia russica Helsingiensia et Tartuensia. I V. “Свое” и “чужое” в литературе и культуре. Тарту, 1995.

[23] Судя по сохранившимся письмам к Пушкину, Анна Н.

Вульф была влюблена в него, что было известно ее матери (Пушкин. Т. XIV. № 252, 255, 259, 267, 278, 281). Анна Н. Вульф – адресат ряда стихотворений Пушкина. См. о ней: *Пушкин. Письма* / Под ред. и прим. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1928. Т. II: 1826–1830. С. 145–146. В лексиконах П. А. Осиповой сохранились пробы пера Анны Н. Вульф: “Милый и любезный друг Александр Сергеевич Пушкин”, “Любезный верный друг Александр Сергеевич”, “А. П.” (См.: Гофман. С. 214).

[24] *Изгога, изгага* – изжога.

[25] Портрет см. в нашем издании.

[26] Н. Г. Вульф. См. о ней: Симакина Г. *Надежда Гавриловна Вульф, знакомая поэта* // Пушкинский праздник: Специальный выпуск районной газеты “Верный путь”, посвященный 20-летию музея А. С. Пушкина в Бернове. [Старица], 1991. 2 июня. С. 3. Дата рождения Н. Г. Вульф устанавливается на основе надгробной надписи: “Н. Г. Вульф скончалась в 1849 г. в своем с-це Борзово на 65 г. от рождения” (надгробие сохранилось возле церкви с. Елины Островского района Псковской области). Н. Г. Борзова вышла замуж за И. И. Вульфа 2 января 1801 г. (Государственный архив Псковской области. Ф. 110. Оп. 1. Ед. хр. 188. Запись о венчании). Сообщено Г. Ф. Симакиной.

[27] Die Erzählungen – *букв*. рассказы, повести (*нем*.); Вульф ищет терминологический аналог слова “повести”, что соответствует творческим исканиям Пушкина; ср. образ Ивана Петровича Белкина в “Истории села Горюхина” (1829, 1830) и эпиграф к “Повестям покойного Ивана Петровича Белкина” (1830):

“То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник” (цитата из комедии Д. И. Фонвизина “Недоросль”). В своем литературном образовании Вульф вновь следует за Пушкиным.

[28] 29 сентября 1828 г. Варна сдалась.

[29] Крепость Ахалцых (а не Ахалция, как у Вульфа) пала 15 августа 1828 г.

[30] Морея – полуостров Пелопоннес; ср. запись от 22 октября.

[31] Мария да Глориа (см. прим. 3) прибыла в Фальмут, а не Плимут.

[32] Н. В. Муравьева.

[33] Императрица Александра Федоровна вместе с великой княжной Марией Николаевной.

[34] Первая песнь поэмы Пушкина “Полтава” была закончена 3 октября.

[35] Дельвиг состоял чиновником особых поручений при Министерстве юстиции (Дельвиг. С. 163). Выехав из Петербурга 25 января 1828 г., Дельвиги были в пути 15 дней, прибыли в

Харьков 8 февраля; см.: Дельвиг А. А. *Сочинения*. Л., 1986. С. 328; Модзалевский Б. Л. *Пушкин, Дельвиг и их друзья в письмах С. Дельвиг* // Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929. С. 216. Дельвиг был направлен в служебную командировку по южным губерниям, на обратном пути заехал к родителям в Чернский уезд Тульской губернии (20 июня), где и задержался в связи со смертью отца (8 июля). Жена сопровождала его в начале поездки; см.: там же. С. 224.

[36] Письмо Языкова от 25 сентября 1828 г. (Русский архив. 1867. № 5–6. Стлб. 742–743). Послание “А. Н. Вульфу” (“Прощай! Неси на поле чести…”) напечатано: Северные цветы на 1829 год. СПб., 1828. С. 65.

До этого послания Языков адресовал Вульфу еще восемь стихотворений: “К А. Н. Вульфу” (“Скажу ль тебе, кого люблю я…”), 1825; “А. Н. Вульфу” (“Мой брат по вольности и хмелю!..”), 1825; “К А. Н. Вульфу” (“Мой друг, учи меня рубиться…”), 1826; “К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву” (“Нам было весело, друзья…”), 1826; “К Вульфу” (“Теперь я в Камби, милый мой!..”), 1827; “К Вульфу” (“Поверь, товарищ, сладко мне…”), 1827; “К А. Н. Вульфу” (“Помнишь ли, мой друг застольный…”), 1828; “А. Н. Вульфу” (“Не называй меня поэтом!..”), 1828. После этого послания Языков еще дважды писал в стихах к Вульфу: “Отъезд” (“Недолго мне под этим небом…”), 1829; “А. Н. Вульфу” (“Прошли мои младые годы…”), 1833. Кроме этого, Вульф упомянут также в стихотворении “На смерть няни А. С. Пушкина” (“Я отыщу тот крест смиренный…”), 1830.

Особо следует сказать о поэтических отношениях Языкова и Пушкина, запечатленных в памяти Вульфа. По записи П. А. Ефремова со слов Вульфа от 23 декабря 1879 г., Пушкин, получив от него стихи Языкова “Поди ты прочь, / Теперь не ночь…”, писал, что не в состоянии подражать таким стихам и только попытался набрать рифмы:

Ах, как широко,
Ах, как глубоко!
Ах, Бога ради,
Нельзя ли сзади?

(РО ПД. Ф. 244. Оп. 8. Ед. хр. 4. Л. 22, прим. к стихотворению Языкова.)

Вульф неточно цитирует четверостишие из письма Пушкина от 10 октября 1825 г. из Михайловского:

Желал бы я очень исполнить желание ваше касательно подражания Языкову – но не нахожу его под рукой. Вот начало:

Как широко,
Как глубоко!
Нет, Бога ради,
Позволь мне сзади – etc. —

Не написал ли Яз.<ыков> – еще чего-нибудь в том же роде? или в другом? перешлите нам – мы будем очень благодарны (XIII, 237–238).

[37] Стихи Языкова были опубликованы в “Невском альманахе” на 1829 год (СПб., 1829). Кроме них Языков просил Вульфа передать Аладьину послание “К А. Н. Вульфу” (“Помнишь ли, мой друг застольный…”) – Русский архив. 1867. № 5–6. Стлб. 741. Свое недовольство тем, что Языков “дает так много Аладьину”, Вульф выразил и самому поэту, который отвечал ему 1 ноября 1828 г.:

Дельвигу не пример Аладьин: в “Невский альманах” посылаю я всякий вздор: пьесы, под которыми не хочу подписывать моего имени в настоящий период поэтической деятельности; а в “Северных цветах” всё должно цвести красотою и жизнию жизни парнасской – условия мне теперь вовсе чуждые. Аладьин – мой голодовник и маркитант литературный (Семевский М. И. *Прогулка в Тригорское* // Вульф А. Н. Дневники… М., 1929. С. 97).

[38] Вторую песнь “Полтавы” (“Полтавская виктория”) Пушкин закончил 9 октября 1828 г.

[39] А. П. Керн жила в это время в одном доме с Дельвигами (см. также: Керн. С. 106).

[40] Ср. прим. 28. Поздняя запись о сдаче Варны связана, очевидно, с торжествами в Петербурге: 10 октября состоялся благодарственный молебен в Казанском соборе, иллюминация в Петербурге.

[41] Пушкин, очевидно, хотел избежать ассоциаций с названиями поэмы Байрона “Мазепа” (1819) и повести Е. В. Аладьина “Кочубей” (1827). Вместе с тем указание в названии поэмы на Полтавское сражение подчеркивает специфику историзма Пуш ки на.

[42] С. М. Дельвиг имеет в виду, очевидно, мнение, выраженное Пушкиным во фрагменте “Женщины. Отрывок из «Евгения Онегина»” (впервые – Московский вестник. 1827. Ч. 5. № XX. С. 365–367):

> Закабалясь неосторожно,
> Мы их любви в награду ждем,
> Любовь в безумии зовем,
> Как будто требовать возможно
> От мотыльков иль от лилей
> И чувств высоких и страстей!
>
> *(Пушкин. Т. VI. С. 648)*

Впрочем, предыдущие комментаторы (Гофман. С. 227; Зильберштейн. С. 425–426) считали, что здесь речь идет о рассуждении Пушкина в “Отрывках из писем, мыслей и замечаний” (“Северные цветы” на 1828 год):

> Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самою раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души; они бесчувственны к ее гармонии; примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстроивают меру, уничтожают рифму. Вслушайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия… Исключения редки (Пушкин. Т. XI. С. 52).

[43] Перифраза стихотворения Е. А. Баратынского “Разуверение”:

> Не искушай меня без нужды
> Возвратом нежности твоей:
> Разочарованному чужды
> Все обольщенья прежних дней!
> Уж я не верю увереньям,
> Уж я не верую в любовь
> И не могу предаться вновь
> Раз изменившим сновиденьям!
> Слепой тоски моей не множь,
> **Не заводи о прежнем слова;**
> И, друг заботливый, больного

В его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

(Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1989. С. 79)

Мы приводим это стихотворение с теми подчеркиваниями, которые сделала в нем сама С. М. Салтыкова еще 28 января 1825 г., переписав его в письме к своей подруге А. Н. Семеновой; см.: Модзалевский Б. Л. *Сто лет назад (Роман декабриста Каховского)* // Былое. 1924. № 26. С. 50. К разговору с помощью чужих стихов о любви С. М. Дельвиг прибегала еще до замужества; именно так она “разговаривала” с будущим декабристом П. Г. Каховским:

Он говорил мне в тот день множество стихов, я помогала ему, когда он что-либо забывал; говоря:

Непостижимой, чудной силой
Я вся к тебе привлечена —

я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я вышла из рассеянности и если бы сказала та, что думала в тот момент, я погибла бы! Вот что это было:

Люблю тебя, Каховский милый,
Душа тобой упоена…

К счастию, я выговорила “пленник”; но, как сказала мне потом Катерина Петровна, я произнесла эти слова с такою выразительностью (чего я сама не заметила), что я не удивляюсь тому, что он тотчас сказал с сияющим видом и радостно:

Надежда, ты моя Богиня,
Надежда, луч души моей!

(письмо С. М. Салтыковой к А. Н. Семеновой от 22 августа 1824 г. // Былое. 1924. № 26. С. 28, 31–32)

П. А. Плетнев посвятил С. М. Дельвиг накануне ее замужества два стихотворения: “С. М. С<алтыков>ой” (“Была пора: ты в безмятежной сени…”) и “Невесте” (“На память лет, когда нас вместе…”); см.: Плетнев Петр. *Полное собрание стихотворений*. Минск, 2014. С. 89–90.

[44] Это любовь (*фр.*).

[45] Пушкин уехал в Малинники в ночь с 19 на 20 октября 1828 г., сразу же по окончании очередной годовщины Лицея, для которой он написал четверостишие “Усердно помолившись богу…”.

[46] Казанская икона Божией Матери – чудотворная икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 г. Московский список ее, находившийся в Казанском соборе на Никольской улице, чествовался 22 октября. Казанская церковь – Казанский собор в Петербурге.

[47] Санджак-Шериф – знамя пророка, священная реликвия турок.

[48] Скульптурная группа над аркой Главного штаба была открыта 14 октября 1828 г., в день возвращения в Петербург Ни ко лая I. Описание ее см.: Северная пчела. 1828. 18 октября. № 125, отдел “Смесь”.

[49] Калька французского выражения “entre chien et loup” – сумерки. Ср. у Пушкина в “Евгении Онегине”:

> Люблю я дружеские враки
> И дружеский бокал вина
> Порою той, что названа
> Пора меж волка и собаки,
> А почему, не вижу я.
>
> *(Пушкин. Т. VI. С. 93)*

[50] Что я соблазнитель (*фр.*).

[51] С. Л. Пушкин жил недалеко от Дельвигов – в Свечном переулке, в доме Касторской.

[52] А. И. Бегичева.

[53] Об актерских способностях Д. А. Эристова и М. Л. Яковлева см. также:

> …они оба умели делать разные штуки, фокусы, были чревовещателями и каждый раз показывали что-нибудь новенькое. В этих изобретениях особенно отличался Эристов, который, впрочем, бывал не так часто, как Яковлев; последний почти каждый день обедал у

Дельвигов и проводил вечера (Дельвиг. С. 72).

[54] *“Видение”* – стихотворение Дельвига “Сон” (“Мой суженый, мой ряженый…”, 1828); *“Пастушеская… идиллия”* – идиллия “Конец золотого века” (1828).

[55] М. И. Глинка был в это время еще мало известен как композитор.

[56] Очевидно, ошибка Вульфа. Управляющим Малинниками был агроном Карл Рейхман († 1835), который до этого был учителем младших дочерей П. А. Осиповой (от второго брака). С 30 мая по 9 июня 1834 г. Рейхман ездил в Болдино, рассматривая предложение Пушкина по управлению этим имением, но, найдя большое расстройство в хозяйстве, отказался. Семевский. С. 159–160, 260, 412.

[57] Письмо Пушкина от 27 октября 1828 г. см.: Пушкин. Т. XIV. С 33. *Ловелас* – соблазнитель женщин в романе С. Ричардсона “Кларисса Гарлоу”; *Вальмон* – развратный герой романа Шодерло де Лакло “Опасные связи”.

От литературных отношений Вульфа с Пушкиным этих лет сохранилась вульфовская копия четырех стихотворений Пушкина: “Кромешник” (в настоящее время – по первому стиху: “Какая ночь! Мороз трескучий…”, 1827), “Цветы последние милей…” (1825; стихотворение адресовано П. А. Осиповой), “К друзьям” (“Нет, я не льстец, когда царю…”, 1828), “ Ты обещал о романтизме…” (“<К Родзянке>”, 1825; стихотворение связано с А. П. Керн). РО ПД. Ф. 244. Оп. 4. Ед. хр. 111.

[58] Письмо Языкова от 1 января 1828 г.; отрывки см.: *Письма Н. М. Языкова к родным*. СПб., 1913. С. 414. Послание Языкова “Барону Дельвигу” (“Иные дни – иное дело!”) было напечатано в “Северных цветах” на 1829 год (СПб., 1828. С. 134).

[59] О помещенных в “Северных цветах” на 1829 год стихотворениях см.: Вацуро В. Э. *“Северные цветы”: История альманаха Дельвига – Пушкина*. М., 1978. С. 131–148, 284–285. Переводы М. П. Вронченко из Т. Мура, помещенные в “Северных цветах”, вписаны и в рукописный альбом А. Н. Вульф (см.: *Литературное наследство*. М., 1982. Т. 91: Русско-английские литературные связи (XVIII – первая половина XIX века) / Исследование акад. М. П. Алексеева. С. 804).

[60] Траурная зала (*лат.*) в Зимнем дворце.

[61] Великий князь Константин Павлович приехал в Петербург из Варшавы 4 ноября 1828 г.

[62] *Сабайон* – род пунша из яичного желтка с вином и ромом.

[63] Стихотворение Е. А. Баратынского “Разуверение” (ср. прим. 38) было дважды положено на музыку: князем В. С. Голицыным и

М. И. Глинкой.

[64] 8 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

[65] М. Л. Яковлеву принадлежит множество романсов и песен на стихи Дельвига; см.: Гастфейнд Николай. *Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею: Материалы для словаря лицеистов 1-го курса*. 1811–1817 гг. СПб., 1912. Т. II. С. 219–268.

[66] Речь идет о стихотворениях Языкова “Ручей” (1827), “К А. Н. Вульфу” (“Помнишь ли, мой друг застольный…”), “А. Н. Вульфу” (“Не называй меня поэтом!..”), “Барону Дельвигу”.

[67] Имеется в виду Военная галерея Зимнего дворца, в которой были собраны портреты генералов – участников Отечественной войны 1812 года.

[68] Казармы Павловского лейб-гвардии полка в Петербурге; созданы архитектором В. П. Стасовым (1817–1821) в результате приспособления Ломбарда и Воспитательного дома (архитектор Ю. М. Фельтен, 1780). Современный адрес: Марсово поле, 1; Миллионная улица, 2; Аптекарский переулок, 2. Воскресенский плашкоутный мост (1786) от Воскресенского пр. (с 1923 г. Чернышевского) к Тихвинской (ныне Михайлова) ул. на Выборгской стороне. Назван по церкви Воскресения за Литейным двором, замененной Скорбященской церковью (1817–1818). В 1803 г. мост переведен к Летнему саду и назван Петербургским. На старом месте навели новый наплавной мост, существовавший до окончания строительства Литейного моста (1879).

[69] Очевидно, роман Ван дер Вельде “Посольство в Китай” (“Die Gesandtschaftsreise nach China”).

[70] Наиболее крупное наводнение в Петербурге 7 ноября 1824 г. (421 см выше ординара), описано Пушкиным в поэме “Медный всадник”.

[71] 24 ноября – день великомученицы Екатерины.

[72] Л. С. Пушкин в 1827–1830 гг. находился в действующей армии на Кавказе, участвовал в военных действиях под Карсом, Ахалкалаки, Ахалцыхом.

[73] Книга “Mémoires d’une Contemporaine” (1827) включала в себя письма Наполеона I к императрице Жозефине.

[74] *Павловские усачи* – лейб-гвардии Павловский полк.

[75] *Некрасовцы* – казаки, которые после Булавинского бунта (1707–1708) под предводительством Игнатия Некрасова перешли под покровительство Крымского ханства и до 1777 г. жили в Тамани. С началом Турецкой войны (1787) они переселились в район Бабадага (села Дунавцы и Сарыкёй на территории современной Румынии), где впоследствии служил Вульф. См. о них: [Б. п.] *Известие о построении города Тучкова* // Сын

Отечества. 1815. Ч. 26. № XLVII. С. 41–52. “Сохранили обычаи и язык турецкий” – очевидная описка Вульфа: некрасовцы сохранили русский язык и старообрядчество; ср. записи от 6 ноября 1829 г. В конце XVIII в. часть некрасовцев переселилась в другие земли Турции; оставшиеся либо слились со старообрядцами-липованами, либо липоване переняли названия некрасовцев для сохранения их привилегий (Пригарин А. А. 1) *Отражение процессов формирования в исторической памяти группы русских старообрядцев на Дунае* // Гуманитарная мысль юга России. 2006. № 1. С. 94–116; 2) *Русско-турецкая война 1806–1812 и судьбы некрасовцев* // Русин. 2012. № 2 (28). С. 5–6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/russko-turetskaya-voyna-1806-1812-i-sudby-nekrasovtsev). Во время Русско-турецкой войны некрасовцы перешли на сторону России (со 2 июня 1828) см.: *Спасаемая Греция*… Ч. II. С. 88–89.

[76] А. И. Вульф, дочь Н. Г. Вульф и И. И. Вульфа.

[77] П. И. Вульф, сын Н. Г. Вульф и И. И. Вульфа.

[78] Портрет Байрона Анне Н. Вульф подарил Пушкин с надписью: “Présenté par Alexandre Pouchkine à M-lle Annette Woulff. L’an 1828” (См.: Гофман М. Л. *Из пушкинских мест* // П и С. Вып. XVIII–XX. С. 105).

[79] В библиотеке Тригорского сохранилась книга: *Гамлет, трагедия в пяти действиях. Сочинение В. Шекспира*. Перевел с англ. М. В<ронченко>. СПб., 1828 (П и С. Вып. I. С. 38).

[80] Речь идет о переводах С. П. Шевырева из Шиллера: “Валлен штейнов лагерь” (Московский вестник. 1828. № II, XII) и “Смерть Валленштейна” (там же. № XIX и XX, XXI и XXII) и о переводе М. П. Погодиным трагедии Гёте “Гец фон Бер ли хинген, железная рука” (М., 1828), ошибочно приписанном Шевыреву.

[81] “Северные цветы” на 1829 год, где помещен этот отрывок из перевода П. А. Плетнева, 10 декабря 1828 г. еще не вышли из печати (см.: Синявский Н., Цявловский М. *Пушкин в печати*. 1814–1837. 2-е изд. М., 1938. С. 57); значит, Вульф был знаком с ним до публикации.

[82] Этот эпизод рассказан также в воспоминаниях А. И. Дельвига:

> В то время у жены Дельвига часто болели зубы. Кроме обыкновенных врачей, которых лекарства не помогали, призывали разных заговорщиц и заговорщиков и между прочим кистера какой-то церкви, который какой-то челюстью дотрагивался до больного зуба и заставлял пациентку повторить за собою: “солнце, месяц, звезды”, далее не помню <…> Мицкевич уверил

Дельвигов, что есть какой-то поляк, живущий в Петербурге, который имеет способность уничтожать зубную боль. Послали меня за ним <…> С появлением поляка, высокого и полного мужчины, утишилась зубная боль у жены Дельвига, что сейчас же приписали действию перстня и магической силе того, кто его имел на пальце… и т. д. (Дельвиг. С. 106–107).

[83] Пушкин уехал из Малинников 6 декабря 1828 г.

[84] Граф М. А. Милорадович был смертельно ранен на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., в день восстания декабристов.

1829

[1] После 5 января и до 9 апреля 1829 г. Вульф не ведет дневник. Когда же через год он решил восстановить эти дни, то воспользовался своей записной книжкой, с помощью которой вспоминал даты (см. Приложение). Чтобы разграничить даты событий и даты записей, мы даты записей по-прежнему обозначаем капителью, а даты событий, названия самих событий или имена (все это выглядит теперь как подзаголовки “романа воспоминаний”) – курсивом.

Вульф называет местечко Сарыкёй различно: Серыкиой, Сарыкиой и т. п. Мы соблюдаем везде форму Сарыкиой как наиболее употребительную – с одной стороны, и наиболее близкую нормативному произношению – с другой.

[2] Цитата из послания Языкова “К А. Н. Вульфу” (“Скажу ль тебе, кого люблю я…”). У Языкова:

> Она проста, она пуста;
> Но эти перси и уста, —
> Чего ж они не заменяют?
>
> *(Языков. С. 193)*

Об отношениях “умной Саши” (А. И. Осиповой) с Вульфом и Пушкиным см.: Березкина С. В. *“Алина, сжальтесь надо мною…” (Из комментария к “Признанию” А. С. Пушкина)* // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1991. Вып. 24.

[3] Очень милой особой (*фр.*).

[4] С. М. Дельвиг. См. прим. 31 к 1828 г.

[5] Цитата из поэмы Пушкина “Кавказский пленник”:

> Раскрыв уста, без слез рыдая,
> Сидела дева молодая.
>
> *(Пушкин. Т. I V. С. 107)*

[6] С. Д. Львов, владелец села Митино и сельца Василево, предводитель дворянства Новоторжского уезда (1824–1848), был женат на Татьяне Петровне Полторацкой (1789–1848), двоюродной сестре Петра Марковича; из их четырех дочерей имеются в виду старшие Елизавета (1806–1860, в замуж. Дальгейм) и Мария (1810–1899, в замуж. Оленина). Младшие

Аграфена и Татьяна не могли привлечь внимания Вульфа. О Львовых см.: Керцелли Лариса. *Тверской край в рисунках Пушкина*. М., 1976. С. 181–190; *Род Львовых. Дополнения. Именной указатель. Исправления* / [Сост. С. Д. Дзюбанов]. [Б. м.], 2004. С. 2, 3; Сысоев В. И. *Полторацкие* // Род и семья в контексте тверской истории: Сборник научных статей. [Вып.] I. Тверь, 2005. С. 83.

[7] Неясно, кто из трех сыновей Павла Марковича Полторацкого имеется здесь в виду: Александр (1796–1854), Алексей (1803–1863) или Михаил (1801–1851). См.: Сысоев В. И. *Полторацкие*. С. 87.

[8] В Тверской губернии было два рода дворян Лошаковых: в Старицком и Зубцовском и в Новоторжском и Осташковском уездах. Старой девой могла быть названа одна из двух сестер Лошаковых из первого рода: Анна или Александра. См.: *Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год, с алфавитным указателем и приложением* / Сост. М. Чернявский. Тверь, [Б. г.]. Л. 116 об. Но родственные связи Лошаковых с Вульфами не ясны.

[9] А. И. Понафидина с семейством жила в это время в сельце Курово-Покровское в двух верстах от Бернова. Хутор Курово А. И. Вульф получила в приданое, когда вышла замуж в 1816 г. за П. И. Понафидина. Усадьба создавалась долго, но, в отличие от других наследников И. П. Вульфа, Понафидины построили двухэтажный каменный дом (закончен к 1828 г.), далекий от дворцовых построек рубежа XVIII–XIX вв., но очень удобный и поместительный, который в точности копирует постройку из руководства: Лем И. *Начертание с практическим наставлением, как строить разные здания*. СПб., 1803. Табл. 3 А. К дому примыкали с помощью крытых галерей два деревянных флигеля. На территории усадьбы находились каменные хозяйственные постройки (амбары и скотные дворы). Усадебный дом был расположен на горе, на высоком берегу речки Нашиги, к которой террасами спускался парк. В парк из дома выходило крыльцо-веранда. С другой стороны дома также находился парк с копаными прудами хозяйственного назначения. В парках преобладали сосны; вокруг домов была посажена сирень. В дальнейшем усадьба принадлежала Николаю Павловичу Панафидину (потомки чуть изменили свою фамилию; 1819–1895) и его жене Серафиме (1836–1916), дочери А. Т. Юргенева, владельца усадьбы Подсосенье, их сыну Михаилу Николаевичу, женатому (1904) на своей троюродной племяннице Е. С. Вревской, владелице Малинников. Панафидиным принадлежали также д. Михайловское, Нестерово (Дарской вол. Старицкого у.).

На расстоянии 0,5 км от Курово-Покровского находился хутор Вернослов (Затишье) с небольшими деревянными строениями, где в 1891 г. останавливался И. И. Левитан с С. П. Кувшинниковой; здесь он написал портрет Н. П. Понафидина (1891). Сохранились: главный дом (руинирован), деревянный флигель, три хозяйственные постройки, остатки террасного парка с насыпным холмом.

[10] Е. И. Гладкова.

[11] Я. П. Гладков.

[12] М. В. Борисова воспитывалась в доме Петра И. Вульфа. Пушкин писал о ней Вульфу 27 октября 1828 г.:

> При сей верной оказии доношу вам, что Марья Василиевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перла в море и что я намерен на днях в нее влюбиться (Пушкин. Т. XIV. С. 33).

[13] *Желудок более не варил*. Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова “Горе от ума”:

> Тьфу! служба и чины, кресты, души мытарства,
> Лахмотьев Алексей чудесно говорит,
> Что радикальные потребны тут лекарства,
> Желудок дольше не варит.
>
> *(Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений: В 3 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 108)*

[14] *Weihnachtsbaum* – Рождественская елка (*нем.*). Одно из первых упоминаний о праздновании елки в провинциальной России; не учтено в исследовании: Душечкина Елена. *Русская елка. История, мифология, литература*. 2-е изд. СПб., 2012.

[15] “Мой ангел!!” (*фр.*)

[16] Пушкин приехал в Старицу 6 января 1829 г.

[17] Цитата из стихотворения А. И. Готовцевой “А. С. П.”. Пушкин вынужден был написать ответное стихотворение “Ответ А. И. Готовцевой” (“И недоверчиво, и жадно…”), опубликованное, как и послание самой А. И. Готовцевой, в “Северных цветах” на 1829 год.

[18] Е. В. *Вельяшева* – адресат стихотворения “Подъезжая под Ижоры…”, которое Пушкин начал сочинять вместе с Вульфом по дороге из Старицкого уезда в Петербург (см.: Строганов М. В. *“…Вампиром именован…”* // Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1994. С. 162–165).

[19] Об А. И. Вульф (Фридерике) см.: Соколова В. *В их доме поэту писалось легко* // Верный путь [Старица]. 1988. 4 июня. № 67; перепечатано: Я ехал к вам… *Сборник статей о пребывании А. С. Пушкина на Старицкой земле*. Старица, 2006. С. 83–87.

[20] Ср. эту историю в рассказе ее героини Е. Е. Синицыной (урожд. Смирновой, дочери покойного Е. А. Смирнова, которая воспитывалась в доме Павла И. Вульфа):

> Был со мной в это время и такой случай. Один из родственников Павла Ивановича пробрался ночью ко мне в спальню, где я спала с одной старушкой-прислугой.
>
> Только просыпаюсь я, у моей кровати стоит этот молодой человек на коленях и голову прижал к моей голове…
>
> “Ай! Что вы?” – закричала я в ужасе.
>
> “Молчите, молчите, я сейчас уйду”, – проговорил он и ушел.
>
> Пушкин, узнав это, остался очень доволен этим и после еще с большим сочувствием относился ко мне.
>
> “Молодец вы, Катерина Евграфовна, он думал, что ему везде двери отворены, что нечего и предупреждать, а вышло не то”, – несколько раз повторял Александр Сергеевич. Задал этому молодцу нагоняй и Павел Иванович.
>
> Узналось это так. Загадала Фредерика <!> Ивановна мне на картах: „Ты оскорблена, говорит, трефовым королем“. Я заплакала и рассказала всё” (см.: Колосов В. И. *Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии в 1827 году* // Тверской венок Пушкину. М., 1989. С. 58–59).

[21] Изначально берновская вотчина – это большое имение (24 000 десятин) стольника Алексея Ивановича Калитина в Ржевском, Старицком и Новоторжском уездах, описанное за долги. В 1726 г. в награду за службу его получает бригадир и камер-юнкер Петр Гаврилович Вульф. Впоследствии имением владел его сын Иван Петрович, сенатор, орловский губернатор, архитектор и гидротехник (создатель ряда крепостей, Мариинской и Тихвинской водных систем). После его смерти имение было разделено между детьми, и Берново стало усадьбой младшего сына его поручика Ивана Ивановича Вульфа; всё имение – 579 душ. Потом владельцами были: его сын коллежский асессор Николай Иванович, внук депутат дворянства по Старицкому уезду, кавалер ордена Св. Анны III степени Михаил Николаевич, правнук Николай Михайлович Вульф. В состав имения входила

деревня Воропуни. Первоначально деревянный усадебный дом находился вблизи деревни, около Успенской церкви (нач. XVIII в.). Но по настоянию жены Анны Федоровны И. П. Вульф перенес усадебные постройки подальше от деревни, на гору. Здесь были выстроены двух этажный каменный усадебный дом, два каменных жилых флигеля. С южной стороны дома был разбит регулярный парк, за которым по склону холма спускались сад, оранжерея и огород, а с восточной стороны от дома вниз к речке Озерне – английский парк. Парадный въезд к дому был с северной стороны, здесь перед домом находилась большая круглая площадь и деревянные хозяйственные постройки. В центре французской части парка был копаный пруд, обсаженный липами, в зеркале которого отражался довольно далеко отстоящий от него усадебный дом. От пруда шли прямые лучи восьми аллей; на двух из них, ведущих к углам дома, находились небольшие поляны со своими симметричными “перекрестками”. Основные деревья здесь были липы, а внутри них располагались куртинами посадки яблонь. В английской части парка были устроены следующие затеи: горка Парнас с дорожкой-улиткой, обсаженной акацией, зверинец с гротами для зверей, зеленый театр. Здесь преобладали сосна, ель и орешник, посаженный купами в высоких местах. Чуть к северу от дома по обеим сторонам его находились хозяйственные копаные пруды: для водопоя скота и для уборочных работ в доме. В 1840-е гг. в усадебном доме был надстроен мезонин. В усадьбе был поташный завод, который во второй половине XIX – начале XX в. преобразовали в винокуренный. На реке Тьме в пределах села находятся остатки нескольких плотин, что говорит о наличии водяных мельниц. В настоящее время на территории усадьбы работает музей А. С. Пушкина. Не сохранились: флигели, зверинец, зеленый театр, поташный завод (на его месте разрушающиеся остатки винокуренного завода конца XIX в.), мельница, некоторые пруды высохли, отсутствуют сад и огород. На кладбище около Успенской церкви были захоронены многие поколения семейства Вульфов и их близких, но большинство надгробий не сохранилось. К настоящему времени выявлены надгробия Н. И. и В. И. Вельяшевых. Сохранилось также надгробие А. С. Юргеневой, жены подполковника А. Т. Юргенева, купившего у Ф. И. Вульфа в 1825 г. д. Подсосенье в трех километрах от Бернова в сторону Старицы и устроившего там свою усадьбу. К настоящему времени сохранилась территория усадьбы, камни от фундамента барского деревянного дома, общая планировка, некоторые посадки, но все Подсосенье заросло борщевиком и недоступно для осмотра. Сам дом перевезен на

территорию усадьбы Берново. А. С. и А. Т. Юргеневы – бабка и дед Л. С. Мизиновой, последней владелицы Подсосенья. В 1827 г. в Бернове произошло довольно крупное возмущение крепостных крестьян, недовольных усиленными поборами И. И. Вульфа, в результате чего для усмирения крепостных пришлось вызывать военную команду. О склонности помещика к неумеренной жизни в мягкой форме свидетельствует и Вульф. В XVIII в. Берново было воспето в литературе. Двоюродный брат А. Ф. Вульф (урожд. Муравьевой) писатель М. Н. Муравьев описал усадьбу в повести "Эмилиевы письма" (конец 1780-х – начало 1790-х) и в стихотворении "Итак, опять убежище готово…" (1780). После смерти Муравьева его вдова Екатерина Федоровна приезжала сюда с детьми, будущими декабристами Никитой и Александром. Здесь воспитывалась А. П. Полторацкая (в замуж. Керн, Маркова-Виноградская), оста вившая в своих воспоминаниях описание берновской жизни. В 1828 и 1829 гг. в Бернове бывал с краткими визитами Пушкин. Н. И. Вульф в своих пересказах домашних преданий о Пушкине старался держаться только известных фактов, но сбивался на мифотворчество. Пушкин приезжал в старицкие имения Вульфов поздней осенью или зимой, когда пешие прогулки были неуместны, однако краеведы считают, что поэт любил прогуливаться на горку Парнас. Пушкину приписывают стихотворную строчку, якобы вырезанную на стволе одного из деревьев парка: "Прости! Как страшно это слово!" (Строганов М. В. *Еще тверские стихотворения Пушкина? //* "Я в губернии Тверской…": Научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина: Доклады и сообщения. Тверь, 1999. С. 14–19). Поэт Н. М. Коншин, служивший в 1837–1849 гг. директором училищ в Твери, посвятил Бернову стихотворение "Первая поездка к вам" (1838). В Бернове на правом берегу реки Тьмы И. И. Левитан создал эскиз к картине "У омута" (1891). В Бернове родилась и выросла художница В. Д. Бубнова, внучка Н. И. Вульфа, которая в своей работе "Аллея Берновского парка" (1914) запечатлела парк накануне революционных событий. См.: *Геометрический план с. Бернова*. 1815 // ТГОМ. КОФ. 5206; Вершин ский А. Н. *Отчет об экспедиции студентов Тверского педагогического института в Старицкий уезд и о судьбе усадеб, связанных с пребыванием А. С. Пушкина.* Черновик. 2 июля 1923 // ГАТО. Ф. Р-2691. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 10–12; Иванов И. А. *Достопримечательности церкви села Бернова Старицкого уезда //* Журнал 73-го заседания ТУАК 28 февр. 1900. Тверь, 1900. С. 8–11; Строганов Михаил. *Две старицких осени Пушкина: Литера туроведческие очерки*. Тверь, 1999.

[22] Петру И. Вульфу принадлежала усадьба Соколово, всего в имении было 609 душ. Время создания усадьбы неизвестно, но когда в 1811 г. он женился на Е. П. Розановой, то уже имел эту усадьбу, так как постоянно проживал в деревне. Соколово находилось на правом берегу Тьмы, чуть ниже по течению деревни Берново и в настоящее время вошло в состав Бернова, в километре от усадьбы Берново. Петр И. Вульф устраивает усадьбу на том же правом берегу, где и Берново, напротив своей деревни (левый берег). Усадебный дом был расположен на горе над рекой, а справа от него холм спускался к церковной площади, и Успенская церковь была видна из дома. Усадебный дом был одноэтажным, но с большим мезонином (разрушен в 1970-е). К дому примыкали деревянные одноэтажные флигели хозяйственного назначения. Территория усадьбы была обсажена двумя рядами акаций, которые составляли натуральную ограду. В парке сохранилось не более пяти старых сосен и лиственниц. Перед окнами усадьбы по берегам Тьмы были выкопаны пруды, соединенные с рекой протоками, что создавало своеобразный водный парк. В непосредственной близи от тыльной стороны дома находился большой каменный хозяйственный двор, в котором располагались не только каретные сараи и другие такого же рода заведения, но также, видимо, и конюшни. После смерти Петра И. Вульфа владельцами имения, в состав которого входила и д. Щелкачево, была вдова с детьми. Имение, видимо, не делилось, поскольку сыновья от первого брака Иван и Гавриил находились в военной службе (Иван в 1860-е годы был судебным следователем) и, видимо, отказались от наследства. Дочь же Екатерина замуж не выходила и жила со своим братом Никитой, который занимался стихотворными упражнениями (*Стихотворения Никиты Петровича Вульфа /* Изд. Е. П. Вульф. М., 1894); о других детях известны только даты рождения. Подробнее см.: Строганов М. В. *Н. П. Вульф. Из истории дворянской усадьбы середины XIX века; Стихотворения Н. П. Вульфа //* Лажечников и Тверской край. Вып. 3: Лажечников и усадебная культура. Тверь, 2009. С. 71–128. Сохранились: флигель с правой стороны дома, который сейчас используется как дачный домик; значительная часть посадки акаций по периметру усадьбы; хозяйственный двор; копаные пруды. Все это находится в непосредственной близости от усадьбы Берновского музея Пушкина.

[23] Усадьба Павловское при имении в 554 души создана после 1815 г., когда Павел И. Вульф, вернувшись из антинаполеоновского похода подпоручиком конно-казачьего полка Тверского ополчения, привез в качестве жены молодую немку Фридерику (в православном крещении Анна), хотя только в

1820 г. сочетался с ней браком. На момент выделения усадьбы в трех километрах от Бернова в сторону Старицы на правом берегу Тьмы были только каменные подлизаевские скотные дворы, которые составляли главное его богатство. Павел Вульф выстроил одноэтажный деревянный дом с мезонином, хозяйственные постройки, высадил сад, спускающийся по крутой горе к Тьме. Запрудив ручей, впадающий в Тьму, Павел Вульф сделал небольшой каскад из двух водоемов. На Тьме также была сделана запруда, поднявшая уровень воды для купальни. В 1820-е годы Павел Вульф продавал свои именья: маричинские скотные дворы, деревни Глазуново, Гремиху (Подлипки тож). Овдовев, Павел Вульф продает Павловское своему племяннику майору А. В. Вельяшеву (1851) и проводит остаток дней в Торжке, где и похоронен на Иоанно-Богословском кладбище (могила сохранилась). Поскольку его жена Анна И. Вульф была похоронена не на Берновском кладбище, есть основания предполагать, что супруги оставили усадьбу еще раньше. После смерти А. В. Вельяшева усадьбу приобрели крестьяне, которые не стремились сохранить барские затеи. Существовавшие еще в 1888 г. остатки усадебного дома в 1903 г. были разрушены. Сохранились: остатки коровников, остатки парка, верхний пруд. Павел и Анна Вульфы не имели своих детей, но были очень чадолюбивы, поэтому в их доме постоянно проживал кто-то из родных или близких. В 1828 г. там жила Евпраксия Вульф, сестра Алексея и Анны. Три года воспитывалась в Павловском рано осиротевшая дочь священника тверской Козьмодемьяновской церкви, уроженца Бернова, Е. Е. Смирнова. Пушкин провел в Павловском осень 1829 г., здесь он написал стихотворения “Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…”, “Зимнее утро”, “Роман в письмах”, строфы, которые вошли позднее в “Путешествие Онегина”.

[24] *Ям* – почтовая станция, где меняли лошадей.

[25] Знание Пушкиным женского сердца весьма ценилось в кругу Осиповых-Вульфов, о чем свидетельствует хранящийся в Пушкинском Доме экземпляр книги Е. А. Боратынского

“Эда <…> и Пиры <…>” (СПб., 1826), который принадлежал П. А. Осиповой: она обвела чернилами стих Баратынского о Пушкине в “Пирах”: “Быть сердца чудным знатоком” (Гофман. С. 251; ср.: “Быть сердца верным знатоком” – Баратынский Е. А. *Полное собрание стихотворений*. С. 227).

[26] Этот “гастрономический” маршрут был определен явно Пушкиным, который описал его также и в стихах в письме к С. А. Соболевскому от 9 ноября 1826 г.:

Как до Яжельбиц дотащит
Колымагу мужичок,
То-то друг мой растаращит
Сладострастный свой глазок!

Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели,
Как увидишь: посинели, —
Влей в уху стакан Шабли.
<……>
У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.

(Пушкин. Т. XIII. С. 303)

Ср. также “Отрывки из путешествия Онегина” (там же. Т. VI. С. 477). Отсюда и происходят характеристики, которые дает Вульф валдайским торговкам баранками: “дешевые”; у Пушкина – “податливые”, “привязчивые”.

[27] Пушкин и Вульф приехали в Петербург 18 января 1829 г. в 8 часов вечера (см. наст. изд. “Памятная книжка” Вульфа). *Андрие* – владелец ресторана в Петербурге, неоднократно упоминаемый Пушкиным, напр.: “обедали у [толстого] Андрие без аппетита” (VIII, 834), “У Андрие обедал” (V, 415) и др.

[28] Бургонское игристое (*фр.*).

[29] Елизавета Филипповна Демут (1781–1837) – владелица петербургской гостиницы, в которой Пушкин жил в 1827–1829 гг. (см.: Зажурило В. К., Кузьмина Л. И., Назарова Г. И. *“Люблю тебя, Петра творенье…”: Пушкинские места Ленинграда*. Л., 1989. С. 109–116 и по указателю имен).

[30] Сестра П. А. Свечина Вера Александровна была замужем за Федором И. Вульфом. Но для Вульфа П. А. Свечин был не сватом, а свояком.

[31] Полк назван в честь Вильгельма, принца Оранского (1792–1849), вступившего в 1816 г. в брак с великой княжной Анной Павловной (на этот случай Пушкин написал стихотворение “Принцу Оранскому”). Позднее – король Нидерландов и герцог Люксембурга.

[32] Сам Андрей И. Дельвиг так вспоминал о своих отношениях с А. П. Керн:

Мне почему-то казалось, что она с непонятною

целию хочет поссорить Дельвига с его женою, и потому я не был к ней расположен. Она замечала это и меня недолюбливала. Между тем она свела интригу с братом моим Александром и сделалась беременною. Вскоре они за что-то поссорились. В 1829 г., когда А. П. Керн была уже в ссоре с братом Александром, она вдруг переменилась ко мне, часто зазывала в свою комнату, которую занимала на даче, нанятой Дельвигом, ласкала меня, заставляла днем отдыхать на ее постели. Я, ничего не зная об ее связи с братом Александром, принимал эти ласки на свой счет, что, конечно, нравилось мне, тогда 16-летнему юноше, но эти ласки имели целию через меня примириться с братом, что, однако же, не удалось. Возбужденные во мне ее ласками надежды также не имели последствий (Дельвиг. С. 100).

[33] Перифраза из стихотворения Баратынского “Сердечным нежным языком…” (1829):

Сердечным нежным языком
Я искушал ее сначала;
Она словам моим внимала
С тупым бессмысленным лицом.
В ней разбудить огонь желаний
Еще надежду я хранил
И сладострастных осязаний
Язык живой употребил…
Она глядела так же тупо,
Потом разгневалася глупо.
Беги за нею, модный свет,
Пленяйся девой идеальной, —
Владею тайной я печальной:
Ни сердца в ней, ни пола нет.

(Баратынский Е. А. *Полное собрание стихотворений.* С. 149)

Редактор и автор примечаний В. М. Сергеев датирует это стихотворение 1829 г. на основании цитаты и перифразы из него в дневнике Вульфа. Однако, как следует из самого дневника, Вульф в это время не переписывается с литераторами за исключением Языкова. Но Языков мог встречаться в Москве с Баратынским очень короткое время: с 19 мая по конец мая – середину июня, когда он выехал на родину (Языков Н. М. *Свободомыслящая лира*. М., 1988. С. 191, 192). Баратынский был в мае в Москве очень недолгое время (см.: Пушкин Василий. *Стихи.*

Проза. Письма. М., 1989. С. 282; ср.: *Летопись жизни и творчества Е. А. Боратынского* / Составитель А. М. Песков. М.: НЛО, 1998. С. 225–228, встречи с Языковым не зафиксированы). Переписка же Языкова с Вульфом не была в это время особенно интенсивной. Таким образом, стихотворение Баратынского целесообразно датировать: до 1829 г., т. е. тем временем, когда Вульф тесно общался с литературными кругами Петербурга. Стихотворение Баратынского дает как бы некую модель любовных похождений Вульфа, являясь школой любви молодого человека.

[34] О В. Н. Щасном в кружке Дельвига см.: "…приходили на вечера: Подолинский, Щасный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх"; "…Щасный читал нам Фариса (поэма Мицкевича), переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щасный как поэт был гораздо ниже других второстепенных писателей" (Керн. С. 59, 60).

[35] Об этой поездке вспоминает и А. П. Керн:

Между многими катаньями за город мне памятна одна зимняя поездка в Красный Кабачок, куда Дельвиг возил нас на вафли. Мы там нашли совершенно пустую залу и одну бедную девушку, арфянку, которая чрезвычайно обрадовалась нашему посещению и пела нам с особенным усердием. Под звуки ее арфы мы протанцевали мазурку и, освещенные луною, возвратились домой. В катанье участвовали, кроме Дельвига, жены его и меня, Сомов, всегда интересный собеседник и усердный сотрудник Дельвига по изданию "Северные цветы", и двоюродный брат мой А. Н. Вульф.

Катанье было очень удачно, потому что вряд ли можно было выбрать лучшую зимнюю ночь – и лунную, и не слишком холодную (Керн. С. 65–66, 121–122).

[36] *Па́нова флейта* – флейта, сделанная древнегреческим богом Паном из тростника, в который обратилась преследуемая им нимфа Сиринга.

[37] Об этом долге Пушкина Вульфам ничего не известно.

[38] Г. П. Вульф, служивший с 1823 г. в Измайловском полку, вышел в отставку штабс-капитаном через год после возвращения из Турецкого похода (1 февраля 1830 г.).

[39] *Справочное место* в Петербурге находилось на Морской улице у Полицейского моста. См.: *Альбом: Справочное место*, 1823.

Иллюстрация: http://www.dnp.ru/publications/muzei/article. Ср. в повести Н. В. Гоголя "Невский проспект": "Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект" (Гоголь Н. В. *Полное собрание*

сочинений: В 14 т. М.; Л., 1938. Т. 3. С. 10). Ср. также: *Справочное место русского слова: Четыреста пятьдесят поправок, с руководством к употреблению буквы* Ѣ / А. Н. Греч. 2-е изд., пересмотр. и доп. СПб., 1845.

[40] На Пушкина как источник политических новостей в кружке Дельвига указывает и А. И. Дельвиг:

> Французская июньская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин был большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке… и проч. (Дельвиг. С. 146).

[41] Вдова Ф. И. Вульфа Вера Александровна, выйдя в 1827–1828 гг. замуж вторично – за Я. И. Павлова, продала доставшееся ей после смерти мужа имение Нивы П. А. Осиповой. Подробнее об истории с наследством Ф. И. Вульфа см.: Строганов М. В. *Лика Мизинова из рода Юргеневых //* Чеховиана: Чехов и Пушкин. М.: Наука, 1998. В настоящее время Нивы как поселение не сохранились, до этого места отсутствует даже дорога.

[42] Дворяне *Змиевы* в Тверской губернии владели имениями в Бежецком, Калязинском (один род) и Ржевском (второй род) уездах.

[43] Из-за отсутствия знаков препинания в тексте дневника трудно решить: или Ермолаев не пригласил никого из Вульфов, “кроме нашего семейства”, или же Ермолаев не пригласил никого, “кроме нашего семейства Вульфовых”.

[44] Герцог Александр-Фридрих Виртембергский имел прозвище Шишка по причине больших размеров шишки на лбу.

[45] С 6 по 16 января 1829 г.

[46] Пушкиным; об увлечении Е. Н. Вульф поэтом см. также ее письмо к Вульфу от 26 сентября 1837 г. (?): “Наш приятель умел занять чувство у трех сестер, что гораздо мудренее…” (П и С. Вып. XXI–XXII. С. 413). Как полагает М. Л. Гофман, речь идет о Пушкине, “занявшем чувство” у трех сестер: А. Н. Вульф, Е. Н. Вульф и А. И. Осиповой.

[47] О П. И. Понафидине см.: Панафидин П. И. *Письма морского офицера (1806–1809)*. СПб., 1916.

[48] О характере отношений Н. И. и В. И. Вельяшевых

свидетельствует предполагавшаяся надпись на надгробии, которое сохранилось на берновском кладбище: “Здесь погребены два друга – два нежных супруга”. Последнее слово было заменена на

“родителя”, но оно оказалось не совсем сбитым и его еще можно прочесть под правкой.

[49] М. Н. Муравьев, двоюродный дядя К. Н. Батюшкова, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых, с 1785 г. был воспитателем наследника Александра Павловича и великого князя Константина Павловича и преподавал им русскую историю, русскую словесность и нравственную философию. Муравьев, двоюродный брат А. Ф. Вульф, часто бывал в Бернове и изобразил его в своих стихотворениях и романе “Эмилевы письма”. См. об этом: *Письма русских писателей XVIII века*. Л., 1980; Строганов М. В. *Две старицких осени Пушкина*. С. 93–205.

[50] П. И. *Энгельгардт*, когда французские войска в 1812 г. заняли Смоленск, проживал в своем поместье подполковником в отставке. Вместе с другими смоленскими помещиками он вооружил крестьян и, предводительствуя ими, наносил большой вред грабительским шайкам неприятелей. П. И. Энгельгардт был взят в плен, и французы пытались склонить его на свою сторону, однако он отверг все предложения и мученически погиб (см.: *Русский биографический словарь*. СПб., 1912. Т. Щапов-Юшневский. С. 260).

[51] Киево-Печерская лавра.

[52] *Чичероне* (от *ит*. cicerone) – проводник, поясняющий туристам те или иные достопримечательности. Вульф латинизирует произношение этого слова.

[53] Мы не комментируем дневник военных событий Вульфа; маршрут Вульфа в 1828–1832 гг. см.: Гофман. С. 292–307; карта военных действий в наст. изд.

[54] “Воспоминание капитана” (*фр*.). Вульф ошибочно приписывает Ж. П. Беранже стихотворение французского поэта Э. Дебро “T’en souviens – tu, disait un capitaine…” (“Ты помнишь ли, говорил один капитан…”). Ошибка эта была весьма характерна: в 1827 г. Пушкин в ответ на стихотворение Дебро написал “Рефутацию г-на Беранжера”.

[55] В письмах к родным от 11 мая 1824 г. и 2 апреля 1825 г. Языков упоминает какое-то стихотворение, специально посвященное студенческому празднику основания университета (*Письма Н. М. Языкова к родным*. С. 135, 177). Ср. также описание студенческого праздника в письме Языкова к родным от 1827 г.:

[21] сего месяца был у студентов праздник основания

> университета; это новость в некотором смысле: прошлого года спрашивались по сему случаю у ректора; он не позволил, и праздника не было – нынче не спрашивались, и праздник был. Как водится, много было пьяных до-упаду – я не из их числа; драки значительной не было, и вообще всё прошло довольно плавно. Я, правда, пострадал, но слегка: прыгая через огонь, опалил брови и поджег фуражку; надобно всё испытать – не так ли, друзья мои? (там же. С. 247–248).

Известно, наконец, стихотворение “21 апреля”, хотя авторство Язы кова бесспорно не установлено (Языков. С. 670–672).

Однако Вульф имел в виду стихотворения “К А. Н. Вульфу” (“Помнишь ли, мой друг застольный…”) и “А. Н. Вульфу” (“Мой брат по вольности и хмелю…”), ибо в ответ на просьбу А. М. Языкова прислать ему ненапечатанные стихотворения брата, “особливо же описание студенческого праздника, которое, помнится, могло бы войти в состав его сочинений, достойных печати” (Языков. С. 671), Вульф прислал именно эти два послания.

[56] Современное название – Вулканешты.

[57] Плацдарм, специальное укрепление (*фр*.).

[58] Русский берег Дуная был окружен обширными болотами, по которым пришлось настилать мосты (гати) длиною в 5 верст (*Последняя война с Турциею, заключающая в себе кампанию 1828 и 1829 годов в Европейской и Азиатской Турции и на Кавказе*. СПб., 1830. Ч. I. С. 8).

[59] А. С. *Хомяков*, поручик принца Оранского гусарского полка, был назначен адъютантом к генерал-лейтенанту князю Мадатову. В “Северных цветах” на 1830 год помещено его стихотворение “Прощание с Адрианополем” (вероятно, начало 1829).

[60] Адрианополь, второй по значению город Турции, был сдан 8 августа 1829 г. В городе находилось 10 тысяч человек регулярной пехоты, одна тысяча кавалерии и до двух тысяч ополченцев. Кроме того, из шестидесятитысячного магометанского населения города от 10 до 15 тысяч были хорошо вооружены. Сдача Адрианополя в этих условиях произошла вследствие полной деморализации турецкого военного руководства (см.: Веригин А. *Военное обозрение похода российских войск в европейской Турции в 1829-м году*. СПб., 1846. С. 71–74).

[61] См. прим. 41.

[62] Адрианопольский мирный договор был заключен 2 сентября 1829 г.

[63] Ажурно, насквозь (*фр.*).

[64] *Сырнявый каземир* – кашемир-сырец. Кашемир, ткань из подшерстка овец, выращиваемых в провинции Кашмир (Индия, территория захвачена Пакистаном и Китаем, Гималаи).

[65] “Нравственно-сатирический роман” Ф. В. Булгарина “Иван Выжигин” (1829) был встречен негативными оценками писателей пушкинского круга и восторженно – широкой публикой, так что в том же 1829 году потребовалось второе издание романа. Точка зрения Вульфа отражает промежуточное положение его как читателя.

[66] В библиотеке Тригорского сохранилось издание сочинений Бай рона в немецком переводе (П и С. Вып. I. С. 30).

[67] Дерптское землячество (*нем.*).

[68] Роман Прево “Le Doyen de Killerine” (“Киллеринский настоятель”) находился в библиотеке Тригорского в составе издания: *Œuvres choisies de l’Abbé Prévost*. Amsterdam, 1783. Vol. VIII, IX, X (П и С. Вып. I. С. 30).

[69] Мирный договор был ратифицирован 29 сентября 1829 г. Текст его опубликован в кн.: *Последняя война с Турциею*… Ч. 2. С. 151–175. “Отдельный акт…” о политическом статусе княжеств Молдавии и Валахии см.: там же. С. 176–184.

[70] Книга Ж.-А.-Ф.-Р. Ансело “Шесть месяцев в России” (1827), оцененная ранее негативно (очевидно, со слов Дельвига или Пушкина), ср. запись от 9–10 сентября 1828 г., – теперь оценивается более спокойно. См.: Ансело Ф. *Шесть месяцев в России* / Вступ. статья, перевод с фр., комментарии Н. М. Сперанской. М., 2001.

[71] А. П. Петерсон в последний год жизни Языкова в Дерпте был очень близок поэту и имел на него “большое влияние” (Языков. С. 647). А. П. Петерсону посвящено стихотворение Языкова “Пожар” (1831).

[72] Оппозиция “жажда славы” – “покой” вписывается в расхожие представления 1820-х годов. Если и можно возводить эту фразеологию Вульфа к известной оппозиции Руссо “счастье” – “вольность и покой” (см. об этом: Строганов М. В. *Человек в художественном мире Пушкина*. Тверь, 1990), то только через опосредующие тексты (ибо самого Руссо Вульф в это время еще не читал; ср. записи от 25 февраля – 3 марта 1833 г.). Такими опосредующими текстами могут быть произведения типа пушкинского “Желания славы” (1825).

[73] Раскол, ересь; от *др.* – *греч. σχίσμα* – расщепление, раскол, распря. Сарикёй *(рум.* Sarichioi, *тур.* Sarıköy – желтое, или солнечное, село), село в жудеце Тулча на юго-востоке Румынии, на берегу озера Разелм. В 1651 г. турецкий путешественник Евлия

Челеби упоминает Сарикёй как большое татарское село. Русские старообрядцы-липоване, 1600 казаков-некрасовцев с Кубани, впервые появились в селе в 1740–1741 гг. В 1878 г. Добруджа вышла из состава Османской империи и присоединилась к Румынии, в связи с чем из села ушло всё мусульманское население и часть русских: одни в Россию, другие вглубь Турции. Сарикёй стало чисто русским селом, в котором жили 442 семьи русских старообрядцев. Выходцы из села Сарикёй основали русское село Казашко (нынешняя Болгария). См. прим. 74 к 1828 году.

74 Описание моровой язвы, чумы, в романе А. Мандзони “Обрученные” дано в XXVIII, XXXI–XXXVIII главах. Описание пения монатти, хоронивших зачумленные трупы, в главе XXXIV; ср. современное изд.: Мандзони Алессандро. *Обрученные. Миланская хроника XVIII века*… М., 1984. С. 540.

75 Вскоре после Рождества 1829 г. Е. П. Полторацкая уехала в имение отца на Украину, куда ей было адресовано шутливое стихотворение Пушкина “Когда помилует нас бог…” (18 января – 5 февраля).

76 А. И. Осиповой. Ср. то же чтение: Пушкин. *Письма*. М.; Л., 1928. Т. II: 1826–1830. С. 350.

77 Ср. прим. 33. В цитате из стихотворения Баратынского во втором стихе переставлены слова.

78 Ср. прим. 43 к 1828 г.

79 Смерть полковника Фредерика Говарда, убитого 18 июня 1815 г., воспета Байроном (его родственником) в “Паломничестве Чайльд-Гарольда”, песнь 3, строфы XXIX–XXXI.

80 Отступление Наполеона из России описано в поэме Мицкевича “Конрад Валленрод” (1828), которую Вульф мог либо читать в переводе С. П. Шевырева (Московский вестник. 1828. № 7–10), либо слушать в чтении самого автора в салоне Дельвига (Гофман. С. 261).

81 *Несмотря на бурное и кровавое начало, можно еще ожидать доб ра от этого царствования*. – Возможно, отголосок стихотворения Пушкина “Стансы” (1827).

82 Имеются в виду Е. В. Вельяшева (в будущем Жандр) и Е. И. Гладкова (урожд. Вульф).

83 Тетка Вульфа по матери Е. Н. Бегичева и его кузина Е. И. Бегичева.

84 А. И. Вульф (Netty).

85 День св. Мартина, 11 ноября – праздник окончания сельских работ. На каждой улице и в каждом дворе зажигались костры, в которые кидали корзины для сбора плодов. Через костры прыгали и устраивали шествия, зажигая факелы от их

огня. В этих шествиях участвовали ряженые: святой Мартин на коне и Мартинов человек – мальчик, туловище и конечности которого были обернуты соломой.

[86] М. П. Лихардова.

[87] Поговорка Пушкина – несколько измененная цитата из комедии Грибоедова “Горе от ума”, где Фамусов говорит Чацкому:

“Эх! Александр Андреич, дурно, брат!” (Грибоедов А. С. *Полное собрание сочинений*. Т. 1. С. 42).

[88] Источники (совершенно недостоверные), на которых основаны подробности смерти Грибоедова, излагаемые Вульфом, неизвестны. Следует заметить, что в истолковании “беспорядочной жизни” сказались в большей степени представления самого Вульфа, а не реальные обстоятельства жизни Грибоедова. Истинные события см.: *А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников*. М.: Художественная литература, 1980. С. 198–205, 292–329. *Манзи* – так назван первый секретарь русской миссии в Тегеране И. С. Мальцов, избежавший смерти, но по другой причине.

[89] П. Н. *Шепелев* – соученик Вульфа и Языкова по Дерпту, который собирался в 1828 г. в Тегеран вместе с Грибоедовым (Гофман. С. 263).

[89а] Ш. Дюпюи “Происхождение всех культов или всеобщая религия”.

[90] В послании “К П. А. Осиповой” (“Плоды воспетого мной сада…”) Языков писал:

Мне жизнь горька и холодна,
Как вялый стих, как Мельпомена
Ростовцева иль Княжнина…

(Языков. С. 248)

[91] Описание траурной церемонии по случаю смерти Александра I см.: *Письма Н. М. Языкова к родным*. С. 226–227; Петухов Е. В. *Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет*. Юрьев, 1902. Т. I. С. 453–454.

[92] Восстание декабристов на Сенатской площади, 14 января 1825 г.

[93] Перифраза последних строк из стихотворения Языкова “Тригорское” (“В стране, где вольные живали…”, 1826), посвященного П. А. Осиповой:

Как утешительно поэту

От мира хладной суеты,
Где многочисленные в Лету
Бегут надежды и мечты,
……
В прекрасный мир, в сады природы
Себя, свободного, укрыть
И вдруг и гордо позабыть
Свои потерянные годы!

(Языков. С. 226)

[94] *Албанским певцом* назван Байрон, потому что в его поэме “Паломничество Чайльд-Гарольда” (песнь вторая, строфы 38–72) описана Албания и переложены албанские песни. К песне “Тамбурджи, тамбурджи! Ты будишь страну…” Байрон сделал примечание: “Эти куплеты взяты из разных албанских песен”. “Стихия” Байрона – море; ср. в стихотворении Пушкина “К морю”: “Он был, о море, твой певец” (Пушкин. Т. II. С. 332).

[95] Накануне открытия военных действий в мае 1828 г. около тысячи запорожских казаков под предводительством кошевого атамана О. М. Гладкого перешли на сторону России; до этого они служили турецкому правительству. При переправе через Дунай в районе крепости Исакчи 28 мая 1828 г. император Николай I плыл на лодке, где гребцами были казаки, а правил лодкой сам О. М. Глад кий. Описание этих событий и гравированное изображение переправы см.: *Спасаемая Греция*… Ч. I. С. 75–76, 84–85, вклейка между с. 84 и 85.

[96] Пушкин вернулся в Москву из поездки в Арзрум 20 сентября 1829 г.

[97] Е. И. Осипова.

[1] Возможно, имеется в виду стихотворение Языкова “Элегия” (1823):

О деньги, деньги! для чего
Вы не всегда в моем кармане?
Теперь Христово Рождество
И веселятся христиане;
А я один, я чужд всего,
Что мне надежды обещали:
Мои мечты – мои печали,
Мои финансы – ничего!

(Языков. С. 112)

[2] М. Н. Вульф.

[3] 3 февраля – день Анны Пророчицы. Анна традиционно переводится как благодать; ср. стихотворение Пушкина на именины А. Н. Вульф “Хотя стишки на именины…” (1825): “Вас окрестили благодатью!..” (Пушкин. Т. II. С. 446); к ней же, возможно, относится и эпиграмма “Нет ни в чем вам благодати…” (1825).

[4] Студенческий союз был основан по инициативе Франциуса (см. запись от 19 февраля 1833 г.). Кроме него и Вульфа в союз входили Кошкуль, Лейтганг, Рам, двое других, возможно, – Вессельс и Байер (Гофман. С. 264).

[5] Кошкуль.

[6] Франциус.

[7] О браке П. А. Вульф и И. С. Осипова Н. Н. Кашкин писал так:

Что побудило ее, тридцатисемилетнюю женщину, к этому шагу и чем был обусловлен ее выбор, тем более странный, что Осипов был тоже вдовец и имел дочь Александру, – остается загадкой. Можно думать, что она, утомленная хозяйственными заботами, искала помощника в них; можно предполагать и потребность сердца, разжигаемого чтением, которым она питалась, а mesalliance ее объясним скудостью представлявшегося ей, почти постоянной жительнице деревни, выбора. Насколько счастлив был этот брак – сведений нет, но от него родились две дочери <…> хотя он был и непродолжителен… (Кашкин Н. Н. *Родословные разведки*. СПб., 1910. Т. I. С. 125).

[8] Неохотно, против воли (*фр.*).

[9] Брак этот не состоялся (см. также запись от 1 сентября 1830 г.). Столь же радостное восприятие этого предполагаемого брака отразилось и в письме Вульфа к А. Н. Вульф от 16 февраля 1830 г.:

> Вторая новость была для меня еще занимательнее, ближе сердцу, а именно помолвка Лизы за одного из своих соседей. Ежели бы я мог быть уверен, что она дала вместе с своим словом и сердце (как часто говорят), то это было бы для меня самое радостное известие, какое я теперь бы мог получить. Ты видишь, что, прожив год без женщин, я уже начинаю лучше об них думать; еще несколько лет – и я в них увижу ангелов. Но теперь удовольствие мое еще не полно: кто знает, чего ей, может быть, стоило роковое согласие? Во всяком случае, я вижу первую явную пользу моего отъезда в армию: если бы наша связь осталась таковою, какова она была при отъезде ее из Петербурга, то вряд ли бы она согласилась так скоро на чье-либо предложение (я говорю это, откинув всякое самолюбие). Так-то, мой друг, теперешняя жизнь искупает прежние мои грехи (П и С. Вып. I. С. 86–87).

[10] Слова “добродетельною супругою, доброю матерью” вызывают ассоциации с письмом Татьяны Лариной в III главе “Евгения Онегина” (опубликована в 1827): “Была бы верная супруга / И добродетельная мать” (Пушкин. Т. VI. С. 66). Однако “добродетельная супруга” упоминается в повести Н. М. Карамзина

“Юлия” (1796), в “Письмах русского офицера” Ф. Н. Глинки (1815).

[11] Официальным издателем “Литературной газеты” был А. А. Дельвиг, но А. П. Керн верно очертила основной круг ее инициативных сотрудников. См.: *“Литературная газета” А. С. Пушкина и А. А. Дельвига*. М., 1988. С. 193–199.

[12] Слух о разъезде Павлищевых сообщила Вульфу та же А. П. Керн, и 16 февраля он писал А. Н. Вульф:

> По письму Анны Петровны, он <Пушкин> уже в Петербурге; она одного мнения с тобою в том, что цинизм его увеличивается. – Две новости, ею же мне сообщенные, были также вовсе неожиданны: одна, что Ольга Сергеевна вылечилась с тем, чтобы впредь уже не занемогать, т. е. разъехалась с Павлищевым. Мне

кажется причина ее поступка весьма основательною: кому не мило свое здоровье? (П и С. Вып. I. С. 86).

Шуточное послание А. Д. Илличевского к А. П. Керн заканчивается так:

Ни вдова ты, ни девица,
И моя любовь к тебе
После ужина горчица.

(Керн. С. 59)

[13] 12 февраля – день святителя Алексия, митрополита Московского.

[14] Письмо Пушкина к Вульфу от 16 октября 1829 г. из Малинников (Пушкин. Т. XIV. С. 49–50).

[15] А. И. Вульф, ухаживания за которой были для Пушкина, конечно, простой игрой, ибо в письме к Вульфу он писал буквально следующее:

> За то Netty, нежная, томная, истерическая, потолстевшая Netty – здесь. Вы знаете, что Миллер из отчаяния кинулся к ее ногам; но она сим не тронулась. Вот уже третий день как я в нее влюблен <…> Недавно узнали мы, что Netty, отходя ко сну, имеет привычку крестить все предметы, окружающие ее постелю. Постараюсь достать (как памятник непорочной моей любви) сосуд, ею освященный… (Пушкин. Т. XIV. С. 50).

[16] См. прим. 90 за 1829 г.

[17] Имеется в виду Сергиевский всей артиллерии собор – собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Петербурге, на пересечении Сергиевской ул. и Литейного пр. (Литейный пр., 6а, ул. Чайковского, 14а). Архитектор Ф. И. Демерцов; здание утрачено в 1932 г. Это позволяет установить предположительный адрес Бегичевых.

[18] Ср. письмо Вульфа к А. Н. Вульф от 26 февраля 1830 г.:

> Я совершенно согласен с тобой в мнении, которое ты имеешь об Анне Ивановне. Кто бы не захотел в нее влюбиться и не старался бы снискать взаимность? Но как можно было мне это сделать, когда в продолжение года я ничего другого от нее не слышал, как: “Давно ли вы получили от матушки (или сестрицы) письма?” – Я

слишком рассудителен и холоден, чтобы питать безнадежные чувства. Ты знаешь, что я, как волна:

> Горит, блестит, но холодна (П и С. Вып. I. С. 89–90).

В письме Вульфа – реминисценция из третьей “Элегии” Языкова (1825):

> Но чувства пылкого, живого,
> Любви, не знал я: так волна
> В лучах светила золотого
> Блестит, кипит, – но холодна!
>
> *(Языков. С. 170)*

[19] Вульф читал книгу В. Скотта в переводе Defauconpret’a. Ср. оценку В. Г. Белинского:

> Этот великий поэт был человек, британец и баронет вдобавок: у него были свои личные понятия и понятьица, свои личные чувства и чувствованьица, национальные вражды и ненависти, народные предрассудки, что всё, вместе взятое, и сгубило его “Историю Наполеона” (Белинский В. Г. *Полное собрание сочинений*: В 13 т. М., 1955. Т. VI. С. 35).

[20] Измененная цитата из стихотворения Языкова “Эпилог” (“Смотрю умильными глазами…”, 1826):

> Они <восторги любви> прошли, как сон! И вновь
> Ни словом ласковым, ни взором
> Не подружит меня со вздором
> Моя почтенная любовь.
>
> *(Языков. С. 210)*

[21] Цитата из “Евгения Онегина” Пушкина; слова няни Татьяны: “…уж я стара, / Стара: тупеет разум, Таня…” (Пушкин. Т. VI. С. 69).

[22] А. Я. Ганнибал женился на Александре Егоровне Юреневой.

[23] Свадьба Пушкина и Н. Н. Гончаровой состоялась по разным причинам только 18 февраля 1831 г. Размышления Вульфа о

“круговой поруке” – результат его понимания взаимоотношений мужчин и женщин, отразившегося и в письме к А. Н. Вульф от 20 января 1831 г.:

> По твоим словам, Пушкин должен быть теперь уже женат; но я не столько нетерпелив видеть госпожу Пушкину, потому что я себя изведал – и смиряюсь. Не знаю, время ли или образ жизни причиною, но я приметно хладею; только воспоминание изредка оживляет, согревает меня и то не надолго: со вздохом о былом я возвращаюсь к опытной сущности (П и С. Вып. I. С. 94).

[24] Речь идет о рождении 7 мая 1830 г. дочери Дельвигов Елизаветы.

[25] Очевидно, Флоранский; ср.:

> Впоследствии я у нее <А. П. Керн> бывал в 1831 и 1832 гг., когда она была в дружбе (в подлиннике: в связи. – *Ред*.) с Флоранским, о котором говорили, что он незаконнорожденный сын Баратынского, одного из дядей поэта (Дельвиг. С. 101).

[26] Французская Июльская революция началась 27-го и закончилась 30 июля 1830 г. свержением Карла X и провозглашением королем Луи Филиппа, герцога Орлеанского.

[27] Юнкер Норов.

[28] См. прим. 9.

[29] Алагер (*фр*.) – партия на бильярде в два шара, в которой принимают участие несколько игроков.

[30] *“Белерофон”* – английский корабль, возглавлявший эскадру, которая курсировала в 1815 г. у берегов Франции. После поражения при Ватерлоо и вторичном отречении Наполеон пытался выехать из Франции в Америку и вступил в переговоры с капитаном “Белерофона” Мэтлендом о пропуске французского фрегата. Но переговоры закончились неудачей, и 15 июля 1815 г. Наполеон вступил на борт “Белерофона”, став, таким образом, пленником англичан.

[31] Арнольд *Винкельрид* (Эрни, † 9.07.1386, Земпах) – крестьянин из Станса (кантон Унтервальден), швейцарский народный герой, борец за независимость от Габсбургов. Во время битвы при Земпахе, когда швейцарцы не могли прорвать ряды австрийцев, Винкельрид схватил, сколько мог, неприятельских копий и, вонзив их в грудь, упал с ними на землю, это открыло дорогу его соотечественникам и обеспечило победу швейцарцев над

герцогом Леопольдом Австрийским. Для швейцарцев Винкельрид стал воплощением самопожертвования во имя спасения родины, однако историчность его личности подвергается сомнению.

[32] 5 сентября – день прав. Елизаветы.

[33] Реминисценция из “Евгения Онегина” Пушкина, где сказано о главном герое:

> Хандра ждала его на страже,
> И бегала за ним она,
> Как тень иль верная жена.
>
> *(Пушкин. Т. VI. С. 28)*

[34] Революционные действия в Нидерландах разворачивались в период с 25 августа по 10 ноября 1830 г., бои в Брюсселе – 25–28 сентября 1830 г. В результате промышленно развитая Бель гия отделилась от экономически отсталой Голландии. Ко роль Нидерландов Вильгельм I (именем которого – принца Оранского – был назван полк Вульфа) вынужден был в 1839 г. признать независимость Бельгии.

[35] Трехцветный сине-бело-красный флаг был введен Французской революцией 1789 г. и в период Реставрации сменен на прежний белый флаг с лилиями Бурбонов. Луи Филипп возвращал, таким образом, символику революции; ср. запись от 17 сентября.

[36] Шатильонский конгресс 1814 г. (5 февраля – 19 марта); союзные правительства Англии, России, Германии и Австрии предлагали Наполеону сохранение власти во Франции, но в границах 1792 г. Наполеон, однако, не согласился с этим предложением.

[37] *Алкид* – “родовое” имя Геракла, матерью которого была Алкмена, жена Амфитриона, сына Алкея (на самом же деле отцом Геракла был Зевс). Совершив свои двенадцать подвигов, Геракл “очистил” мир от чудовищ.

[38] Евгений Онегин, как известно из 1-й главы романа Пушкина, получил домашнее воспитание. Сравнению домашнего и общественного воспитания посвящен дневник 1827 г., отразивший разговоры с Пушкиным, писавшим в то время записку “О народном воспитании”.

[39] *Реномист* (от *нем.* Renommist) – бахвал, хвастун. Ср.:

> Меня отправили в Ревель, тогдашнее место ссылки флотских удальцов. Я очутился в своей сфере: сделался грозою и ужасом мирных биргеров, их жен и дочерей,

прославился даже между дерптскими реномистами, приезжавшими в Ревель на праздники (Греч Н. И. *Черная женщина*: Роман // Три старинных романа: В 2 кн. М., 1990. Кн. 2. С. 230).

[40] Здесь Вульф фиксирует характерную и замеченную многими современниками разницу социально-бытового поведения молодежи александровского и николаевского царствований. Пушкин полагал нормой жизни “возрастное” поведение и писал в послании “К Каверину”:

Всему пора, всему свой миг,
Всё чередой идет определенной:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.

(Пушкин. Т. I. С. 237)

И поэтому Пушкин критиковал молодежь конца 1820–1830-х годов: ср., например, в стихотворении “К вельможе” (1830) про “младые поколенья”:

Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда болтать, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

(Пушкин. Т. III. С. 219)

Эту разницу заметил и А. И. Дельвиг:

Прогулки эти были тихие и покойные. Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, т. е. мне 17-летнему и брату моему Александру 20-летнему, как они вели себя в наши годы и до какой степени молодость сделалась вялою относительно прежней.

Была уже темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове; с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это

требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны, возвращался к нам с остротами насчет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что, ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные уговоры ни к чему не повели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставаньем до того, что последний ушел.

Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменил бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более что она кормила грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою, а с нами и жена Дельвига, по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр и я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придиравшимися, но даже останавливающими других, которые 10-ю и более годами нас старее. Я очень боялся за брата Александра, чтобы он не рассердился на пристававших к прохожим, а в особенности на глумившихся над нами Пушкина и Дельвига, и, по своей вспыльчивости, не поссорился бы с кем-нибудь, но все обошлось благополучно.

Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке собственно для того, чтобы дать понятие о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие 10 лет (Дельвиг. С. 147–149).

См. также об этом: Строганов М. В. *Человек в художественном мире Пушкина.* Тверь, 1990.

Упомянутый Вульфом А. П. Бурцов – гусар, ставший символом своего времени и прославленный адресованными ему посланиями Д. В. Давыдова: “Бурцову. Призывание на пунш” (“Бурцов, ёра, забияка…”), “Бурцову” (“В дымном поле, на биваке…”). С. П. Жихарев писал о его отце:

> Старик огорчен поведением единственного сына, гусарского поручика, доброго будто бы малого, но величайшего гуляки и самого отчаянного забулдыги из всех гусарских поручиков (Жихарев С. П. *Записки современника. Воспоминания старого театрала*: В 2 т. Л., 1989. Т. I. С. 99).

Герой повести Пушкина “Выстрел” говорил:

> В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Б<урцова>, воспетого Д<енисом> Д<авыдовы>м. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло (Пушкин. Т. VIII. С. 69).

Об изменении поведения молодежи писал и сам Д. В. Давыдов в “Песне старого гусара” (1817):

> Где друзья минувших лет?
> Где гусары коренные,
> Председатели бесед,
> Собутыльники седые?
> <……..>
> А теперь что вижу? – Страх!
> И гусары в модном свете,
> В вицмундирах, в башмаках
> Вальсируют на паркете!
> Говорят умней они…
> Но что слышим от любова?
> Жомини да Жомини!
> А об водке – ни полслова!
>
> *(Давыдов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1987. С. 95, 96–98)*

Наконец, название “народным” нецензурного оборота восходит, очевидно, к стихотворению И. С. Баркова из сборника “Девичья игрушка” – “Рондо на ебену мать” (см.: *Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова* / Изд. подготовили А. Зо рин и Н. Сапов. М., 1992. С. 260–261; ср. комментарий – с. 396). Кстати сказать, “русским титулом” называл этот оборот и Пушкин, говоря о нем по поводу своего стихотворения “Телега жизни” (Пушкин. Т. XIII. С. 126).

[41] Либо – “Жизнь Наполеона”, либо – “Письма Павла” (1815) В. Скотта.

[42] См. прим. 25 и записи от 27 августа и 1 сентября.

[43] Ср.: “О некоторых сердцах можно сказать, что они свойства непромокаемого (impérméable, waterproof). Слезы ближних не пробивают их, а только скользят по ним” (Вяземский П. А. *Старая записная книжка* // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1883. Т. 8. С. 22).

[44] В “Северных цветах” на 1830 год опубликованы следующие стихотворения Пушкина, которые можно было бы назвать “альбомными”: “К**” (“Подъезжая под Ижоры…”) и “Дар напрасный, дар случайный…”. Но при ином прочтении эпитет альбомный относится к стихотворению “Я вас любил…”.

[45] Имеются в виду два стихотворения Пушкина: “К N. N.” (“Счастлив ты в прелестных дурах…”) и “Эпиграмма” (“Мальчишка Фебу гимн принес…) – и “Эпиграмма” (“В восторженном невежестве своем…”) Баратынского.

[46] Речь идет об “Обозрении российской словесности за первую половину 1829 года” О. М. Сомова, открывавшем альманах. Скептическая оценка альманаха в целом предопределена была, как полагает Гофман (с. 273–274), рецензией из “Московского телеграфа” (1830. № 1. С. 82–83). Однако это неверно: см. ниже оценку журнала самого Н. А. Полевого, из которой видно, что ему как критику Вульф не доверял.

[47] В “Литературной газете” за 1830 г. были помещены отрывки из романов А. Погорельского “Магнетизер” (№ 1–2) и “Монастырка” (№ 14–15).

[48] Санкюлот – букв. “без коротких штанов” (*фр.*), так называли участников Французской революции 1789 г.; произошло от названия городской бедноты, не носившей коротких штанов из дорогих тканей (кюлот).

[49] О полемике вокруг пушкинского круга писателей как “литературных аристократов” см.: Гиллельсон М. И. *От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей.* Л., 1977.

[50] Авторство “Смуглянки” скрыто за криптонимом в

оглавлении II тома “Литературной газеты” – Н. И. Ш-б-въ; это – Н. И. Шибаев, которому принадлежат стихи и в “Северных цветах” на 1830 год под той же подписью.

[51] См.: Московский телеграф. 1830. № 6, март. С. 199–200; № 9, май. С. 98.

[52] Ср. в статье П. А. Вяземского в “Литературной газете” (1830. № 32)“Объяснение некоторых современных вопросов литературных”:

> Автор (Н. А. Полевой) в предисловии своем (к “Истории русского народа”. – *Ред*.) укоряет Карамзина за излишнюю поспешность в его труде и довольно забавно спрашивает: когда же думал историк <…> любопытно только после сей укоризны видеть, сколько автор сам посвятил времени на составление 12-ти томов “Истории”, не только уже готовых в кабинете автора, но даже сделавшихся уже и собственностью публики, ибо подписка на них открыта и сумма за все 12 томов заплачена подписчиками <…> Во всех образованных землях, у всех честных людей открывается подписка и собираются с подписчиков деньги, когда сочинение уже написано и готово к печати. Сочинение может быть допечатано после жизни автора, если он умрет в это время, смерть его оплакивается ближними и добрыми людьми; по крайней мере не сбывается пословица: плакали денежки. А между тем и второго тома еще нет, друзья автора распускают известие, что он сжег второй том, быв недоволен трудом своим. Это огненное очищение, этот Божий суд средних веков приносит честь уничижению авторскому, но тут следует два вопроса: отчего же не сожжен и первый том, и при чем останутся подписчики? при одном пепле, что ли?

[53] Перифраза из поэмы Пушкина “Граф Нулин”:

> В последних числах сентября
> (Презренной прозой говоря)
> В деревне скучно: грязь, ненастье…
>
> *(Пушкин. Т. V. С. 3)*

[54] Речь идет об издании: *Jeah Pauls Richter’s Geist, oder Chrestomathie der vorzüglichsten, kräftigsten und gelingten Stellen aus seinen sämmt-lichen Schribten*. Weimar, 1801. Второй том этого

издания сохранился в библиотеке Тригорского (П. и С. Вып. I. С. 31).

[55] И. П. Вульф, однофамилец (?) Вульфа, сослуживец по полку.

[56] Вл. И. Туманский.

[57] Ср. суждения Пушкина в статье об “Истории русского народа” Н. А. Полевого (Литературная газета. 1830. № 4); Пушкин. Т. XI. С. 120–121.

[58] А. С. Пушкин; ср. запись от 6 февраля 1829 г.

[59] Благожелательную рецензию на “Монастырку” Погорельского написал П. А. Вяземский (Литературная газета. 1830. Т. I. № 16).

[60] В “Московском телеграфе” появилась сдержанная статья о “Монастырке”, где было сказано:

> …автор так торопился пожать лавры и насладиться славою, что пустил в свет одну первую часть своего романа, о которой теперь не могут наговориться благосклонные журналисты. А когда выйдет вторая часть, то, разумеется, опять начнется говор и уверения в достоинствах

“Монастырки” (№ 5, март. С. 94).

Впрочем, этот же укор раздавался и из дружественного лагеря:

> О самом ходе романа, о действии – говорить еще нельзя, потому что вышел только первый том оного, и в этом отношении читатели могут попенять автору. Хороший роман читается в один присест от доски до доски, не должно разбивать внимания, разрывать участия. Впрочем, вся беда будет в том: прочтешь его теперь и перечитаешь снова, когда выйдет окончание (Литературная газета. 1830. № 16).

[61] Комедия-водевиль А. А. Шаховского (1812).

[62] Здесь: человек удачливый в любовных похождениях, покоритель женских сердец (фр.). Следует, впрочем, иметь в виду, что существовала комедия “L’homme à bonne fortune” (1686) М. Барона (Michel Baron).

[63]

> Франция! скажи мне их имена. Я их не вижу
> На этом могильном памятнике.
> Они так быстро победили,

Что ты стала свободной раньше,
чем успела их узнать.

(Казимир Делавинь)

См. об этом стихотворении, о репрессиях против “Литературной газеты” и Дельвига со стороны III Отделения: Дель виг. С. 152–167; Пушкин. *Письма*. Л., 1935. Т. III. 1831–1833. С. 171–175.

64 Ср. у Пушкина стихотворение “Город пышный, город бедный…” (1828).

65 Имеется в виду книга: [M-me Georgette Ducrest, nÉe Boschsa]. Mémoires sur l’impératrice Joséphine, ses contemporains, la cour de Navarre et de La Malmaison. [3 t.] Paris: Ladvocat, 1828–1829. См. русский перевод: *Записки г-жи Дюкре о императрице Жозефине, о ее современниках и о дворах Наварринском и Мальмезонском* / Пер. с фр. Андрея де Шаплета: В 4 ч. СПб., 1835.

66 Восстание в Польше началось 17 ноября 1830 г. Слух о смерти Д. Д. Куруты был ложным.

67 Ср. этот эпизод в мемуарах А. И. Дельвига:

> 26-го ноября 1830 г. брат мой Александр, бывший в это время батальонным адъютантом лейб-гвардии Павловского полка, должен был идти на развод <…> В этот день император Николай, тогда цветущий здоровьем и красотою, после развода пригласил всех бывших на разводе генералов и офицеров окружить его. Государь был верхом. Как только генералы и офицеры окружили его, он им сказал, что получил донесение от цезаревича Константина Павловича № 2, так как донесение № 1 пропало <…> что цезаревич доносит о возмущении в Варшаве, которую заставили его покинуть, и выразил уверенность, что русские войска, и в том числе и гвардейский корпус, если понадобится его послать для укрощения мятежа, покажут известную всему миру их доблесть и преданность отечеству и государю.
>
> Генералы и офицеры при общих громогласных криках “ура” бросились целовать руки государя и его лошадь. Сцена была самая торжественная (Дельвиг. С. 161–162).

68 Имеются в виду либо “Пространная русская грамматика, изданная Николаем Гречем” (СПб., 1827. Т. I), либо

“Практическая русская грамматика, изданная Николаем Гречем” (СПб., 1827). Впрочем, Н. И. Гречу принадлежали и другие руководства по русскому языку, которые также мог читать Вульф.

[69] Гофман (с. 284) справедливо отмечает любопытное совпадение этой записи Вульфа и следующей заметки Пушкина, в которой имеется в виду Вульф:

> В конце 1826-го года я часто видался с одним Дерптским студентом (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, свое пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и на польские грязи). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцовать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всём затверженное понятие, в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он мне сказал при том: Cholera morbus подошла к нашим границам и через 5 лет будет у нас.
>
> О холере имел я довольно темное понятие, хотя в 1822 году старая молдаванская княгина, набеленная и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни. – Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных, но и самые растения, что она желтой полосою стелется вверх по течению рек, что по мнению некоторых она зарождается от гнилых плодов и прочее – всё, чему после мы успели наслыхаться.
>
> Таким образом в дальнем уезде (Псковской) губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через 5 лет сделалось мыслию всей Европы (Пушкин. Т. XII. С. 308–309).

[70] После запрещения “Литературной газеты” под редакцией А. А. Дель вига она стала выходить под официальной редакцией О. М. Сомова, хотя Дельвиг сохранил в ней руководящее положение.

[71] То есть: если Н. Н. Гончарова не выйдет за Пушкина, не станет его женой, то она будет его невесткой – женой Л. С. Пушкина. Однако о намерении Л. С. Пушкина сделать предложение Н. Н. Гончаровой в случае отказа его брату ничего не известно.

[72] Реминисценция из баллады В. А. Жуковского “Замок Смальгольм, или Иванов вечер” (1822):

Содрогнулась она и, смятенья полна,
Вопросила: “Но что же с тобой?
Дай один мне ответ: ты спасен или нет?..”
Он печально потряс головой.

(Жуковский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 156)

1831

[1] Имеется в виду роман Ф. В. Булгарина “Димитрий Самозванец” (СПб., 1830).

[2] Суждения Вульфа о романе Булгарина и поэме Подолинского в основном восходят к оценкам А. А. Дельвига в “Литературной газете”. Ср.:

> История не пощадила Димитрия Самозванца; его пороки и безрассудность выставлены не в полусвете: зачем же ужасную память о нем обременять еще клеветою? Где, в каких тайных летописях найдено, что он был шпионом у Сапеги (см. 1 часть)? Какое чисто литературное намерение заставило автора наделить его сим незаслуженным званием? Сколько убийств, напоминающих дела Стеньки Разина (в особенности утопление Калерии), взведено на него понапрасну!
>
> Язык в романе “Димитрий Самозванец” чист и почти везде правилен…
>
> Благозвучные стихи (Подолинского. – *Ред.*) без мыслей обнаруживают не талант поэтический, а хорошо устроенный орган слуха (Дельвиг А. А. *Сочинения*. Л., 1986. С. 219, 220, 226).

[3] Совпадение именин Евпраксеи и мученицы Татианы заставило Вульфа впоследствии предположить, что его сестры послужили Пушкину прототипами для сестер Лариных в “Евгении Онегине” (см. запись от 15 июня 1833 г.). Это мнение разделяли и члены семейства Вревских, которое сообщил барон А. Б. Вревский (Модзалевский Б. Л. *Поездка в с. Тригорское в 1902 г.* // П и С. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1902. С. 13, прим. 2).

[4] Жалованье, выплачиваемое за треть года и потому составляющее солидную сумму. Вульф собирается на полученные из дома деньги купить лошадь, частью за наличные, частью в кредит, потому что хочет оставить себе на жизнь сумму в размере третного жалованья, по получении которого оплатить кредит.

[5] Цитата из стихотворения Н. М. Языкова “Как живо Геспер благосклонный…” (конец 1825 или начало 1826); см.: Языков. С. 202.

[6] В ответ на постановление Варшавского сейма об отрешении Романовых от польского престола Николай I издал 25 января 1831 г. манифест о вступлении русских войск в Польшу. 25 же января в Варшаве произошла демонстрация в память погибших

декабристов с лозунгом “За вашу и нашу свободу!”.

[7] О предсмертной болезни А. А. Дельвига см.:

> Здоровье Дельвига в ноябре и декабре 1830 г. плохо поправлялось. Он не выходил из дома. Только 5-го января 1831 г. я с ним был у Сленина и в бывшем магазине казенной бумажной фабрики, ныне Полякова, где Дельвиг имел счета. На этих прогулках он простудился и 11-го января почувствовал себя нехорошо <…> Когда в этот день Дельвигу сделалось хуже, послали за его доктором Саломоном, а я поехал за лейб-медиком Арендтом. Доктора эти приехали вечером, нашли Дельвига в гнилой горячке и подающим мало надежды к выздоровлению <…> 14-го января, придя по обыкновению в 8 часов вечера к Дельвигу, я узнал, что он за минуту перед тем скончался <…> 17-го января в день именин Дельвига были его похороны <…> Боясь, что смерть Дельвига убьет его мать, и желая ее хотя несколько к этому подготовить, просили Булгарина, чтобы он в первом выходящем номере издаваемой им “Северной пчелы” не извещал о смерти Дельвига, но Булгарин не исполнил этой просьбы (Дель виг. С. 167–168).

В “Литературной газете” был напечатан ряд произведений, посвященных памяти Дельвига (Дельвиг. С. 171–172).

[8] О материальных затруднениях С. М. Дельвиг в связи с кончиной мужа см.: Дельвиг. С. 176–182.

[9] Письмо А. П. Керн неизвестно, но можно предположить, что сообщаемые ею сведения связаны с тем, что менее чем через два месяца после смерти Дельвига к С. М. Дельвиг начал настойчиво свататься М. Л. Яковлев и в то же самое время С. М. Дельвиг стала предметом увлечения Андрея И. Дельвига (см.: Дельвиг. С. 182–185). Впрочем, в обоих случаях С. М. Дельвиг вела себя (по свидетельству мемуариста) вполне безупречно.

[10] Газета “Русский инвалид”, выходившая под редакцией А. Ф. Воейкова, публиковала официальные сообщения.

[11] Интерес к мемуарам Видока был вызван, очевидно, рецензией Пушкина в “Литературной газете” (1831. № 20, 6 апреля. С. 106). Ср.:

> …нравственные сочинения Видока, полицейского сыщика, суть явление не менее отвратительное, не менее любопытное”, чем мемуары парижского палача Самсона (Пушкин. Т. XI. С. 129).

В своей рецензии Пушкин метил не столько в самого Видока, сколько в Ф. В. Булгарина.

[12] Свадьба Пушкина состоялась 18 февраля 1831 г.

[13] Крепость *Замосцье* – важный укрепленный пункт, в котором были сосредоточены силы генерала польских повстанцев Дверницкого.

[14] Роман М. Н. Загоскина “Юрий Милославский, или Русские в 1612 году” (1829) оказался крайне актуальным в связи с польским восстанием.

[15] Маршрут передвижения Вульфа с полком во время польской кампании подробно прокомментирован Гофманом (С. 304–307).

[16] Конечный пункт маршрута полка, с которого началось наступление на Дверницкого под начальством генерала Ф. В. Ридигера.

[17] Описание кампании против Дверницкого см.: Смит Ф. *История польского восстания*… СПб., 1863. Т. 2. С. 154–156, 169–208.

[18] О восстании под руководством С. Ворцеля и Н. Олизара см.: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 208–209.

[19] См. об этом: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 157–168.

[20] О наступлении главных сил русской армии и контрнаступлении поляков с 12 по 20 апреля в районе современного Миньск-Мазовецкого см.: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 211–226.

[21] Б. А. Вревский.

[22] Историю этого восстания, которое продолжалось с 15 апреля по 14 мая 1831 г., см.: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 405–430.

[23] Описание сражения войска Ридигера с отрядами Дверницкого у крепости Боремль в имении графа Чацкого 7 апреля 1831 г. см.: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 188–192. Сообщение Вульфа в целом совпадает с официальными источниками.

[24] *Постпакет* (от *нем.* Postpaket) – тюк с почтовой корреспонденцией, адресованной в один пункт.

[25] Ср. запись от 9 февраля. Возможно, впрочем, что А. П. Керн сообщает о сближении С. М. Дельвиг с С. А. Баратынским, которое завершилось их свадьбой в июне 1831 г. См. об этом: Дель виг. С. 191–197; Модзалевский Б. Л. *Сто лет назад (Роман декабриста Каховского)* // Былое. 1924. № 26. С. 58.

[26] О сражении при Остроленке 14 мая 1831 г. см.: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 307–319.

[27] Речь идет об атаке польских частей Дверницкого двумя егерскими полками 10-й дивизии 6 апреля (см.: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 186–187).

[28] Как и в записи от 12 мая, Вульф указывает, что именно его гусарский полк сыграл решающую роль в Боремльском деле, но это никак не отразилось в реляциях Ридигера. Кроме того, гусарский принца Оранского полк вместе с Каргопольским драгунским сыграл решающую роль в преследовании поляков 8 апреля 1831 г. (Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 193).

[29] Роман Джеймса Мориера, секретаря английского посольства в Тегеране в 1808–1814 гг., “Похождения Мирзы Хаджи Бабы Испагани в Персии и Турции, или Персидский Жиль Блаз” (СПб., 1831). Предыдущий сходно построенный роман Мориера “Мирза Хаджи Баба Испагани в Лондоне” (СПб., 1830), также в переложении О. И. Сенковского, был отрецензирован в “Литературной газете” (1830. № 48, 24 августа. С. 97–98) Дельвигом, что, очевидно, могло повлиять на оценку этого сочинения Вульфом.

[30] И. И. Дибич умер 29 мая 1831 г. от холеры, когда И. Ф. Паскевич еще не был официально назначен на должность главнокомандующего войсками в Польше. Однако И. И. Дибич, очевидно, догадывался о предстоящем смещении, поскольку незадолго до смерти к нему был направлен граф А. Ф. Орлов для проверки положения дел в армии, который мог прямо сообщить ему об этом (см.: Смит Ф. *История польского восстания*… Т. 2. С. 452–455).

[31] Вульф получил письмо Е. Н. Вульф от 7 мая 1831 г., где она сообщала о своей предстоящей свадьбе (Гофман. С. 288–289).

[32] Вульф получил письмо от Е. Н. Вульф от 5 июня 1831 г. (см.: Гофман. С. 289–290). Свадьба Е. Н. Вульф и барона Б. А. Вревского состоялась 8 июля 1831 г.

[33] *Посполитое рушение* (*пол*. pospolite ruszenie – всеобщее движение) – военная мобилизация польской и литовской шляхты и образованное таким образом дворянское ополчение (XIII–XVIII вв.).

[34] Далее записи в дневнике Вульфа сделаны без дат; оформление их указывает, что все они написаны задним числом как воспоминание (прием, с которым мы уже встречались). Однако неизвестно, когда именно были сделаны эти записи. Судя по тому, что рассказ этот включает в себя и пребывание Вульфа в отпуске в Тригорском с января по апрель 1832 г., можно полагать, что дневник был возобновлен уже по возвращении Вульфа в полк, примерно в то время, когда была сделана первая запись за

1832 г. – 9 июня.

[35] *Фольварок* (современное: фольварк) – так называется в западных говорах помещичья усадьба с угодьями и хозяйством.

[36] Имеется в виду 30 августа; Варшава была взята штурмом 26 августа 1831 г.

[37] Ср. запись от 12 мая.

[38] В Сандомеже сохранились архитектурные памятники XIII в.

[39] Имеется в виду дороманская капелла-ротонда Девы Марии (2-я половина X в.).

[40] *Барская конфедерация* – вооруженный союз польской шляхты против короля Станислава Августа Понятовского и России (1768–1772). Поражение ее привело к первому разделу Польши.

[41] Obwodowy – окружной (*пол.*), центр округа.

[42] Жемчужных (от *фр*. perle – жемчужина, жемчуг).

[43] Должно быть: panna, ибо Ewa Jurkowska – девица.

[44] 6 декабря, в день святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, прошла торжественная церковная процессия (крестный ход) и состоялась повторная присяга усмиренных поляков Николаю I.

[45] “Что я не должен сомневаться в ее сердце”. – “Прелестная” (*фр.*).

[46] Реминисценция из комедии Грибоедова “Горе от ума”, где Чацкий говорит о смешении в светском обществе двух “языков: французского с нижегородским” (Грибоедов А. С. *Полное собрание сочинений*. Т. I. С. 29).

[47] Пафосской богиней называется богиня любви Афродита, которая родилась из морской пены у острова Крит около города Пафос, где и находится ее храм.

[48] По решению Венского конгресса в 1815 г. Краков был объявлен Вольным, независимым и строго нейтральным городом, иначе – Краковской республикой (поэтому глава города и назван Вульфом “сенатор республики”). Но поскольку статус нейтрального города предполагал в данном случае совместный протекторат России, Австрии и Германии, то экономическое развитие города находилось на очень низкой ступени. Ср.: Вяземский П. *Записные книжки*. М., 1992. С. 34.

[49] Краков был столицей Польши в XI–XVI вв.

[50] Имеется в виду королевский замок на горе Вавель, построенный в XIII–XVII вв.

[51] Готический собор Девы Марии, постройки 1-й половины XIV в.

[52] Святой Католической церкви; был убит в церкви Св. Михаила во время обедни по приказанию короля Болеслава

Храброго за то, что обличал его беспутный образ жизни и отлучил от Церкви; почитается покровителем Польши.

[53] Речь идет о памятнике на гробнице графа В. Потоцкого (1789–1812), полковника конной артиллерии герцогства Варшавского. Памятник в костеле Св. Троицы в Вавеле был создан Бертелем Торвальдсеном; мужская фигура в тунике, обнажены только одна рука и половина груди.

[54] Иоанн III Собеский.

[55] Ю. Понятовский после участия в основных эпизодах борьбы Польши за независимость вступил во французскую службу и участвовал в походе Наполеона в Россию, возглавлял 5-й корпус его армии. Именно этот факт, очевидно, и заставляет Вульфа отказаться от признания его национальным героем.

[56] Т. Костюшко после участия в национально-освободительных восстаниях 1792 и 1794 гг. был взят в плен и заключен в Петропавловскую крепость, откуда его освободил Павел I в 1796 г. Проживая за пределами Польши, Костюшко отверг предложения Наполеона и Александра I вступить (соответственно) во французскую и русскую службу из-за своих патриотических и республиканских убеждений. Умер в Швейцарии.

[57] *Крак* – генеалогический герой западнославянской мифологии, основатель Кракова, убивший дракона, который жил на горе Вавель и пожирал людей и скот. *Ванда* – мифическое лицо, почитаемое в Польше историческим; дочь Крака, она стала королевой по желанию народа, когда погибли в братоубийственной борьбе за власть два ее брата. Ср.: Вяземский П. *Записные книжки*. С. 35–37.

[58] В местечке Величко близ Кракова находится крупное месторождение поваренной соли.

[59] Вульф выехал в отпуск в Тригорское 22 января 1832 г.

[60] Реминисценция из стихотворения Языкова “Тригорское” (1826):

> В стране, где вольные живали
> Сыны воинственных славян…
>
> *(Языков. С. 220)*

[61] Реминисценция из стихотворения Языкова “К П. А. Осиповой” (“Благодарю вас за цветы…”), 1827:

> И всё божественное лето,
> Которое из рода в род,

Как драгоценность, перейдет,
Зане Языковым воспето!

(Языков. С. 238)

Ср. запись от 15 июня 1832 г.

[62] В. Н. Вульф.

[63] Гофман (с. 291) сообщает, что он в 1910 г. описал всю библиотеку, сохранившуюся в Голубове, поместье Вревских, и содержавшую около трех тысяч томов. Описание это в печати неизвестно.

1832

[1] Цензурную историю “Европейца” см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. *Сквозь “умственные плотины”: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры*. М., 1986. С. 114–139.

[2] “Песни цыганкам” – три стихотворения Языкова, помещенные в “Одесском альманахе” на 1831 год (Одесса, 1831. С. 225, 258, 308): “Весенняя ночь”, “Элегия” (“Блажен, кто мог на лоне ночи…”), “Перстень”. Все они посвящены московской цыганке Татьяне Дмитриевне Демьяновой, поклонником пения которой был и Пушкин. В письме от 30 марта 1832 г. Языков писал Вульфу: “Да! знаешь ли ты мои песни в честь примадонны здешнего цыганского табора? Если нет, то я пришлю их тебе. Да будет тебе известна и новейшая история моего сердца – во всём разнообразии вольной его влюбчивости!” (*Литературно-библиографический сборник*. Пг., 1918. С. 69). Очевидно, Языков выполнил свое обещание и прислал Вульфу эти “песни цыганкам”.

[3] Статья “Антикритика” принадлежала самому Е. А. Баратынскому.

[4] *Богоподобный* – Ахилл, герой греческих мифов, который был неуязвим и потому бессмертен, как боги. Единственное уязвимое место на его теле – пята; ср. крылатое выражение “ахиллесова пята”.

[5] Свадьба А. И. Осиповой и П. Н. Беклешова состоялась 5 февраля 1833 г. Ср. запись от 19 февраля 1833 г. По брачному обыску, “невесте Александре 25 лет”, что позволяет хотя бы приблизительно установить время ее рождения – 1807 или 1808 г. Сообщено Г. Ф. Симакиной (ПЗ 4677/42. Л. 145–146. Архив Пушкинского заповедника. Книга брачных обысков Георгиевской церкви пригорода Воронич). Брак этот был очень несчастлив; М. И. Осипова писала Вульфу 16 ноября 1843 г.:

> На днях, т. е. три дни тому назад, отправилась Сашенька с детьми и своим супругом в свою деревню. Она прожила здесь пять дней. Эти пять дней я прожила с нею. Этого короткого времени достаточно было, чтобы понять весь ужас ее существования. Он с нею иначе не говорит, как бранясь так, как бы бранился самой злой мужик. Дети, разумеется, ее ни во что ставят, это решительно ад. Вот уверяют, что хорошее воспитание не нужно для супружеского счастия: стал ли бы благовоспитанный человек браниться, как ямщик?..

(Гофман. С. 290; ср.: там же. С. 344–345).

[6] “Дон Жуан”, поэма Байрона, французский перевод последних песней.

[7] Л. Н. Майков полагал, что это М. П. Вронченко (*Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки.* СПб., 1899. С. 183); Гофман (с. 235–236) достаточно аргументированно опроверг это мнение.

[8] Работа по составлению истории военных походов полка была возложена на Вульфа начальством, причем, очевидно, были учтены его склонности к литературному труду и наличие у него поденных записей, позволявших восстановить ход событий. К сожалению, местонахождение этой рукописи неизвестно, хотя обращение к ней могло бы ярче представить личность Вульфа уже как литератора. Участие гусарского принца Оранского полка в генеральном сражении при селе Кулевчи 30 мая 1829 г. никак не отразилось в его дневнике, и мы можем судить об этом только по Указу об отставке Вульфа (см. прим. 14 к 1833 г.)

[9] И. Ф. Паскевич.

[10] Парк Лазенки был оформлен в XVII в. в барочном стиле для великого коронного гетмана Станислава Любомирского. Парк назван Лазенки по находящемуся в нем купальному павильону. В 1764 г. Станислав Август Понятовский, ставший королем Польши, приобрел парк и развивал его в классическом стиле (архитекторы Доминик Мерлини, Иоганн Кристиан Каммсетцер, садовник Ян Кристиан Шух). Главный дворец на берегу озера (Дворец на воде, Лазенковский дворец, XVII в.) в виде эрмитажа с баней в китайском стиле. Бельведерский дворец (ок. 1660, перестроен нач. XVIII в.) в барочном стиле. Когда дворец стал резиденцией великого князя Константина Павловича, его перестроили в неоклассическом стиле (1819–1822, архитектор Якуб Кубицкий). В ноябре 1830 г. на великого князя Константина было совершено покушение, приведшее к началу Ноябрьского восстания. Князь бежал из дворца, переодевшись в женское платье. В письме С. Л. Пушкина к О. С. Павлищевой от 12–14 марта 1833 г. сказано:

> Надеюсь, мой добрый друг, что ты совершенно оправилась, что у вас Весна, что ты уже наслаждаешься ярким солнцем и возобновила свои прогулки в Лазеньки (*Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов*. СПб., 1993. Т. I: Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828–1835. С. 138).

[12] Впрочем, в 1831 г. Пушкин воспользовался этим словом в

названии своего стихотворения “Бородинская годовщина”, хотя первоначально он думал назвать его иначе: “Великий день Бородина” (Пушкин. Т. III. С. 879). Запись Вульфа подтверждает эти колебания.

[1] Очевидно, издание: *Mémories de Lord Byron, publiés* par Thomas Moore; traduits de l'Anglais par M-me Louise Sw.-Belloc. Paris, 1830 (в 5 т.).

[2] Это могли быть следующие издания: 1) *Conversations de Lord Byron avec la Comtesse de Blessington; pour faire suite aux Mémoires publiés par Thomas Moore*. Paris, 1833; 2) *Correspondance de Lord Byron avec un ami…* Paris, 1825.

[3] Описывая себя в молодости, Вульф ориентируется на характеристику "возрастного" поведения человека, данную Пушкиным в "Евгении Онегине":

Блажен, кто с молоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват…

(Пушкин. Т. VI. С. 169)

Опора на пушкинский текст для автохарактеристики свидетельствует, что Вульф уже познакомился с отдельным изданием восьмой главы, вышедшей в 1832 г., поэтому запись от 15 июня о ее чтении свидетельствует именно о "перечтении".

[4] Ср. в беловой рукописи второй главы "Евгения Онегина" следующее признание:

Что до меня – то мне на часть
Досталась пламенная страсть,
Страсть к банку! ни дары свободы,
Ни Феб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры;
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов я в прежни лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
Среди разорванных колод

Дремал усталый банкомет.
А я нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза
Пускал на 3-го туза.
И я теперь отшельник скромный,
Скупой не веруя мечте,
Уж не поставлю карты темной,
Заметя грозное руте;
Мелок оставил я в покое
Атанде, слово роковое,
Мне не приходит на язык —
От рифмы также я отвык
Что будешь делать? между нами
Всем этим утомился я.
На днях попробую, друзья,
Заняться белыми стихами,
[Хоть всё имеет] quinze elle va
Большие на меня права.

(Пушкин. Т. VI. С. 563–564)

[5] Вульфовская оценка трагедии Хомякова “Ермак” очень близка пушкинской, неоднократно высказывавшейся им в 1830 г. (Пушкин. Т. XI. С. 141, 180).

[6] Вульф имеет в виду одну из книг S. F. X. Millot: l) *Élements de l’histoire de France, depuis Clovis jusqu’à Louis XV;* par M. l’Abbe Millot, de l’Académie Française… Paris, 1806; 2) *Élements de rhistoire générale.* А также: Древняя и новая всеобщая история, сочиненная И. М. Шрекком для обучения юношества, переведенная с последнего немецкого издания, исправленного и дополненного до 1816 года К. Г. Л. Пелицом и умноженная хронологическим обозрением оной, составленным по образцу сочиненного Ф. Кольраушем: в 4 ч. Ч. 1. СПб., 1820.

[7] См. прим. 5 к 1827 г.

[8] Роман “La Tour de Montlhéry, histoire du XIIe siècle” (1833, 3 vol.) французского политика и писателя Ж.-П.-Г. Вьенне (1777–1868).

[9] *Сабеизм* – древняя (доисламская) религия в Месопотамии, Аравии, Сирии и Малой Азии, в основе которой лежал культ небесных светил; название произошло от аравийского племени сабеев, у которых зародился этот культ.

[10] *Зердуш* – Зардушт, Заратуштра – в иранской мифологии пророк и основатель религии зороастризма.

[11] Ш. Ф. Дюпюи и К. Ф. Вольней – основатели истолкования

Иисуса Христа как мифологического образа, поэтому каждый момент евангельских текстов они пытались объяснить явлениями солнечного календаря.

[12] На обложке отдельного издания восьмой главы значилось: “Последняя глава Евгения Онегина”, а в конце книги стояло: “Конец осьмой и последней главы” (*Евгений Онегин, роман в стихах Александра Пушкина*. СПб., 1832. С. 51).

[13] Ср. прим. 3 к 1831 г. См. об этом также: Сочкина В. В., Строганов М. В. *Татьяна Ларина и ее “прототипы”: литературный образ и бытовое поведение в романтизме //* Проблема романтизма. Тверь, 1990. “В губернии Псковской” – цитата из черновой рукописи четвертой главы “Евгения Онегина”:

Но ты – губерния Псковская
Теплица юных дней моих
Что может быть, страна глухая
Несносней барышень твоих?
Меж ими нет – замечу кстати
Ни тонкой вежливости знати
Ни [ветрености] милых шлюх —
Я, уважая русский дух,
Простил бы им их сплетни, чванство,
Фамильных шуток остроту,
Порою зуб нечистоту
[И непристойность и] жеманство,
Но как простить им [модный] бред
И неуклюжий этикет…

(Пушкин. Т. VI. С. 351)

Впрочем, это выражение может быть и перефразировкой строчки из послания Пушкина к Е. В. Вельяшевой:

Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской.

(Пушкин. Т. III. С. 151)

[14] См. прим. 60 к 1831 г.

[15] Приводим указ об отставке А. Н. Вульфа:

По указу
Его величества государя императора
Николая Павловича
Самодержца Всероссийского
и проч., и проч., и проч.

Предъявитель сего, штабс-ротмистр Алексей Николаев сын Вульф 1, как из формулярного о службе его списка значится: от роду имеет 32 года. Из дворян Тверской губернии. Родового и благоприобретенного имения за ним и родителями его не состоит <!>. В службу вступил в гусарский принца Оранского полк унтер-офицером 1829 генваря 24; переименован в юнкера того же года ноября 24; произведен в корнеты 1830 майя 5; за отличие в сражении в поручики 1831 ноября 28. В походах и делах против неприятеля находился: в войну с турками 1829 года майя с 25 в Болгарии при г. Проводах; с 28 по 29 в движении войск главной армии к Шумле и 30 в генеральном сражении при совершенном разбитии турецкой армии под предводительством верховного визиря у с. Кулевчи; 31 в атаке турецкой кавалерии при кр. Шумле, отбитии двух редутов с 5 орудиями и овладении лагерем; июля 6, 7 и 8 в поиске, произведенном на м. Джумай; 18-го при покорении кр. Силистрии; 26 вторично в поиске к м. Джумай; 27 в рекогносцировке к с. Демеркой; августа 14 в ночной экспедиции для забратия турецких фуражиров и рассеянии прикрытия их, при с. Мараше; с 25 по 30 в поисках, производимых в тылу кр. Шумлы. По заключении же мира с Оттоманскою Портою следовал с полком на зимовые квартиры в Бабадагскую область, где находился по 26 апреля 1830 года; а с того времени, по переправе через реку Дунай, следовал в Россию. 1831 в войну противу польских мятежников апреля 7 в сражении с отрядом Дверницкого при м. Баромле; июля 3 переправясь реку Буг в царство Польское, 13 находился при обложении кр. Замосця; 14 в экспедиции к с. Звержинцу и в стычке при оном с мятежниками; августа 4 при штурме редутов № 1 и 2 впереди форштата кр. Замосця, нового места, и занятия оного; и за оказанное в этих делах отличие награжден поручичьим чином; 19 при отражении вылазок, сделанных из кр. Замосця на с. Хирж; октября 10 при сдаче той крепости. Ранен не был и в плену не находился. Особых поручений по

высочайшим повелениям и от своего начальства не имел. Имеет серебряную медаль за турецкую войну 1828 и 1829 годов установленную и принадлежавший царству Польскому знак отличия за военное достоинство 4 степени. Российской грамоте читать и писать умеет и математику знает. В домовом отпуску был с 22 генваря 1832 года по 1 апреля и на срок явился. В штрафах по суду и без суда не бывал; высочайшим замечаниям и выговорам не подвергался. Холост. Состоял в комплекте и находился при полку на лицо. К повышению чином и награждению знаком отличия беспорочной службы аттестовался достоин. По выборам дворянства не служил. Отчеты по должности, какие имел, представлял в срок. Жалобам не подвергался. Слабым в отправлении обязанностей службы и по званию начальника не замечен и вопреки должной взыскательности по службе беспорядков и неисправностей между подчиненными не допускал. В неприличном поведении оглашаем и изобличаем не был. 1833 года высочайшим его императорского величества приказом, в 9 день июля состоявшимся, уволен от службы по домашним обстоятельствам штабс-ротмистром. Во свидетельство чего по высочайше предоставленному мне уполномочию дан сей за подписом, с приложением герба моего печати. Главная квартира в г. Варшаве.

Генваря 21 дня 1838 года.

<……>

Князь Варшавский

граф Паскевич Эриванский

Исправляющий должность

дежурного генерала действующей армии

полковник Немцов 1

Указ, данный об отставке уволенному от службы по домашним обстоятельствам из гусарского принца Оранского полка штабс-ротмистру Вульфу 1-му (Гофман. С. 308–310).

Следует заметить, что П. А. Осипова была недовольна отставкой сына; Е. Н. Вревская (Вульф)

сообщала Б. А. Вревскому в письме от 11 декабря 1832 г.: “Маминька пишет Надежде Осипов не (Пушкиной. – *Ред*.): наши сыновья вышли в отставку – ваш капитаном, а мой порутчиком. Ей это кажется всего обиднее…” (Гофман. С. 372).

[16] Языков называет этот напиток пуншем:

…Когда рука судьбины
Благоволит перед тобой
Стакан поставить пуншевой
Иль утешительные вины…

(Языков. С. 219–220).

Кроме того, он описывает и приготовление этого пунша в Тригорском:

Как волновалася во мне,
На самой сердца глубине,
Восторгов пламенная удаль,
Когда могущественный ром
С плодами сладостной Мессины,
С немного сахара, с вином,
Переработанный огнем,
Лился в стаканы-исполины?
Как мы, бывало, пьем да пьем,
Творим обеты нашей Гебе…

(Языков. С. 213)

Упоминаемая в этом стихотворении Геба – Е. Н. Вульф, которая и готовила пунш Вульфу, Пушкину и Языкову летом 1826 г. С собственно русским названием жженки этот напиток упомянут в послании 1845 г. “К баронессе Е. Н. Вревской”:

Как хорошо тогда мы жили!
Какой огонь нам в душу лили
Стаканы жженки ромовой!
Ее вы сами сочиняли:
Сладка была она, хмельна,
Ее вы сами разливали,
И горячо пилась она!
<……..>

Примите ж ныне мой поклон
За восхитительную сладость
Той жженки пламенной, за звон,
Каким звучали те стаканы
Вам в похвалу…

(Языков. С. 409–410)

Пушкин же говорит об этих пирушках только намеком; ср. в “Евгении Онегине”:

…За ним (цимлянским. – *Ред.*) строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристал души моей,
Предмет моих стихов невинных,
Любви приманчивый фиял,
Ты, от кого я пьян бывал!

(Пушкин. Т. VI. С. 112)

Впрочем, и сам Вульф знал, что этот напиток назывался жженкой, и вспоминал об этом так:

> Сестра моя Euphrosine, бывало, заваривает всем нам после обеда жженку: сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин, ее всегдашний и пламенный обожатель, любил, чтобы она заваривала жженку… и вот мы из этих самых звонких бокалов, о которых вы найдете немало упоминаний в посланиях ко мне Языкова, – сидим, беседуем да распиваем пунш (*А. С. Пушкин в воспоминаниях современников*: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 447).

Слово же “емка” – возможно, специальное обозначение пищи и напитков. Во всяком случае, в тверских и псковских говорах было слово “емины”, обозначавшее всё, что “определено на пищу” (Даль В. И. *Толковый словарь живого великорусского языка*. М., 1978. Т. 1. А-З. С. 519). Вместе с тем в письме к Н. М. Языкову от 14 апреля 1836 г. из Голубова, имения Вревских, Пушкин писал:

> Отгадайте, откуда пишу к Вам, мой любезный Николай Михайлович?

из той стороны
– где вольные живали etc.

где ровно тому десять лет пировали мы втроем – Вы, Вульф и я; где звучали ваши стихи, и бокалы с Емкой, где теперь вспоминаем мы Вас – и старину. Поклон Вам от холмов Михайловских, от сеней Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпраксии Николаевне, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пятой раз уже брюхатой, и у которой я в гостях. Поклон Вам ото всего и ото всех Вам преданных сердцем и памятью!

Алексей Вульф здесь же, отставной студент и гусар, усатый агроном, Тверской Ловлас – по прежнему милый, но уже перешагнувший за тридцатый год (Пушкин. Т. XVI. С. 104).

[17] Вульф был уволен в отставку с чином штабс-ротмистра (см. прим. 14).

[18] Саксонский сад был разбит во второй половине XVII в., открыт для посещений публики с 1827 г. (*Путеводитель по Варшаве*. С. 63–65).

[19] Бальзак “Contes drolatiques” (“Les contes drolatiques”).

[20] В. И. Аничков, приятель Л. С. Пушкина и Вульфа, принял на себя долг Пушкина А. П. Плещееву, почему Пушкин и смог выехать из Варшавы (см. письмо Н. И. Павлищева к А. С. Пушкину от 26 апреля 1836 г. // Пушкин. Т. X V. С. 132). См. о нем: *Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов*. Т. 1. С. 181. Об этих обстоятельствах жизни Л. С. Пушкина см. также: Хандрос Б. Н. *Письма Л. С. Пушкина к М. В. Юзефовичу* // ПИМ. Т. X. С. 333–334.

[21] Имеется в виду серия “Paris on le livre des cent-et-un” (Paris, 1831–1834. Vol. 1–15), “Париж, книга ста одного”, в издании которой принимал участие Ж. Жанен.

[22] Книга: Dumont Étienne. *Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières*. Assemblées législatives. Bruxelles, 1832.

Иное мнение о романе Ж. Жанена “Барнав” см. в письмах Л. С. Пушкина (ПИМ. Т. X. С. 336).

[23] О стихотворных опытах О. С. Павлищевой см.: Лернер Н. *Сестра Пушкина* // Пушкин. Сочинения / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1907. Т. I. С. 81–87.

[24] Н. О. и С. Л. Пушкины приехали в Михайловское 4 июля 1833 г. В их письмах к дочери постоянно упоминается, что Вульфы ждут сына и брата домой: Анна Н. Вульф “с нетерпением ждет своего брата” (4 сентября); “Они со дня на день ждут Алексиса, я тоже очень рада буду его видеть, тем более что он

расскажет мне о вас, дорогие мои Дети” (27 сентября); “они с часу на час ждут Алексиса” (13 октября); Анна Н. Вульф “только что получила письмо от Алексиса, которое повергло ее в печаль, у него лихорадка; вместо того чтобы ехать сюда, он не выходит из комнаты” (21 октября). Наконец, 11 ноября 1833 г., незадолго до отъезда из Михайловского в Петербург, Пушкины посетили Тригорское:

Мы приехали сюда после полудня, чтобы с нею (П. А. Осиповой. – *Ред*.) попрощаться, – в тот самый момент, как Алексис Николаевич воротился из Варшавы. – Можешь вообразить, рады ли мы были с ним свидеться и поговорить о тебе, но, признаюсь, как ни был я счастлив обнять его, у меня сердце сжималось при мысли о тебе. – Он успокоил меня насчет твоего здоровья (*Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов*. Т. 1. С. 178, 179, 182, 183, 186).

Таким образом, Вульф выехал из Варшавы 1 ноября, а приехал в Тригорское 11 ноября. Ср. в письмах Пушкиных: “…г-н Вульф сам потратил 10 дней на то, чтобы добраться досюда” (там же. С. 187).

[25] Н. О. и С. Л. Пушкины выехали из Михайловского в Петербург, очевидно, 14 ноября 1833 г. (*Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов*. Т. 1. С. 187).

1834

[1] Из послания Языкова 1833 г. “А. Н. Вульфу” (“Прошли младые наши годы!..”):

Я руки в боки упираю
И вдохновенно восклицаю:
Здесь дома я, здесь лучше мне!..
Вот так-то мы остепенились!

(Языков. С. 334)

[2] Вульф был в Петербурге около 3 февраля (день праведницы Анны Пророчицы); ср. запись от 3 февраля 1830 г.

[3] Лицо не установлено; но это не О. С. Павлищева, которая в 1834 г. жила безвыездно в Варшаве.

[4] С. Л. и Н. О. Пушкины сообщали 13 февраля 1834 г. О. С. Павлищевой, приславшей родителям план своего дома в Варшаве: “Дом твой очень удобен, и план его очень хорошо нарисован. – Леон (Л. С. Пушкин. – *Ред*.) и <А. Н.> Вульф тотчас его узнали”; “Я получила твой план (дома. – *Ред*.) и очень тебе за него благодарна, Леон и Алексис Вульф, который провел здесь несколько дней, направляясь в Тверь, с удовольствием узнали комнаты, где они некогда были счастливы и соперники” (*Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов*. Т. 1. С. 209, 208). “Соперничество” Пушкина и Вульфа связано, очевидно, с их увлечением в Варшаве г-жой Вольф (см. записи от 15 и 19 июня 1832 г.).

[5] Пушкин подавал на прочтение Николаю I “Историю Пугачева”, вышедшую в свет в ноябре 1834 г. Слова “повествование о бунте Пугачева” свидетельствуют, очевидно, что Пушкин сообщил Вульфу повеление Николая I заменить авторское название на “Историю пугачевского бунта”.

[6] В 1833 г. Пушкин написал “Сказку о рыбаке и рыбке” и “Сказку о мертвой царевне…”.

[7] Речь идет о четырех дочерях А. М. и В. А. Бакуниных: Любови (1811–1838), Варваре (1812–1866), Татьяне (1815–1871) и Александре (1816–1882), и двух из трех племянниц А. М. Бакунина, дочерей его брата Михаила, очевидно, Екатерине (1810?–1894) и Прасковье (1812–1882).

[8] Оборот “и певицы, и плясавицы” был широко распространен в литературе начала XIX в. Ср.: “Да изженутся из столицы моей

певцы польские и плясавицы богемские!” (Нарежный В. Т. *Избранное*. М., 1983. С. 100); “А Русалки-то, Русалки!.. в пуху ныряют! Снег да красная заря! очи – жар! певицы, плясавицы, пыль столбом!..” (Вельтман А. Ф. *Романы*. М., 1985. С. 89). Но для Вульфа самым значимым источником было адресованное ему послание Языкова “Прошли младые наши годы!..” (1833), которое он уже процитировал выше (см. прим. 1):

Здесь не слыхать градского шума,
Здесь не видать сует градских:
И в сей глуши, всегда спокойной,
К большим трудам и к жизни стройной
Легко мне душу приучить;
Легко навечно разлюбить
Уста и очи дев-красавиц,
Приветы гордых молодиц,
И песни пламенных певиц,
И пляски пламенных плясавиц!
Поклон вам, прежние мои…
Пляшите, пойте, процветайте,
Великолепно оживляйте
Ночные шалости любви!
Довольно чувств и вдохновений
Я прогулял, и мне пора
Познать себя, вкусить добра,
Небуйных, трезвых наслаждений!

(Языков. С. 334)

[9] Трудно установить, каких Ушаковых имел в виду Вульф, поскольку он пишет, что служил под командованием их сына Александра Степановича, а Ушаковы с именем Степан нам не известны. В Тверском уезде Ушаковым принадлежали усадьбы Отрадное (владелец статский советник Александр Александрович) и Сакулино (владелец генерал-майор Петр Андреевич Ушаков, его дочь Авдотья Петровна).

[10] Ср. запись об “Истории русского народа” Н. А. Полевого от 17 октября 1830 г.: Вульф тогда “Историю” Полевого не читал, а судил о ней со слов “Литературной газеты”.

[11] Редактором первых номеров “Библиотеки для чтения” был реально и официально О. И. Сенковский; но вскоре официальным редактором стал Н. И. Греч, так как министр просвещения граф С. С. Уваров вынудил Сенковского уйти с должности редактора (Виттекер Ц. Х. *Граф Сергей Семенович Уваров и его время*. СПб.,

1999. С. 133), хотя реальная редакторская работа осталась за Сенковским.

11a Речь идет о романе французского писателя Гюстава Друино (1798–1878)“Безропотная” (1833).

[1] См. прим. 4 к 1833 г.

[2] Вульф вновь примеряет к себе одну пушкинскую характеристику: “Кто черни светской не чуждался”; ср. прим. 3 к 1833 г.

[3] Об одной из этих поездок из Малинников в Тригорское через Петербург Вульф рассказывал М. И. Семевскому, упоминая, в частности, что Пушкин

> осенью 1835 года, едучи со мной из Петербурга в деревню, вспоминал об этом эпизоде своей молодости (предсказание гадалки Киргоф) и говорил, что ждет и над собой исполнения пророчества колдуньи (*А. С. Пушкин в воспоминаниях современников*. Т. 1. С. 446).

По этому свидетельству мы можем судить, что отъезд Вульфа из Петербурга с Пушкиным состоялся 7 сентября 1835 г.

[4] Праздник в честь дня рождения императрицы Александры Федоровны, жены Николая I.

[5] Сводку данных об отношениях Пушкина с Ек. Н. Ушаковой см.: Черейский Л. А. *Пушкин и его окружение*. 2-е изд. Л., 1989. С. 459–460.

[1] Букв.: “Обозрение двух миров” (Старого и Нового Света) (*фр.*). Ежемесячный журнал политики, истории и литературы. С 1831 г. публиковал в основном художественные произведения. Журнал был очень популярен в России.

[2] Сборник “Русская беседа: Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина” (СПб., 1841. В 3 т.).

[3] Рецензия в “Отечественных записках” (1841. Т. XIX, № 11. Отд. VI. С. 1–3) принадлежала В. Г. Белинскому. Ср.: Белинский В. Г. *Полное собрание сочинений*. Т. V. С. 481–483.

[4] В рецензии на второй том “Русской беседы” (Отечественные записки. 1842. Т. XX, № 1. Отд. VI. С. 2–5) В. Г. Белинский писал, что он “гораздо лучше первого” (там же. С. 591) и выделял повесть В. А. Соллогуба “Аптекарша”. Рецензия заканчивается словами: “Что-то скажет нам третий том «Русской беседы»?” (там же. С. 595).

[5] В 1837 г. И. И. Лажечников приобрел у И. Е. Великопольского одно из его поместий в Старицком уезде Тверской губернии – деревню Коноплино.

[6] Н. И. Шениг был женат на баронессе Софии Николаевне Сердобиной, единокровной сестре барона Б. А. Вревского, мужа Ев праксии Вульф.

[7] В. Н. Вульф.

[8] Цитата из стихотворения Пушкина “Признание” (“Я вас люблю, – хоть я бешусь…”, 1826), посвященного А. И. Осиповой:

Мне не к лицу и не по летам
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, – я зеваю;
При вас мне грустно, – я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!

(Пушкин. Т. III. С. 28)

Приложения

Памятная книжка А. Н. Вульфа на 1829 год

Печатается по: П и С. Вып. I. С. 147–151. Основные события (особенно начала 1829 г.) отразились впоследствии и в дневнике Вульфа. Но участие его в военных действиях со всей полнотой запечатлено не в дневнике, а в этой записной книжке. При публикации не оговариваются некоторые уточнения, сделанные в расшифровке сокращений Вульфа.

События семейной, мирной жизни комментируются в примечаниях к дневнику. Хронику военных передвижений русской армии см. также: Веригин А. *Военное обозрение похода российских войск в Европейской Турции в 1829-м году.* СПб., 1846. С. 24–80.

Из родословной Вульфов (Потомство Ивана Петровича Вульфа)

В представленном фрагменте родословной таблицы Вульфов показаны современники Алексея Вульфа, те лица, о которых идет речь в его дневнике. Нами использованы архивные материалы и публикации последних лет, которые позволяют внести коррективы или дополнить имеющиеся сведения о представителях рода. Один из таких документов – хранящееся в Государственном архиве Тверской области дело “По доказательству о дворянстве капитана-поручика Ивана Петровича Вульфа с детьми его” (ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 713). Дед Алексея Вульфа, обращаясь 14 мая 1793 г. в Тверское дворянское депутатское собрание с просьбой о внесении своего рода в соответствующую часть родословной книги, прилагает поколенную роспись рода Вульфов, где указывает возраст своих девятерых детей: Петру 24 года, Николаю 22, Екатерине 19, Федору 18, Павлу 17, Ивану 15, Никите 12, Наталье 10, Анне 8. Разумеется, отмеченный таким образом возраст не может служить свидетельством точной даты рождения, но эти сведения в числе других источников становятся опорными для определения года рождения. Такими другими источниками являются зафиксированные в документах и надгробных надписях даты рождения Петра – 23 ноября 1768 г. (*Петербургский некрополь:* В 4 т. / Сост. В. Саитов. СПб., 1912. Т. I. С. 503), Анны – 3 февраля 1784 г. (*Русский провинциальный некрополь* / Сост. В. В.

Шереметевский. М., 1914. Т. I. С. 173) и Ивана – 14 сентября 1776 г. (ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 713. Л. 45). Соотнося между собой пять опорных дат (время подачи документа, указанный в нем возраст детей, точные даты рождения троих из них), мы примерно устанавливаем время жизни рано умершего Никиты (1780/1781 – после 1793), год рождения Федора (1774/1775), уточняем год рождения Натальи (1782/1783 – вместо обычно называемого 1784) и пересматриваем дату рождения Екатерины: обычно встречается 1781 г., на самом же деле она была третьим ребенком в семье и родилась в 1773 или 1774 г.

Использованные материалы позволяют также дополнить и уточнить представление о потомстве Петра, Екатерины и Ивана Ивановичей. Вводятся сведения о двух сыновьях Петра Ивановича Вульфа – о Николае и Петре. Из архивных источников и родословной росписи М. Чернявского (Генеалогия господ дворян, внесенных в Родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год) явствует, что Николай Петрович Вульф имел в 1846 г. чин надворного советника, а впоследствии – чин статского советника. Петр Петрович умер, вероятно, в младенчестве – 21 октября 1819 г. (*Петербургский некрополь*. Т. I. С. 503).

О потомстве Екатерины Ивановны и Петра Марковича Полторацких наиболее полно рассказывает их старшая дочь Анна Петровна Керн. По ее воспоминаниям восстанавливается время смерти двух ее младших сестер: одна из них умерла от скарлатины в 1801–1802 гг., другая – в 1808 г. (Керн. С. 342, 361). Даты жизни единственного сына Полторацких Павла отражены в родословной росписи М. Чернявского.

Наиболее существенно корректируются сведения о детях Ивана Ивановича Вульфа. Это касается, во-первых, его старшей дочери Анны, с легкой руки Пушкина известной под именем Netty. Как установлено Г. Ф. Симакиной, брак между Иваном Ивановичем Вульфом и Надеждой Гавриловной Борзовой был заключен 2 января 1801 г. (в публикации: Симакина Г. *Надежда Гавриловна Вульф, знакомая поэта* // Пушкинский праздник: Специальный выпуск газеты “Верный путь” (Старица). 1991. 2 июня. С. 3 – имеется ошибка, и дата венчания их обозначена неверно – 7 января), а это значит, что Анна родилась не ранее 1801 г. Традиционная же дата рождения – 1799 г. – возникла, вероятно, по недоразумению: в 1799 г. родилась ее двоюродная сестра и тезка Анна Николаевна Вульф. Обнаруживаются новые данные, относящиеся и к другим детям берновского помещика. Архивный документ, датированный 12 декабря 1846 г., перечисляет представителей рода Вульфов, “ныне в живых находящихся” (ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 713. Л. 108–109). Из

детей Ивана Ивановича и Надежды Гавриловны названы только Петр (с семейством) и холостой сын Николай. Следовательно, к этому времени уже не было в живых их дочери Екатерины и сына Александра, поэтому конечную дату их жизни показываем приблизительно – до декабря 1846 г. Этот же документ опровергает и известную по надгробной надписи дату смерти Петра – 9 февраля 1842 г. (*Русский провинциальный некрополь*. Т. I. С. 173). Она отводится и другими архивными материалами, так как начиная с сентября 1843 г. Петр Иванович Вульф хлопочет о том, чтобы вместе с детьми быть записанным в родословную дворянскую книгу. Кроме того, известно, что последний его ребенок – сын Иван – появился на свет 16 декабря 1847 г. (М. Чернявский). Все эти факты говорят о том, что до начала 1847 г. Петр Вульф был еще жив. Время его смерти следует отнести к периоду с 1847 по 1849 г. Основанием для последней временной границы служит установленная Г. Ф. Симакиной дата смерти его матери Надежды Гавриловны – 8 июня 1849 г., высеченная на надгробном памятнике, где также написано: “от невестки и внучат”. Значит, к этому времени Петра уже нет в живых, о чем свидетельствует также и то, что среди наследников Надежды Гавриловны названы ее сын Николай и вдова сына Петра. Материалы Тверского архива уточняют и дату рождения Петра Ивановича – не 1-е, а 16-е июля 1804 г. (ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 713. Л. 85об.).

Наконец, крайне важным для нас источником информации стали четыре письма Василия Миролюбова, священника церкви Успения Пресвятой Богородицы с. Бернова Старицкого уезда, к Б. Л. Модзалевскому, которые хранятся в его личном фонде в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Институт русской литературы РАН. Ф. 184). Дело это не было своевременно обработано до конца, вследствие чего оно не получило номер и выпало из поля зрения исследователей. В этих письмах В. Миролюбов по просьбе Б. Л. Модзалевского скопировал надписи на надгробиях берновского кладбища и записи в метрических книгах о Вульфах и других прихожанах берновской церкви с 1804 по 1908 г. По этим материалам мы и приводим один из вариантов даты рождения Николая Ивановича Вульфа – 1774 г.; как сказано у Миролюбова: скончался «39 лет от чахотки». Выясняется, что у Николая Вульфа, помимо известных нам детей, было еще двое, умерших во младенчестве: Николай (1.I.1804–20.X.1806) и Маргарита (24.I.1807–1.X.1810). У Ивана Ивановича Вульфа мы находим неизвестных ранее детей: Параскева (23.VIII.1803–2.VII.1805), Никита (1807?–15.X.1810), Николай (р. 4.XII.1808), Феодор (р. 19.IV.1810), София (22.V.1811–12.VII.1812).

Уточняется дата смерти его сына Петра – 9 февраля 1852 г. Священник Миролюбов сообщает точные даты смерти Натальи Ивановны Вельяшевой (урожд. Вульф): 25 ноября 1855 г. и ее мужа Василия Ивановича: 26 января 1856 г. Попутно он сообщает, что каждый из них умер на 76-м году жизни, следовательно, вводятся новые даты рождения: Натальи Ивановны – 1779 г., Василия Ивановича – 1780 г. Устанавливается дата рождения их сына Павла – 23 февраля 1814 г., о котором прежде был известен только факт его существования. Наконец, выясняется точная дата бракосочетания Анны Ивановны Вульф и Павла Ивановича Понафидина – 3 мая 1816 г. Уточняется дата рождения их дочери Натальи: 29 октября 1824 г.

Список имен [52]

А. Б.

Ададурова

Адамов, см. Адамович

Адамович Иван Григорьевич, ротмистр (с 1826) гусарского принца Оранского полка

Адеркас Фридрих Вильгельм Карл (1767–1843), профессор (с 1819) кафедры военных наук на физико-математическом факультете Дерптского университета

Аладьин Егор Васильевич (1796–1860), писатель, издатель “Невского альманаха” (1825–1833)

Александр Николаевич (1818–1881), великий князь, сын Николая I, будущий император Александр II (“наследник”)

Александр I (1777–1825), российский император (с 1801) (“Александр Павлович”, “Александр”)

Александра Николаевна (1825–1844), великая княжна, дочь Николая I

Александра Федоровна (1798–1860), урожд. принцесса Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская, жена вел. князя Николая Павловича (с 1817), императрица (с 1825)

Алимов Густав Густавович, поручик (с 1828) гусарского принца Оранского полка

Аминов, командир эскадрона в гусарском принца Оранского полку

Андреев

Аничков Владимир Иванович (1812–1863), адъютант И. Ф. Паскевича, приятель Л. С. Пушкина

Анна Яковлевна

Ансело Жак Арсен Франсуа Поликарп (1794–1854), французский драматург и публицист

Арсений, слуга Вульфа

Арсеньевы

Атрешьевы

Афанасий Великий (293–373), архиепископ Александрийский, св. отец церкви

Байер Роберт Фридрих (1801–1867), товарищ Вульфа по Дерптскому университету, член “союза семи”

Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788–1824), английский поэт

Бакунин Александр Михайлович (1763/1768–1854), глава семейства Бакуниных, проживавшего в Премухино Новоторжского уезда Тверской губернии

Бакунин Иван Михайлович (1802–1874), сын М. М. и В. И. Бакуниных; штабс-ротмистр (с 1830) гусарского принца Оранского полка, адъютант князя В. Г. Мадатова, командира 3-й гусарской дивизии

Бакунина Варвара Александровна (1792–1864), урожд. Муравьева, двоюродная сестра бабушки Вульфа А. Ф. Вульф, жена А. М. Бакунина

Бакунины

Бальзак Оноре де (1799–1850), французский писатель

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844), поэт

Барнав Антуан Пьер Жозеф Мария (1761–1793), деятель Французской революции 1789 г., казнен в период якобинской диктатуры

Бася, родственница Блезера

Бегичева Анна Ивановна (1807–3.I.1879), в замуж. Колзакова (с 1844), троюродная сестра Вульфа, дочь Е. Н. Бегичевой

Бегичева Екатерина Николаевна (26.XII.1744–19.I.1840), урожд. Вындомская, двоюродная сестра П. А. Осиповой

Бегичева Павла Ивановна (1817–1887), в замуж. Дашкова, троюродная сестра Вульфа, дочь Е. Н. Бегичевой

Бегичевы

Беклемишев Аркадий Ларионович (Илларионович; 1798–1873), ротмистр (с 1829) гусарского принца Оранского полка

Беклешов Петр Николаевич (1795/1796 – не ранее 1858), капитан-лейтенант (с 1832), позднее подполковник; псковский полицмейстер (1831–1833), муж А. И. Осиповой (с 5.II.1833)

Бенкендорф Александр Христофорович (1781/1783–1844), граф (с 1832), генерал-адъютант, шеф корпуса жандармов и начальник III Отделения собственной его императорского величества канцелярии (с 1826)

Бер, майор, командир 3-го эскадрона гусарского принца Оранского полка

Беранже Пьер-Жан (1780–1857), французский поэт

Бессмарк, см. Бисмарк

Бибиков Илья Гаврилович (1794–1867), генерал-майор артиллерии, адъютант вел. князя Михаила Павловича

Бибиковы, семейство псковского вице-губернатора (1807–1809) Михаила Ивановича Бибикова

Бисмарк Фридрих Вильгельм (1783–1860), граф, вюртембергский генерал, военный писатель

Бистром Карл Иванович (1770–1838), генерал-адъютант, участник турецкой кампании 1828–1829 гг. и подавления Польского восстания

Блаугорн, однополчанин Вульфа

Блезер, хозяин трактира в Сквире

Блезер Марина, жена трактирщика (“красавица”, “трактирщица”, “моя прелесть”)

Бобылев Константин Федорович, командир 19-й конно-батарейной роты в сражении под Шумлою, генерал-майор (1843)

Богушевский Алексей Дмитриевич, командир гусарского эскадрона, в котором служил М. Н. Вульф

Болотников Иван Исаевич (1565–1608), предводитель крестьянского восстания 1606–1607 гг.

Борисов, псковский помещик, муж О. В. Борисовой

Борисова Мария Васильевна (1809–1850), дочь старицкого помещика В. Г. Борисова, умершего в 1822 г.; воспитанница Петра И. Вульфа (“Машенька”)

Борисова Ольга Васильевна, троюродная сестра Вульфа по линии Вындомских

Браницкая Александра Васильевна (1754–1838), урожд. Энгельгардт, графиня, владелица поместья Белая Церковь

Броневский, майор, участник Польского восстания

Бронский Иван Максимилианович, корнет (с 1827) гусарского генерал-фельдмаршала графа Витгенштейна полка

Булацель Павел Ильич (р. ок. 1801?), из дворян Херсонской губ., подполковник (с 1830) гусарского принца Оранского полка, генерал-майор в отставке (с 1851) (“подполковник”)

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), журналист и писатель

Бурбоны, королевская династия во Франции в 1589–1792, 1814–1815, 1815–1830 гг.

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849), генерал-майор, флигель-адъютант, сенатор, военный историк

Бурцов Алексей Петрович (1783?–1813), поручик Белорусского гусарского полка, сослуживец Д. В. Давыдова, адресат его посланий

Валентини, см. Valentini

Валуев, псковский помещик

Ван дер Вельде Франц Карл (1779–1824), немецкий писатель, автор исторических романов (“немецкий Вальтер Скотт”)

Велингтон Артур Уэлсли (1769–1852), английский полководец, государственный деятель, дипломат; в 1815 г. командовал одной из союзных армий в сражении при Ватерлоо

Вельяшев Василий Иванович (1782/1783–1856), штабс-ротмистр, исправник г. Старицы Тверской губернии; муж Н. И. Вельяшевой

Вельяшева Екатерина Васильевна (9.II.1813–1865), в замуж.

Жандр (с 1834), двоюродная сестра Вульфа, дочь В. И. и Н. И. Вельяшевых; адресат стихотворения Пушкина “Подъезжая под Ижоры…”; муж – Александр Александровича Жандр (1812–6.11.1865)

Вельяшева Наталья Ивановна (1782/1783–1855), урожд. Вульф, тет ка Вульфа, жена В. И. Вельяшева

Вельяшевы

Вердеревский Василий Евграфович (1801/1802–1872), поэт, переводчик

Вессельс Герман Адольф (1803–1832), товарищ Вульфа по Дерптскому университету, член “союза семи”

Виелоглоская, польская помещица

Винкельрид Арнольд, фон († 1386), швейцарский национальный герой

Винкельрод, см. Винкельрид

Виньи Альфред Викторде (1797–1863), граф, французский писатель

Виртембергский (Вюртембергский) Александр-Фридрих (1771–1833), герцог, младший брат императрицы Марии Федоровны, генерал от кавалерии

Витгенштейн Петр Христианович (1768–1842), граф, фельдмаршал русской армии (с 1826), князь (с 1834); до октября 1828 г. главнокомандующий русской армией в войне с Турцией

Витт Иван Осипович (1781–1840), граф, генерал-лейтенант, начальник военных поселений в Новороссии

Воейков Александр Васильевич, корнет гусарского принца Оранского полка, впоследствии поручик лейб-гусарского полка (с 1831)

Воейков Александр Федорович (1778/1779–1839), поэт, критик, журналист, издатель журнала “Русский инвалид” (1822–1838)

Воейкова Александра Андреевна (1795–1829), урожд. Протасова, племянница В. А. Жуковского, жена А. Ф. Воейкова, адресат ряда стихотворений Н. М. Языкова

Воинов Александр Львович (1770–1831 или 1832), генерал от кавалерии, в 1828 г. командир 7-го пехотного корпуса, затем начальник кавалерии всей действующей армии

Войтицкий, см. Войцицкий

Войцицкий Адам Станиславович, корнет (с 1828) гусарского принца Оранского полка

Вольней Константен Франсуа (наст. фамилия Шасбёф; 1757–1820), французский просветитель и ориенталист

Вольтер (наст. имя Франсуа Мари Аруэ, 1694–1778), французский писатель, философ, историк

Вольф, варшавская знакомая Л. С. Пушкина

Вормс Александр Федорович, корнет гусарского принца Оранского полка

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), граф, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (с 1828), главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом и наместник Кавказа (1844–1854)

Ворцель Станислав Габриель (1799–1857), деятель Польского восстания, депутат повстанческого сейма от Волыни

Врахман, товарищ Вульфа по Дерптскому университету

Вревский Борис Александрович (1805–1888), барон, побочный сын князя А. Б. Куракина, воспитанник Благородного пансиона при Петербургском университете; отставной поручик (с 1827), муж Е. Н. Вульф (“Борис Сердобин”)

Вревский Степан Александрович (1806–1838), барон, брат Б. А. Вревского, отставной поручик

Вронский, капитан, участник Польского восстания

Вронченко Михаил Павлович (1801/1802–1855), переводчик, соученик Вульфа по Дерптскому университету

Всеволодские, см. Всеволожские

Всеволодский В. А., см. Всеволожский В. А.

Всеволодский Н. А., см. Всеволожский Н. А.

Всеволожские

Всеволожский Всеволод Андреевич (1769–1836), действительный камергер

Всеволожский Николай Андреевич (1765–1829), брат В. А. Всеволожского

Вульф Александр Иванович († до XII.1846), двоюродный брат Вульфа, жена – Вера Александровна Слуцкая (“Александр”)

Вульф Анна Ивановна (не ранее 1801–1835), в замуж. Трувеллер (с 1834), двоюродная сестра Вульфа, муж Василий Иванович (Федор Вильгельм) Трувеллер (“Netty”)

Вульф Анна Николаевна (10.XII.1799–2.IX.1857), сестра Вульфа (“сестра”)

Вульф Валериан Николаевич (22.V.1812–13.III.1845), брат Вульфа, с 1836 г. унтер-офицер уланского великого князя Михаила Павловича полка (“брат”)

Вульф Гаврила Петрович (1807–7.XI.1861), двоюродный брат Вульфа, штабс-капитан, жена Александра Александровна Бакунина (1816–1882)

Вульф Евпраксия Николаевна (12.X.1809–22.III.1883), в замуж. баронесса Вревская (с 1831), сестра Вульфа (“Евпраксея”)

Вульф Иван Иванович (14.IX.1776–24.XI.1860), дядя Вульфа, отставной поручик лейб-гвардии Семеновского полка

Вульф Иван Петрович (1741–24.III.1814), дед Вульфа

Вульф Иван Петрович (ок. 1800 – после 1860), двоюродный брат Вульфа, штабс-ротмистр Оренбургского уланского полка, с 1834 г. отставной майор

Вульф Иван Петрович, однофамилец (?) Вульфа, унтер-офицер гусарского принца Оранского полка (с 1829), корнет (с 1831)

Вульф Мария Петровна (р. 24.I.1808), двоюродная сестра Вульфа (“Машенька”)

Вульф Михаил Николаевич (12.VI.1808–20.V.1832), брат Вульфа, юнкер гусарского полка, с 1830 г. офицер (“Миша”)

Вульф Надежда Гавриловна (1784/1785–8.VI.1849), урожд. Борзова, тетка Вульфа, жена И. И. Вульфа

Вульф Николай Иванович (1771–17.III.1813), отец Вульфа (“отец”)

Вульф Павел Иванович (1775–17.III.1858), дядя Вульфа, отставной поручик лейб-гвардии Семеновского пола

Вульф Петр Иванович (23.XI.1768–31.I.1832), дядя Вульфа, статский советник

Вульф Петр Иванович (16.VII.1804–9.II.1842 (Берновский некрополь) не ранее 1847/до 1849), двоюродный брат Вульфа, гвардии полковник, с 1839 г. в отставке; жена – Елизавета Матвеевна Кленовская (“Петруша”)

Вульф Федор Иванович (1774/1775–29.XI.1820), дядя Вульфа, отставной ротмистр кавалерии, жена Вера Александровна Свечина

Вульф Фридерика Ивановна (1794–25.VI.1848), урожд. фон Буш, жена Павла И. Вульфа, в крещении Анна (“Фрицинька”)

Вульфы

Вындомский Александр Максимович († 12.II.1813), дед Вульфа, отец его матери, жена – Мария Аристарховна Кашкина († 10.III.1791)

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), князь, писатель; в 1832–1846 гг. вице-директор департамента внешней торговли

Гаврило, слуга М. Н. Вульфа

Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович (1697/1698–1781), родоначальник русского рода Ганнибалов, прадед А. С. Пушкина (“арап”)

Ганнибал Александр Яковлевич (27.IX.1797–III.1834), двоюродный брат Вульфа по матери, помещик Великолуцкого уезда Псковской губернии, жена Александра Егоровна Юренева (1801–1869)

Ганнибал Евгения Яковлевна (р. 1798/1802), двоюродная

сестра Вульфа по матери, муж Александр Адамович Глаубич, отставной лейб-гвардии полковник, псковский помещик

Ганнибал Евдокия Андреевна, урожд. Диопер, первая жена А. П. Ган нибала

Ганнибал Елизавета Александровна (р. 1779), урожд. Вындомская, сестра П. А. Осиповой

Ганнибал Яков Исаакович (1777–1840-е), псковский помещик; муж Ел. А. Ганнибал, двоюродный брат Н. О. Пушкиной

Ганнибалы

Гейнзиус Отто Фридрих Теодор (1770–1849), языковед

Георгий Победоносец (Святой Георгий)

Гермоген (не позже 1530–1612), русский партриарх (1606–1612), во время польской интервенции занимал активную антипольскую позицию

Гернет Рейнгольд Христофорович (1783–1832), полковник, комендант Перекопской крепости с 1821 г.

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель (“первостепенный поэт Германии”)

Гладкий Осип Михайлович (1786/1787–1866), кошевой атаман Запорожской Сечи в Добрудже, с 1828 г. полковник русской армии

Гладков, см. Гладкий

Гладков Яков Павлович, ротмистр Оренбургского уланского полка, впоследствии подполковник, муж Е. И. Гладковой

Гладкова Екатерина Ивановна (р. 26.VI.1805 – не позднее 1846), урожд. Вульф, жена Я. П. Гладкова с 1825 г. (“Катинька”, “холодная красавица”)

Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор

Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт

Гнезиус, см. Гейнзиус

Говард Фредерик († 1815), полковник наполеоновской армии, сын графа Карлейля, родственник Байрона; убит в битве при Ватерлоо

Голубинин Ефим Васильевич, штабс-ротмистр (с 1831) гусарского принца Оранского полка

Гончарова Наталья Николаевна (1812–1863), в замуж. Пушкина

Горлицкая, актриса

Горчаков Михаил Дмитриевич, князь (1793–1861), генерал-адъютант (с 1829), генерал от артиллерии (с 1844), участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и подавления Польского восстания, с 1831 г. генерал-губернатор Варшавы и начальник Главного штаба действующей армии

Готовцева Анна Ивановна (1799–1871), поэтесса

Греч Николай Иванович (1787–1867), писатель, филолог, издатель журнала “Сын Отечества” (1812–1839), соиздатель журнала “Северная пчела” (1825–1860)

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), писатель, дипломат

Григорьев Александр Иванович (1794/1804–1853), художник

Грозный, см. Иван IV Васильевич

Гуссейн-Ага-паша (Ага-Хусейн-паша), турецкий военачальник, сыгравший важную роль в усмирении бунта янычар в Константинополе (1826)

Гюго Виктор Мари (1802–1885), французский писатель

Дантон Жорж Жак (1759–1794), деятель французской революции 1789 г.

Дверницкий Юзеф (1779–1857), дивизионный генерал в войсках польских повстанцев

Делавинь, см. Delavigne

Делагарди Якоб, граф (1583–1652), шведский маршал, возглавлял шведскую интервенцию в начале XVII в.

Дельвиг Андрей Иванович

Дельвиг Антон Антонович, барон (1798–1831), поэт, издатель альманахов “Северные цветы” (1825–1830) и “Подснежник” (1829), “Литературной газеты” (1830) (“барон”)

Дельвиг Елизавета Антоновна, баронесса (1830–1913), дочь А. А. Дель вига

Дельвиг Софья Михайловна (1806–1888), баронесса, урожд. Салтыкова, жена А. А. Дельвига (с 1825), во втором браке (с 1831) замужем за С. А. Баратынским, братом поэта (“баронесса”, “Софья”)

Дельвиги

Дельво Генрих Карлович, штабс-ротмистр (с 1829) гусарского принца Оранского полка, полковой адъютант (“адъютант”)

Денисьев Александр Дмитриевич (ок. 1790 – после 1857), майор (с 1828) гусарского принца Оранского полка, с 1829 г. в резерве полка (“майор”, “мой приятель”, “мой товарищ”)

Дешедевер Дмитрий Антонович, барон, корнет гусарского принца Оранского полка

Джевицкий, офицер, участник Польского восстания

Дибич-Забалканский Иван Иванович (Иоганн Карл Фридрих Антон; 1785–1831), барон, граф (с 1827), генерал-фельдмаршал (с 1829), во время Русско-турецкой войны руководил военными действиями на Балканах, находясь при престарелом главнокомандующем Витгенштейне (1828), главнокомандующий (с февраля 1829), с декабря 1830 г. – главнокомандующий

войсками, направленными на подавление Польского восстания (“герой Забалканский”)

Дирин Петр Николаевич († 1905), знакомый Вульфа по Дерпту, в 1827 г. поступил в юнкерскую школу в Петербурге, автор “Истории лейб-гвардии Семеновского полка” (2 т. СПб.: Тип. Э. Гоппе, 1883)

Дрейер, управляющий в Тригорском (“лифляндский хозяин”)

Дубенский, офицер

Дюкре, мемуаристка

Екатерина II (1729–1796), урожд. София принцесса Ангальт-Цербстская, российская императрица с 1762 г. (“Екатерина”)

Елена Павловна (1806–1873), урожд. Фридерика Шарлотта Мария принцесса Вюртембергская, жена великого князя Михаила Павловича (с 1824)

Ермак Тимофеевич († 1585), атаман донских казаков, покоритель Сибири

Ермоген, см. Гермоген

Ермолаев Дмитрий Иванович (1778–1851), камер-юнкер, действительный статский советник, помещик с. Ивановское (Братково) Старицкого у.

Ермолаевы, дочери Д. И. Ермолаева: Елизавета (р. 1811, в замуж. Багговут), Анна (р. ок. 1812), Варвара (р. ок. 1812)

Жан Поль (наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763–1825), немецкий писатель

Жандр Александр Андреевич (1776–1830), генерал-майор, убитый в Варшаве при начале восстания

Желтовский († 1829), полковник

Жельветр Гаспар (ок. 1780 – ок. 1855), виленский шляхтич, с 1800 г. ходатай по делам в Петербурге

Жихарев, гусарский подпоручик

Жолкевский (Жулкевский) Станислав (1547–1620), польский государственный и военный деятель, великий коронный гетман (с 1613), канцлер (с 1617)

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), поэт

Жюльен Марк Антуан (1775–1848), основатель журнала “Revue Encyclopédique”

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), писатель

Запорожец, вахмистр гусарского принца Оранского полка

Заратуштра (VI – 1-я пол. V в. до н. э.), в иранской мифологии основатель религии зороастризма

Захаров, полковник, командир корпуса квартирмейстеров

Зердуш, см. Заратуштра

Змиев, тверской помещик

Ибрагим-паша (1789–1848), вице-король Египта, приемный сын Мегмет-Али, возглавлял египетский флот (с 1824), участвовал в подавлении греческого восстания

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь (с 1533), царь (с 1547)

Игорь († 945), великий князь Киевский, фактический родоначальник династии Рюриковичей

Иисус Христос

Илличевский Алексей Демьянович (1798–1837), поэт, лицейский товарищ А. С. Пушкина

Ильин Владимир Михайлович, обер-секретарь 2-го департамента Сената

Кагадеев Иван Павлович, поручик (с 1827) гусарского генерал-фельдмаршала графа Витгенштейна полка

Казнаков Федор Борисович (ок. 1770–1850?), отставной гвардии поручик, помещик Старицкого у., уездный предводитель дворянства

Казнакова Наталья Федоровна (р. 1806), дочь Ф. Б. Казнакова (“Наташинька”)

Кайсаров Паисий Сергеевич (1783–1844), генерал от инфантерии, командир пехотного корпуса (с 1831)

Калашников Иван Тимофеевич (1797–1863), писатель

Каминский Юзеф (Jozef Kaminski; 1788–1839), бригадный генерал, деятель Польского восстания

Каподистриа Иоанн Антонович, граф (1776–1831), греческий государственный деятель; на русской дипломатической службе (1809–1827), президент Греческой республики (1827)

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк, издатель “Московского журнала” и журнала “Вестник Европы”

Карл X, Бурбон (1757–1836), французский король (1824–1830)

Карл XII (1682–1718), шведский король (с 1697), полководец

Катенин Павел Александрович (1792–1853), писатель

Катон Марк Порций Старший (234–149 до н. э.), римский государственный деятель и писатель

Кафтыревы, помещик Старицкого уезда Дмитрий Сергеевич и его сестры Елена, Елизавета, Варвара

Кашкины Екатерина Евгеньевна (26.x.1781–19.x.1846) и Елизавета Евгеньевна (17.II.1786–4.XII.1844), двоюродные тетки

П. А. Осиповой

Квитка-Основьяненко Григорий Федорович (наст. фамилия Квитка, псевдоним Грицько Основьяненко; 1778–1843), украинский писатель

Керн Анна Петровна (11.II.1800–27.V.1879), урожд. Полторацкая, двоюродная сестра Вульфа, дочь Е. И. и П. М. Полторацких

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), критик и публицист, сотрудник журнала “Московский вестник”, издатель журнала “Европеец” (1832)

Княжевич Владислав Максимович (1798–1873), знакомый Вульфа по Дерптскому университету, литератор

Княжнин Яков Борисович (1742–1791), драматург

Козловский Иван Дмитриевич, князь (1811–1867), поэт

Кок Поль Шарль де (1793–1871), французский писатель

Кольчигин Александр Васильевич, ротмистр (с 1831) гусарского принца Оранского полка

Константин Павлович (1779–1831), цесаревич, главнокомандующий польской армией и фактический наместник Царства Польского (1816–1831) (“Константин”)

Коншин Николай Михайлович (1793–1859), поэт, директор училищ Тверской губернии (1837–1850)

Корсаков, см. Римский-Корсаков В. А.

Корф Герман Григорьевич, барон, поручик (с 1829) Александрийского гусарского полка

Косовская, графиня

Косовский, граф, офицер революционных польских войск

Костюшко Тадеуш (1746–1817), руководитель польских национально-освободительных восстаний 1792 и 1794 гг.

Кох Жан-Батист Фридрих (1782–1861), французский генерал, военный историк

Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761–1819), немецкий писатель

Кочубей Василий Леонтьевич (1640–1708), генеральный писарь (1687–1699) и генеральный судья (1699–1708) Левобережной Украины

Кошкуль Николай Сильвестр (1801–1827), товарищ Вульфа по Дерптскому университету, член “союза семи”

Красицкий, см. Красинский В. К.

Красинский Винценты Корвин (Викентий Иванович; 1782–1858), граф, сенатор-воевода Царства Польского (с 26 мая 1821) и командир резервного корпуса (с 28 октября 1823); когда в ночь на 19 ноября 1830 г. в Варшаве вспыхнуло восстание, Красинский остался верен присяге и последовал за цесаревичем

Красовский Афанасий Иванович (1777–1843), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, начальник штаба 1-й армии, в 1828 г. командир сводного пехотного корпуса, в 1829 г. – 5-го пехотного корпуса; руководил осадой Силистрии и Шумлы, участвовал в подавлении Польского восстания

Крейц Циприян Антонович (1777–1850), барон, генерал-лейтенант, генерал от кавалерии (с 1831), участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и в подавлении Польского восстания

Крушковский Евгений Иванович, корнет (с 1828) гусарского принца Оранского полка

Крылов Иван Андреевич (1768/1769–1844), писатель

Куницкий Петр Максимович (1811–1868), воспитанник Горного кадетского корпуса, ротмистр гусарского принца Оранского полка

Куприянов, генерал-майор, в 1828–1829 гг. командир корпуса, участвовал в подавлении Польского восстания

Куракин Александр Борисович, князь (1752–1818), отец Б. А. Вревского, действительный тайный советник I класса, канцлер всех российских орденов, член Государственного Совета

Курбский Андрей Михайлович, князь (1528–1583), писатель

Курута Дмитрий Дмитриевич, граф (1770–1838), генерал-лейтенант (с 1816), начальник штаба вел. князя Константина Павловича, его ближайший друг и доверенное лицо

Кусовников Алексей Михайлович (1792–1853), полковник (с 1827), офицер Оренбургского уланского полка, командир Тираспольского конно-егерского, потом Сумского гусарского полка, впоследствии генерал-лейтенант

Кшенецкий, деятель Польского восстания

Лажечников Иван Иванович (1792–1869), писатель; директор училищ Тверской губернии (1831–1837), тверской вице-губернатор (1843–1853), впоследствии витебский

Лаиса (v в. до н. э.), знаменитая греческая гетера

Ланской, генерал-майор, командир 1-й гусарской дивизии 1-го пехотного корпуса до 1833 г.

Лаплас Пьер Симон (1749–1827), французский астроном, математик, физик, автор классических трудов по теории вероятности и небесной механике

Лейтхан (Лейтганг) Хейнрих Иоганн (1800–1829), товарищ Вульфа по Дерптскому университету, член “союза семи”

Леман, товарищ Вульфа по Дерптскому университету

Лемьи, деятель Польского восстания

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт

Ливен Карл Андреевич (1767–1844), князь, в 1828–1833 гг. министр народного просвещения (“министр просвещения”)

Литвинов

Лихардов Сергей Михайлович (1791–1857), генерал-майор штаба корпуса инженеров путей сообщения (с 1830), управляющий Петергофским дворцовым управлением (с 1841), помещик Порховского, Новоржевского и Опочецкого уездов

Лихардова Мария Павловна, жена С. М. Лихардова, урожд. Полторацкая

Лихардовы

Ломоносов, воспитанник Царскосельского лицея, корнет гусарского принца Оранского полка

Лошакова, родственница Вульфа

Лошкарев Павел Сергеевич (1776–1857), генерал-майор (1814), в 1830–1831 гг. командир 3-й гусарской дивизии

Львов Сергей Дмитриевич (1781–1857), помещик Новоторжского уезда, владелец села Митино и сельца Василево, новоторжский уездный предводитель дворянства (1824–1848)

Людовик-Филипп (1773–1850), французский король (1830–1848) (“Филипп”)

Людовик XVI (1754–1793), французский король (с 1774)

Мадатов Валериан Григорьевич, князь (1782–1829), генерал-лейтенант, командир 3-й гусарской дивизии (“дивизионный генерал”)

Мазепа Иван Степанович (1644–1709), гетман Украины (1687–1708), во время Северной войны 1700–1721 гг. перешел на сторону шведов

Максимович, домовладелец

Максимович, дочь домовладельца

Мальцов (Мальцев) Иван Сергеевич (1807–1880), первый секретарь российской миссии в Персии

Мандзони, см. Manzoni

Манзи, см. Мальцов

Мануйлов, офицер гусарского принца Оранского полка

Мария Антуанетта (1755–1793), французская королева, жена Людовика XVI (с 1770), казнена во время Французской революции 1789 г.

Мария II да Глория (1819–1853), королева Португалии в 1826–1828 гг. и с 1834 г.

Мария Николаевна (1819–1876), великая княжна, дочь Николая I

Мария Федоровна (1759–1828), урожд. София Доротея Августа Луиза принцесса Вюртембергская, вдовствующая

императрица, вторая жена Павла I

Марколини, певец Итальянской оперы

Мартин Турский (336–401), святой, считался покровителем Франции, Майнца и Вюрцбурга

Махмуд II (1784–1839), турецкий султан (с 1808) (“Махмудим”)

Межуев, чиновник Департамента разных податей и сборов

Меллер-Закомельский, барон, офицер Оренбургского уланского полка

Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869), князь, генерал-адъютант, адмирал, начальник Главного морского штаба (с 1829)

Мешаев Александр Петрович, юнкер (с 1829) гусарского принца Оранского полка

Миллер, коллежский асессор, муж двоюродной тетки Вульфа Татьяны Никифоровны, урожд. Пушкиной

Миллеровы (Миллеры)

Миллот, см. Millot

Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825), петербургский военный генерал-губернатор (с 1818)

Милорадович Сергей Иванович, корнет гусарского принца Оранского полка

Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749–1791), граф, деятель Французской революции 1789 г.

Мицкевич Адам (1798–1855), польский поэт

Мур Томас (1779–1852), английский поэт

Муравьев Александр Захарович (1795–1842), генерал-майор (с 1829) Александрийского гусарского полка

Муравьев Михаил Никитич (1757–1807), писатель, с 1785 г. наставник будущего императора Александра I, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых, двоюродный брат бабки Вульфа А. Ф. Вульф, урожд. Муравьевой

Муравьева Наталья Васильевна (1761–1844), урожд. Разумовская, вдова брата бабки Вульфа Николая Федоровича Муравьева

Наполеон I (Наполеон Бонапарт; 1769–1821), французский император (1804–1816, март – июнь 1815), (“Герой”, “узник Св. Елены”)

Неккер Жак (1732–1804), французский министр финансов (1777–1781, 1788–1790)

Нечволодов Александр Яковлевич, полковник (с 1826), командир Ахтырского гусарского полка

Никитин

Николай I (1796–1855), российский император с 1825 г.

(“государь”, “император”, “Николай”)

Ничеволодов, см. Нечволодов

Норов, юнкер, двоюродный брат А. С. Норова

Норов Авраам Сергеевич (1795–1869), участник Отечественной войны, полковник в отставке, писатель, с 1827 г. чиновник Министерства внутренних дел, впоследствии товарищ министра и министр просвещения

Олизар Нарцис, граф (Narcyz Olizar-Wołczkiewicz; 1794–1862), деятель Польского восстания, мемуарист

Ольга Николаевна (1822–1892), вел. княжна, дочь Николая I

Омер Ваиоси, см. Омер Вриони

Омер Вриони (Врионе), турецкий военачальник

Осипов Иван Сафонович (Софронович; † 5.II.1824), отчим Вульфа

Осипова Александра Ивановна (1807/1808–1864), в замуж. Беклешова (с 1833), сводная сестра Вульфа, падчерица П. А. Осиповой (“Саша”) 62, 82, 83, 88, 89, 93, 95, 103, 105, 137, 168, 169.

Осипова Екатерина Ивановна (17.VI.1823 – после 1908), в замуж. Фок (с 1841), единоутробная сестра Вульфа, дочь П. А. Осиповой от второго брака

Осипова Мария Ивановна (27.VII.1820–19.VII.1896), единоутробная сестра Вульфа, дочь П. А. Осиповой от второго брака

Осипова Прасковья Александровна (23.IX.1781–8.IV.1859), урожд. Вындомская, в первом браке Вульф, мать Вульфа (“мать”)

Очкин Амплий Николаевич (1791–1865), писатель, издатель журнала “Детская библиотека” (1835–1838), редактор “Санкт-Петербургских ведомостей” (1836–1850), приятель Н. М. Языкова

Павел, апостол

Павлищев Николай Иванович (1802–1879), муж О. С. Павлищевой, переводчик, автор научных трудов, управляющий канцелярией генерал-интенданта Царства Польского (1828–1836)

Павлищева Ольга Сергеевна (1797–1868), урожд. Пушкина, сестра А. С. Пушкина, приятельница Вульфа 60, 166, 268, 272, 287, 292, 293, 295 Павлищевы

Павлов Яков Иванович († 1869), действительный статский советник, второй муж вдовы Ф. И. Вульфа

Павлова Вера Александровна, урожд. Свечина, в первом браке замужем за Ф. И. Вульфом

Палицын, отставной полковник

Палицыны

Панкратьев Никита Петрович (1788–1836), генерал-адъютант, генерал-лейтенант, в 1829 г. начальник 20-й пехотной дивизии, с 1832 г. член Совета управления и член Государственного совета Царства Польского, с 1833 г. Варшавский военный губернатор

Паскевич Иван Федорович (1782–1856), с 1827 г. командир Отдельного Кавказского корпуса, генерал-фельдмаршал, граф Эриванский (с 1828), светлейший князь Варшавский (с 1831), в 1831 г. главнокомандующий русскими войсками, с 1832 г. наместник Царства Польского (“светлейший”)

Пашков Александр Васильевич (1792–1868), генерал-майор, командир 1-й гусарской дивизии, за сражение под Казимиржем и при д. Борове получил соответственно ордена Св. Анны 1-й ст. и Св. Владимира 2-й ст.

Пашковский, корнет гусарского принца Оранского полка

Пашковы

Пельцер Карл (1801–1863), товарищ Вульфа по Дерптскому университету, см. послание Н. М. Языкова “К Пельцеру” (1826)

Петерсен Карл Иванович (1803–1874), воспитанник Дерптского университета, врач Ахтырского гусарского полка, с 1826 г. старший лекарь

Петерсон Александр Петрович (1800 – не ранее 1887), товарищ Н. М. Языкова по Дерптскому университету, адресат стихотворения “Пожар”

Петр I (1672–1725), русский царь (с 1682), первый российский император (с 1721) (“Гений”)

Щербатов М. М. Журнал или поденная Записка… Петра Великого… (“Журнал Петра I”)

Платунов, столоначальник IV отделения Департамента разных податей и сборов

Плаутин Николай Федорович (1794–1866), флигель-адъютант, полковник, командир гусарского принца Оранского полка; впоследствии генерал-майор, командир лейб-гвардии гусарского полка (1839–1841) (“полковник”)

Плетнев Петр Александрович (1791–1865), поэт, критик, профессор российской словесности (с 1832), ректор Петербургского университета (с 1840)

Плюшар Адольф Александрович (1806–1865), книгопродавец и книгоиздатель, издатель “Энциклопедического лексикона” (1835–1841)

Погорельский Антоний (наст. имя Перовский Алексей Алексеевич, 1787–1836), писатель, критик

Погорский, ротмистр

Подолинский Андрей Иванович (1806–1886), поэт, сотрудник “Северных цветов” и “Литературной газеты”

Поздеев Семен Васильевич, ротмистр (с 1830) гусарского принца Оранского полка

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), писатель, историк, издатель журнала “Московский телеграф” (1825–1834)

Полетика, графиня

Полторацкая Екатерина Ивановна (1773/1774–2.III.1832), урожд. Вульф, тетка Вульфа, мать А. П. Керн

Полторацкая Елизавета Петровна (ок. 1802 – после 1868), в замуж. Решко, сестра А. П. Керн, двоюродная сестра Вульфа (“Лиза”)

Полторацкие, дети Павла Марковича Полторацкого

Полторацкие, дочери А. М. и В. Д. Полторацких

Полторацкий Алексей Маркович (1767 или 1771/1772–1843), действительный статский советник, тверской губернский предводитель дворянства (1815–1822, 1833–1839), первая жена Софья Алексеевна (Щепотьева), вторая – Варвара Дмитриевна (Киселева)

Полторацкий Павел Маркович (ок. 1769–1827), дядя А. П. Керн

Полторацкий Петр Маркович (ок. 1775 – после 1851), муж Е. И. Полторацкой, отец А. П. Керн и Е. П. Полторацкой

Понафидин Павел Иванович (1.x.1784–11.II.1869), муж А. И. Понафидиной, капитан-лейтенант флота, автор “Писем морского офицера (1806–1809)” (Пг., 1916)

Понафидина Анна Ивановна (3.II.1784–19.V.1873), урожд. Вульф, тетка Вульфа

Понафидины

Понафидины Захарий Иванович (1786–1830), Николай Иванович (р. 1787), Всеволод Иванович (р. 1790), братья П. И. Понафидина

Понятовский Юзеф (1763–1813), князь, племянник польского короля Станислава Августа, политический деятель, участник освободительных войн 1792 и 1794 гг., в 1812 г. командовал польским корпусом в составе армии Наполеона

Попов, генерал, командир Донского казачьего полка

Потоцкий Владимир Станиславович, граф (1789–1812), полковник конной артиллерии герцогства Варшавского

Потоцкий Александр Станиславович, граф (1776–1845), обер-шталмейстер высочайшего двора Царства Польского, владелец исторических поместий Умани и Софиевки

Прево д’Экзиль Антуан Франсуа (1697–1763), французкий писатель

Пугачев Емельян Иванович († 1775), руководитель крестьянской войны (1773–1775)

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), поэт, близкий друг семейства Осиповых-Вульф (“Мефистофель”)

Пушкин Василий Львович (1776–1830), поэт, дядя А. С. Пушкина

Пушкин Лев Сергеевич (1805–1852), брат А. С. Пушкина, приятель Вульфа, юнкер Нижегородского драгунского полка (с 1827), участник персидско-турецкой кампании 1827–1829 гг., штабс-капитан Финляндского драгунского полка (с 1831), участвовал в подавлении Польского восстания

Пушкин Сергей Львович (1770–1848), отец А. С. Пушкина

Пушкина Надежда Осиповна (1775–1836), урожд. Ганнибал, мать А. С. Пушкина

Пушкины

Пущины, семья псковского помещика, отставного бригадного генерала Павла Сергеевича Пущина (1789–1865)

Рабле Франсуа (1494–1553), французский писатель

Райзер Александр Степанович

Райзер Л. П.

Рам Алексей фон (1804–1836), товарищ Вульфа по Дерптскому университету, член “союза семи”

Расин Жан (1639–1699), французский драматург

Рахель

Рдультовский Константин Казимирович, унтер-офицер (с 1829) гусарского принца Оранского полка

Ребентиш, см. Рейхман.

Рейхман Карл († 1835), агроном, учитель младших дочерей П. А. Осиповой (от второго брака), управляющий тверским имением Вульфов Малинниками

Решид Мехмед-паша (1780–1839), великий везир, главнокомандующий турецкой армией в 1829 г.

Рид, см. Ритц

Ридигер Федор Васильевич (1784–1856), граф, генерал-лейтенант (с 1826), генерал от кавалерии (с 1831), командир 3-й гусарской дивизии, затем командир 7-го пехотного корпуса (1828), участвовал в подавлении Польского восстания

Римский-Корсаков Владимир Александрович († 1829), член Союза благоденствия, полковник, убит при взятии крепости Шумлы

Ритц Эдуард Иванович (?–1866), штабс-ротмистр (с 1827) Александрийского гусарского полка, майор (1845)

Розен Григорий Владимирович (1782–1841), барон, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, командир 6-го пехотного корпуса (1831), командир Отдельного Кавказского корпуса (1831–

1837)

Роллен Шарль (1661–1741), французский историк и педагог

Ромарино Джироламо (Раморино, Gerolamo Ramorino; 1792–1849), итальянский генерал, участник Польского восстания 1830 г., полковник, бригадный генерал

Рославлев Александр Петрович († 1855), корнет гусарского принца Оранского полка (с 1824), по показанию декабриста М. П. Бестужева-Рюмина, на него рассчитывали для покушения на Александра I, но он сам об этом не знал; поручик (1829)

Россини Джоакино (1792–1868), итальянский композитор

Ростовцев Яков Иванович (1803/1804–1860), граф, генерал от инфантерии, поэт

Рот Логин Осипович (1780–1851), генерал-лейтенант, генерал от инфантерии, в 1828–1829 гг. командир 6-го пехотного корпуса

Рошет Павел Антонович, штабс-ротмистр (с 1830) гусарского принца Оранского полка

Рою, см. Royou

Рудольтовский, см. Рдультовский

Ружитский (Ружицкий, Samuel Jozef Rozycki; 1781–1834), генерал, деятель Польского восстания

Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796), граф (с 1744), полководец, генерал-фельдмаршал (с 1770)

Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский писатель, философ

Рыбовалов Степан Кириллович, вахмистр гусарского принца Оранского полка

Савинов

Салтыков Михаил Александрович (1767–1851), попечитель Казанского учебного округа и Казанского университета, сенатор (с 1828); отец С. М. Дельвиг

Салтыков Михаил Михайлович (1804 – не ранее 1850-х), брат С. М. Дельвиг, гусарский офицер

Свечин Петр Александрович (1781–1852), генерал-майор лейб-гвардии гусарского полка

Святослав I († 972), князь Киевский, сын князя Игоря

Сенковский Осип-Юлиан Иванович (1800–1858), писатель, журналист, ученый-ориенталист

Перевод романа Мориера “Хаджи-Баба Испагани в Персии и Турции” “похождения Хаджи Бабы”)

Сент-Эльм Ида (наст. имя Йоханна Мария Версфельт; 1776–1845), голландская авантюристка, актриса, любовница генерала Моро, затем маршала Нея, имела романы с генералами Мареско и Груши, а также с Талейраном

Серавский Юлиан (Jan Kanty Julian Sierawski; 1777–1849),

генерал, деятель Польского восстания, комендантом крепости Замосць (1830), в 1831 г. совершил два успешных выступления против царских войск (переправа через Вислу 14 апреля и бой под Бабином 16 апреля)

Серафим (1763–1843), митрополит петербургский (с 1821)

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; 1314–1392), святой, преподобный, создатель и игумен подмосковного Троицкого (впоследствии Троице-Сергиева) монастыря

Сердобин Борис, см. Вревский Б. А.

Сердобин Михаил Николаевич (1802 – не ранее 1851), барон, единокровный брат Б. А. Вревского

Симанская Екатерина Лукьяновна († 16.IX.1875), урожд. Боборыкина, троюродная сестра П. А. Осиповой (дочь Евдокии Евгеньевны, урожд. Кашкиной)

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586–1610), князь, русский полководец, в 1610 г. во главе русско-шведской армии освободил Москву от осады тушинцев

Скотт Вальтер (1771–1832), английский писатель

Скржинецкий Ян (Jan Zygmunt Skrzynecki; 1786–1860), бригадный генерал, главнокомандующий польских войск от сражения при Грохове до поражения под Остроленкой

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857), книгопродавец и издатель, содержатель книжного магазина и библиотеки для чтения

Смирнова Екатерина Евграфовна (1810 – не ранее 1886), в замуж. Синицына, дочь берновского священника, воспитанница Павла И. Вульфа (“молодая селянка”)

Смит Гораций (1779–1849), английский писатель, автор исторических романов

Собанский Александр Матвеевич, помещик, организатор восстания в Подольской губернии в 1831 г.

Собеский Иоанн (1629–1696), польский полководец, с 1674 г. король Поль ши Ян III

Собиский Иоанн, см. Собеский

Соболевский Сергей Александрович (1803–1870), соученик Л. С. Пушкина по пансиону, близкий друг А. С. Пушкина

Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813–1882), писатель

Солтык, архиепископ краковский

Сомов Орест Михайлович (1793–1833), писатель, критик

Софиано, варшавский знакомый О. С. Павлищевой

Софья, хозяйка квартиры в д. Антоново

Станислав (1030–1079), святой Католической церкви, с 1071 г. епископ краковский

Стенбок Максим Иванович, граф (Штейнбок;?–1857), ротмистр (с 1830) гусарского принца Оранского полка, подполковник (1845), генерал-майор (1854)

Стендаль (наст. имя. Анри Мари Бейль; 1783–1842), французский писатель

Степанов Александр Николаевич (1807–1848), приятель Н. М. Языкова, адресат его стихотворений

Суворов, артиллерийский офицер

Сухозанет Иван Онуфриевич (1788–1861), генерал от артиллерии, генерал-адъютант (с 1832), участник Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., в польской кампании 1831 г. начальник артиллерии всей боевой армии

Тилли, см. Tilly

Титов Владимир Павлович (1807–1891), дипломат, литератор

Този Доменико, актер Итальянской оперы

Толстой Александр Петрович (1801–1873), граф, тверской военный губернатор (1834–1837), впоследствии обер-прокурор Синода

Толстой Петр Александрович (1771–1844), граф, генерал от инфантерии, управляющий Главным штабом

Торнау, барон, полковник, командир Оренбургского уланского полка, расквартированного в Старице

Траскина (10.XI.1806–6.V.1832), урожд. баронесса Вревская, сестра Б. А. Врев ского

Трубецкой Иван Иванович, князь, майор гусарского принца Оранского полка

Туманский Владимир Иванович, выпускник Благородного пансиона при Царскосельском лицее 1828 г., юнкер, потом корнет гусарского принца Оранского полка

Туманский Иван Яковлевич, двоюродный брат Ф. А. Туманского

Туманский Федор Антонович (1799–1853), поэт, чиновник Департамента разных податей и сборов (1825–1827), с 1828 г. чиновник канцелярии полномочного представителя диванов княжеств Молдавии и Валахии, троюродный брат Вл. И. Туманского

Туркул, польский помещик

Уваров Сергей Ильич, корнет (с 1829) гусарского принца Оранского полка

Ушаков Александр Степанович (1800–1856, похоронен на погосте Борисоглебском на Ржище Ржевского у.), ротмистр (с 1826), командир эскадрона гусарского принца Оранского полка,

полковник, дальний родственник Вульфа

Ушаков Петр Степанович (1801–1874), брат А. С. Ушакова, штабс-ротмистр (с 1829) гусарского принца Оранского полка

Ушакова Екатерина Николаевна (1802–1872), московская знакомая Пушкина, с 1837 г. замужем за Д. Н. Наумовым

Ушаковы

Федоров Борис Михайлович (1798–1875), писатель, журналист

Фил, хозяйка трактира в Сквире

Филипп, см. Людовик Филипп

Франциус Готтлиб Герман (1801–1832), друг Вульфа по Дерптскому университету, организатор “союза семи”

Фрейтаг, офицер Ахтырского гусарского полка

Фридерихс, полковник

Фридрих II (1712–1768), прусский король с 1740 г., полководец

Фуке Фридрих де ла Мот (1777–1843), немецкий писатель

Хвостов

Хлопицкий Иозеф Гжегож (Józef Chłopicki; 1771–1854), польский генерал-лейтенант и диктатор во время Польского восстания 1830 г., дивизионный генерал русской службы

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860), поэт, публицист, с 1825 г. поручик гусарского принца Оранского полка, адъютант генерал-лейтенанта Мадатова (1829)

Чарторижский Адам, князь (1770–1861), глава польского Национального правительства в период восстания 1830–1831 гг.

Челищев Е., отставной подполковник гусарского принца Оранского полка

Челищевы, Е. Челищев и его жена Эмилия (урожд. Потоцкая, в первом браке графиня Калиновская), владелица имения Ружин (с 1806)

Черинг, уездный землемер

Черинг Гонорина, жена Черинга (“моя краса”)

Шахматов Алексей Александрович (1797–1868), в 1828–1829 гг. коллежский асессор, начальник IV отделения Департамента разных податей и сборов

Шахматова Варвара Петровна (урожд. Столыпина; † 1865), жена А. А. Шахматова

Шаховская, княжна

Шаховской Александр Александрович, князь (1777–1846),

драматург

Шевырев Степан Петрович (1806–1864), писатель, историк литературы

Шедевер, см. Дешедевер

Шекспир Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт

Шениг Николай Игнатьевич (1797–1860), офицер Генерального штаба, с 1829 г. отставной гвардии полковник, помещик Псковской губернии, муж Софьи Николаевны Сердобиной

Шепелев Петр Николаевич, товарищ Н. М. Языкова и Вульфа по Дерптскому университету

Шепелев, брат П. Н. Шепелева

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург

Ширяев Александр Сергеевич († 1841), московский книгопродавец и издатель

Шоберлехнер Софья Филипповна (1807–1864), примадонна Итальянской оперы

Шрекк Иоганн Матиас (1733–1808), историк

Штейнбок (Штенбок), см. Стенбок

Щастный Василий Николаевич (1802 – после 1854), поэт, сотрудник изданий А. А. Дельвига

Щенецкий, см. Кшенецкий

Элоиза (1101–1164), возлюбленная Пьера Абеляра, о взаимоотношениях с которой он поведал в “Истории моих бедствий”

Энгельгардт Василий Васильевич (1785–1837), отставной полковник

Энгельгардт Павел Иванович (1774–1812), герой Отечественной вой ны

Энгельсон

Эристов (Эристави) Дмитрий Алексеевич, князь (1797–1858), лицеист второго выпуска, литератор, в 1826–1833 гг. чиновник II Отделения его императорского величества канцелярии департамента Министерства юстиции

Языков Александр Михайлович (1799–1874), брат Н. М. Языкова

Языков Николай Михайлович (1803–1846), поэт, друг Вульфа по Дерптскому университету

Якоби Александр Осипович, корнет (с 1828) гусарского принца Оранского полка

Яковлев Михаил Лукьянович (1798–1868), лицейский товарищ А. С. Пушкина и А. А. Дельвига, литератор и музыкант

Alfieri Vittorio (1749–1803), граф, итальянский поэт
Ancelot, см. Ансело
Andrieu (Andrieux), ресторан в Петербурге между Гороховой и Морской улицами, в доме Клоссена

Bayer, см. Байер

Chovot, Шимон Ховот, владелец (до 1830?) ресторана и гостиницы “Hotel d’Europe” во дворце Борхов в Варшаве (xVIII в.)

Delavigne (de la Vigne; 1793–1843), французский поэт и драматург
Drouineau Gustave (1798–1878), французский романист и драматург
Dumont Pierre Etienne Louis (1759–1829), французский публицист
Dupuis Charles François (1742–1809), французский просветитель

Janin Jules (1804–1874), французский писатель, критик, журналист
Josephine (1763–1814), французская императрица, первая жена Наполеона I
Jullien, см. Жюльен
Jurkowska Ewa, родственница Гонорины Черинг

Manzoni Alexandr, граф (1785–1873), итальянский поэт и прозаик
Mare, граф (?)
Millas, певица Итальянской оперы
Millot Claude Frangois Xavier (1726–1785), французский историк
Mollien Nicolas Frangois (1758–1850), государственный деятель и писатель
Montesquieu Charles Loui, барон (1689–1755), французский писатель, философ

Napoleon, см. Наполеон

Petersen, см. Петерсен К. И.
Pomorsky, деятель Польского восстания

Rousseau, см. Руссо

Royou Jacques-Corentin (1745–1828)

Scott, см. Скотт

Stendhal, см. Стендаль

Sue Eugène (наст. имя Мари Жозеф; 1804–1857), французский писатель

Suger (1081–1151), аббат Saint-Denis, советник при Людовике VI, первый министр при Людовике VIII; автор ряда сочинений на исторические темы

Tilly Jacques Pierre Alexandre, граф (1764–1816), французский публицист

Valentini Georg Wilhelm, барон (1775–1834), генерал-лейтенант прусской службы, автор военных сочинений

Vidocq François Eugène (1775–1857), авантюрист и уголовный преступник, впоследствии организатор парижской сыскной полиции

Wessels, см. Вессельс

Иллюстрации



Алексей Николаевич Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1830.



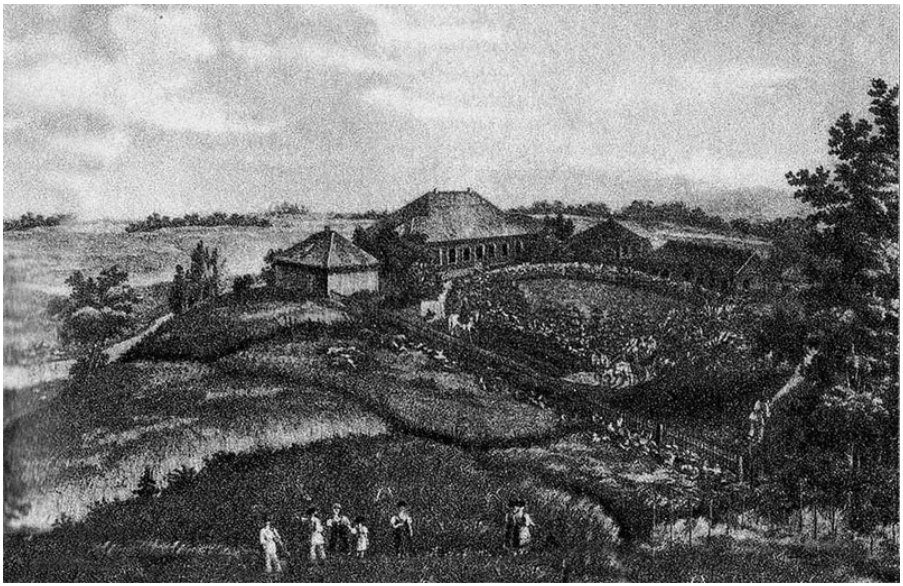
Алексей Николаевич Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1835.



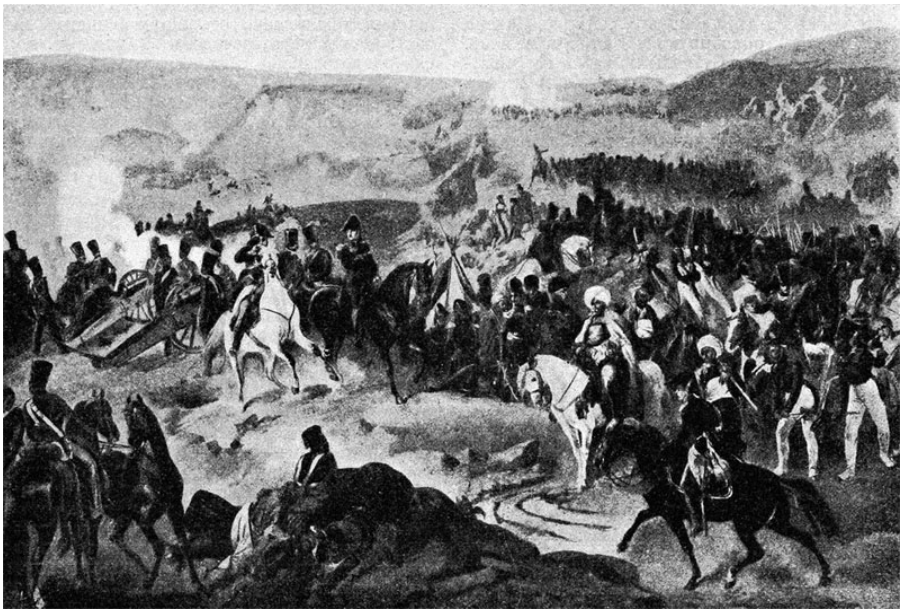
Алексей Николаевич Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1833.



Тригорское. Рисунок А. С. Пушкина.



Михайловское. Рисунок И. С. Иванова, 1837. Литография П. А. Александрова, 1837.



А. Е. Коцебу. Бой под Кулевчей 30 мая 1829 г. (в момент взрыва зарядных фур). Гравюра.



Войцех Коссак. Ноябрьская ночь. Гравюра (бой между польскими повстанцами и русскими кирасирами в ночь с 29 на 30 ноября 1830 г.).



Алексей Николаевич Вульф. Акварель Н. Шаде, 1832–1833.



Алексей Николаевич Вульф. Акварель А. И. Григорьева, 1828.



Алексей Николаевич Вульф. А. А. Багаев. Масло, 1841.



Алексей Николаевич Вульф. Фотография, 1863.



Прасковья Александровна Осипова. Рисунок А. С. Пушкина, 1824.



Прасковья Александровна Осипова. Рисунок Н. И. Фризенгоф, 1841.



Прасковья Александровна Осипова



Прасковья Александровна Осипова



Анна Николаевна Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1825.



Анна Николаевна Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1824.



Анна Николаевна Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1824.



Анна Николаевна Вульф. Миниатюра Э. Мартена, 1830-е.



Евпраксия Николаевна Вульф (Вревская). А. Багаев, 1841.



Евпраксия Николаевна Вульф (Вревская). Неизвестный художник.



Евпраксия Николаевна Вульф (Вревская). Рисунок А. С. Пушкина, 1826.



Александра Ивановна Осипова. Рисунок А. С. Пушкина, 1826.



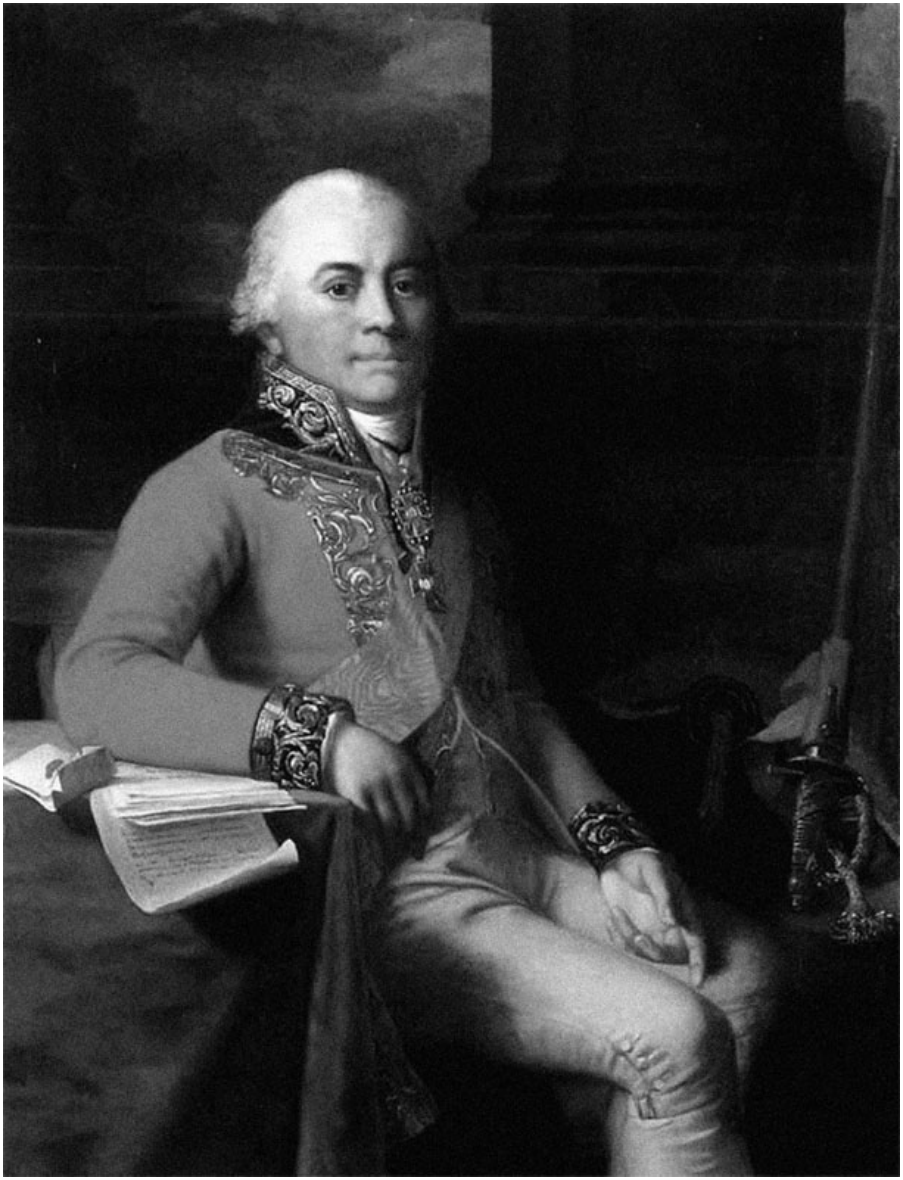
Александра Ивановна Осипова. Рисунок А. С. Пушкина, 1824.



Мария Ивановна Осипова. Фотография. Конец 1850-х – начало 1860-х.



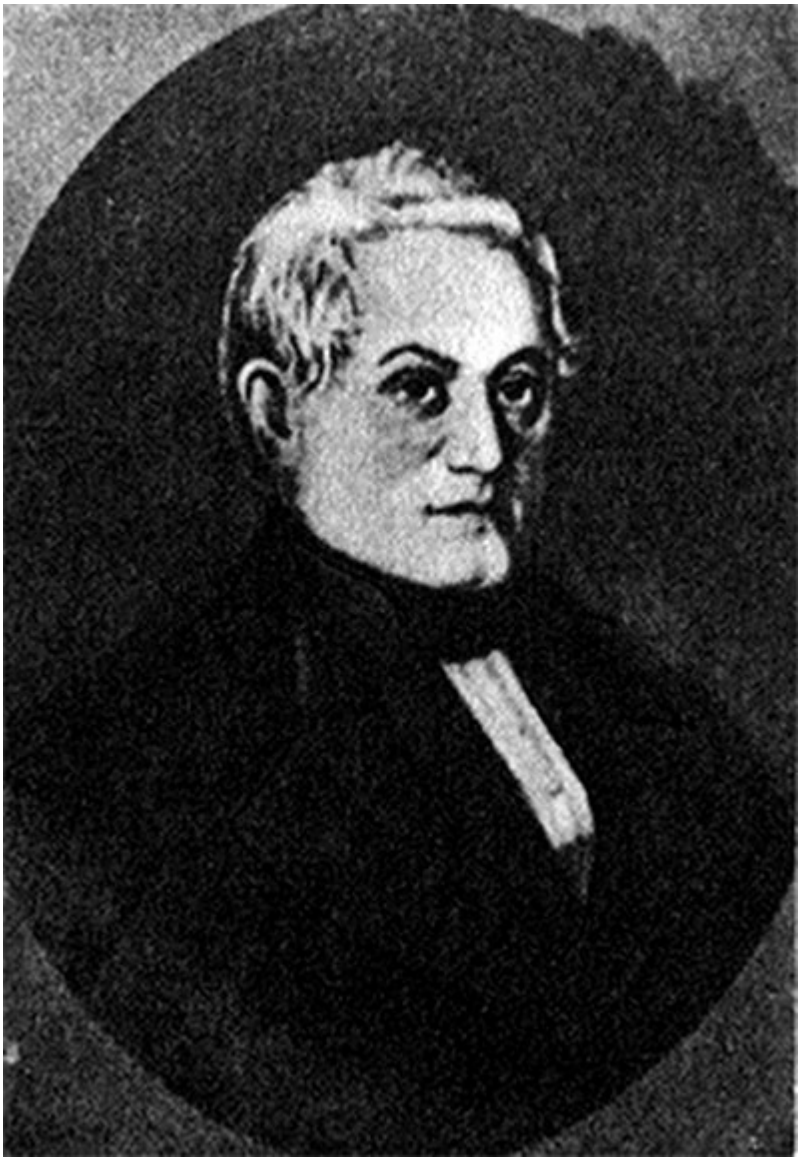
Мария Ивановна Осипова. Рисунок Н. И. Фризенгоф, 1841.



Михаил Никитич Муравьев. Гравюра Н. Уткина с портрета Ж.-Л. Монье, 1800-е.



Иван Петрович Вульф. Рисунок О. А. Кипренского, 1811.



Павел Иванович Понафидин. Неизвестный художник.



Усадьба Берново.



И. Левитан. “У омута” (с. Берново).



Иван Иванович Вульф. Г. Плотников, 1843.



Надежда Гавриловна Вульф. Неизвестный художник.



Анна Ивановна Трувеллер. Неизвестный художник. Акварель, 1834–1835.



Екатерина Васильевна Вельяшева (Жандр). Рисунок А. С. Пушкина, 1829.



Екатерина Васильевна Вельяшева (Жандр). Фотография, 1850-е (?).



Екатерина Васильевна Вельяшева. Рисунок А. С. Пушкина, 1829.



Анна Петровна Керн. А. Багаев, 1840.



Анна Петровна Керн. Рисунок А. С. Пушкина, 1829.



Анна Петровна Керн. Рисунок А. С. Пушкина, 1829.



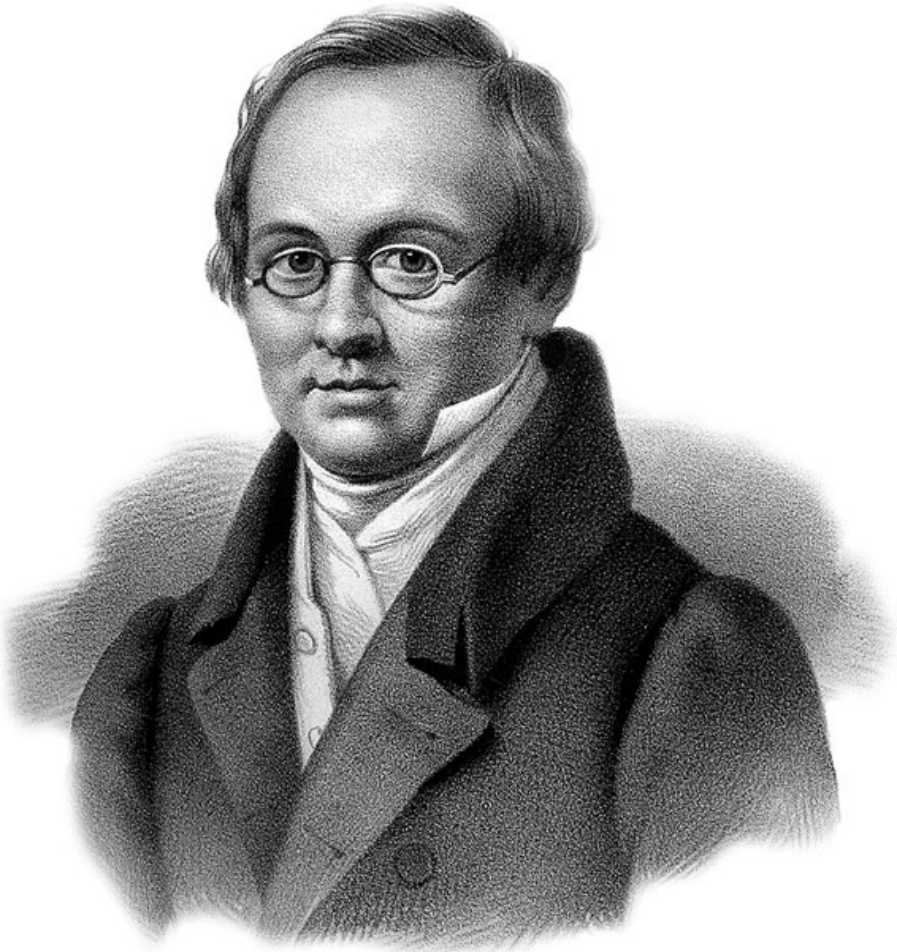
Анна Петровна Керн. Силуэт работы неизвестного художника, 1825.



Анна Петровна Керн. Рисунок А. С. Пушкина, 1830.



Николай Михайлович Языков. Литография с рисунка А. Хрипкова, 1829.



Антон Антонович Дельвиг. Рисунок В. П. Лангера, 1830.



Софья Михайловна Дельвиг. Акварель К. Шлезингера, 1827.



Софья Михайловна Боратынская. Неизвестный художник, 1850.



Александр Сергеевич Пушкин. Рисунок И.-Е. Вивьена, 1826.



Лев Сергеевич Пушкин. Рисунок А. О. Орловского, 1820-е.



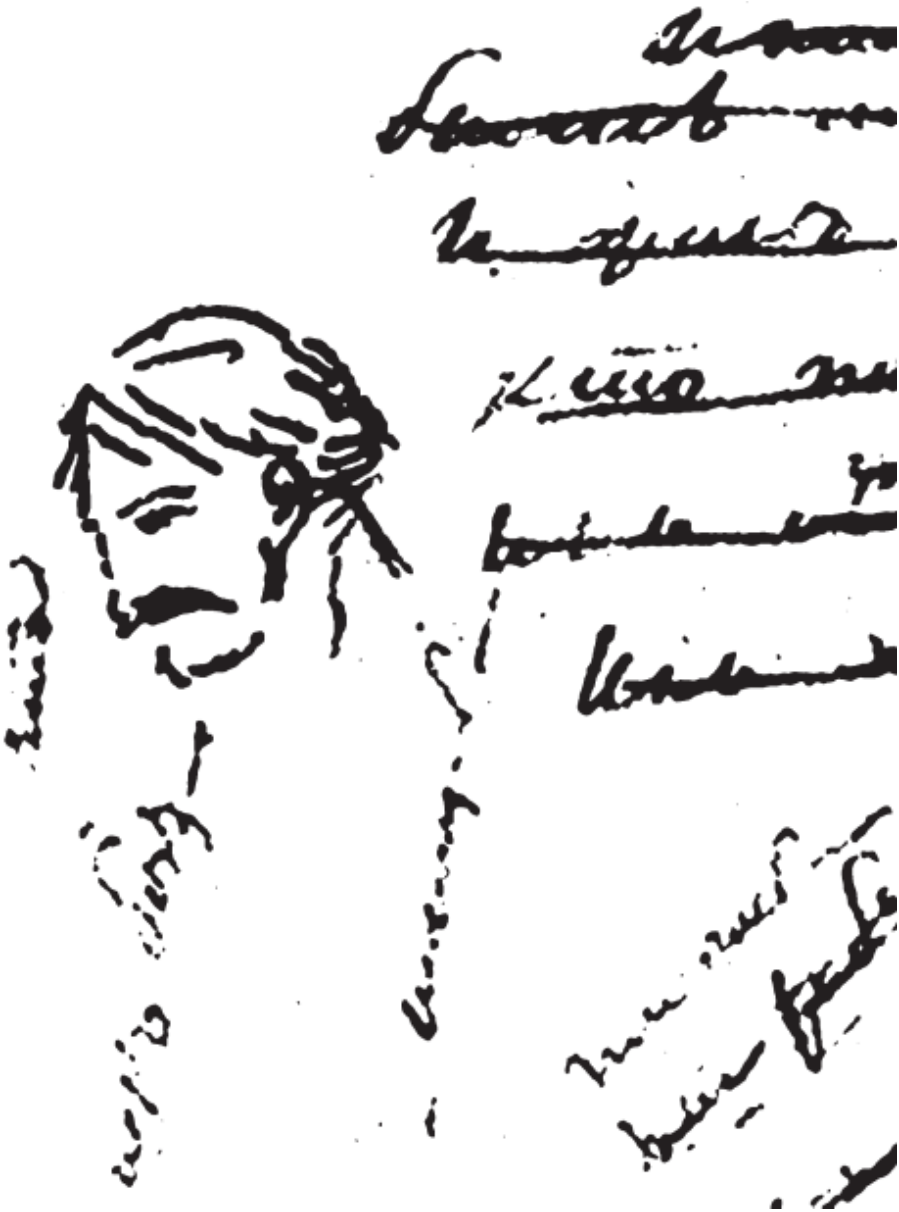
Ольга Сергеевна Павлищева. Неизвестный художник, 1833.



Николай Иванович Павлищев. Литография А. Покровского, 1843.



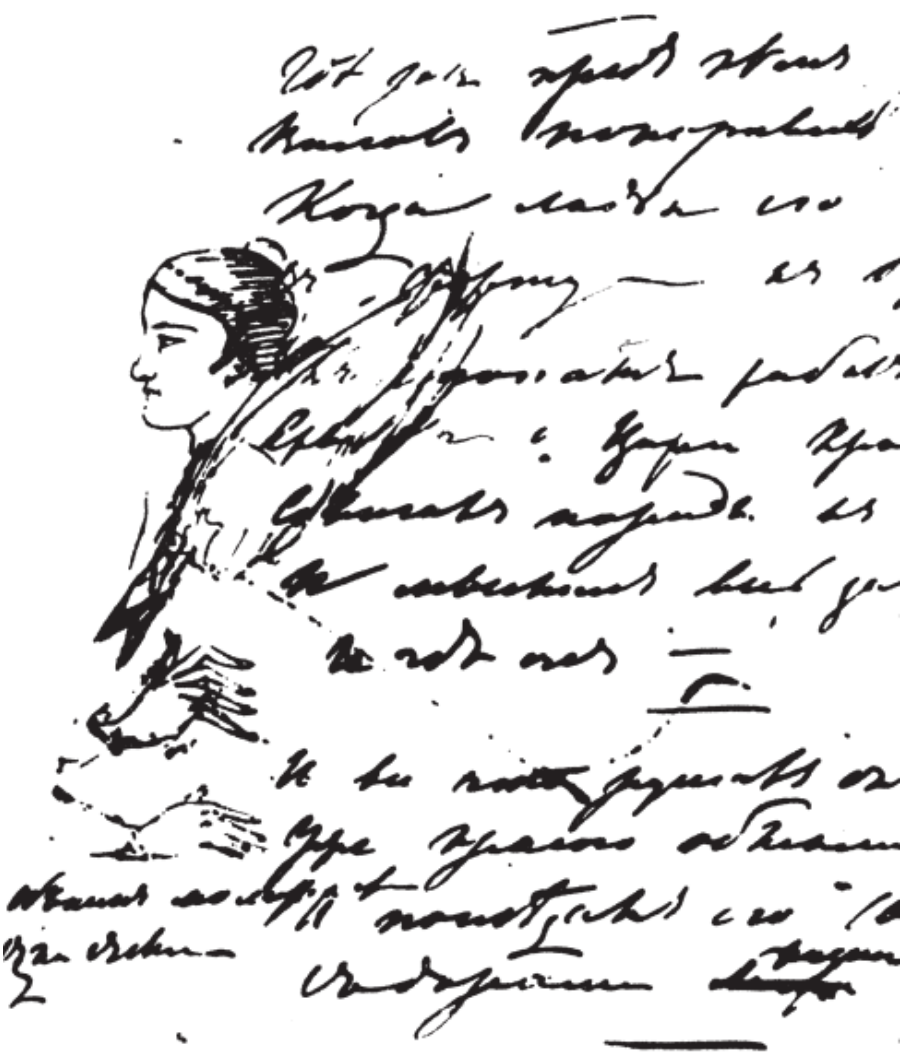
Александр Сергеевич Пушкин. Автопортрет, 1829.



Алексей Николаевич Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1828.

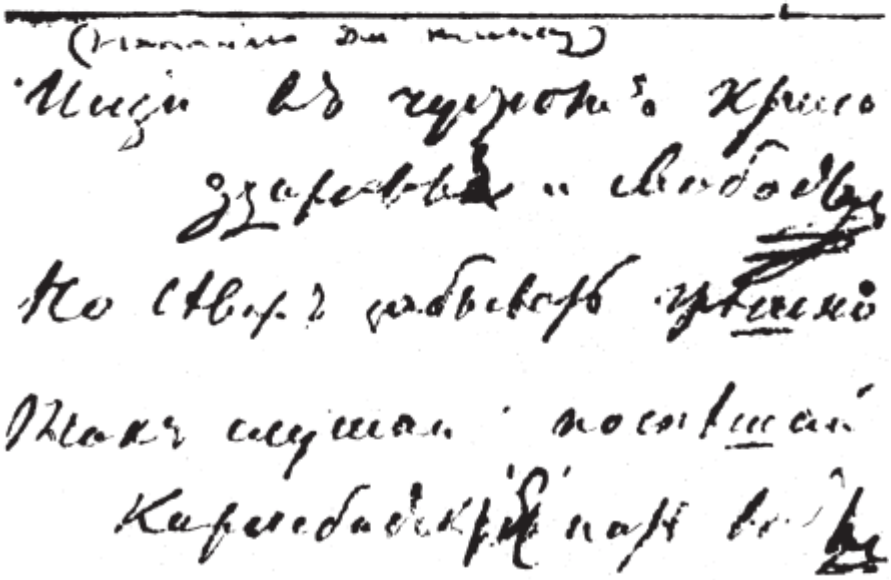


Рисунки А. С. Пушкина, 1828.



Анна Николаевна Вульф. Рисунок А. С. Пушкина, 1824.





Александр Сергеевич Пушкин. Автопортрет, 1828.



Лев Сергеевич Пушкин. Рисунок А. С. Пушкина, 1829.



Екатерина Васильевна Вельяшева. Рисунок А. С. Пушкина, 1829.

notes

Примечания

1

См. подробнее: Семевский Михаил. *Прогулка в Тригорское: Биографические исследования и заметки о Пушкине* / Вступит. статья, составление и примеч. С. В. Березкиной. СПб., 2008. С. 66–71.

2

Кашкин Н. Н. *Родословные разведки*. СПб., 1912. Т. 1, глава “Род Вындомских”.

3

Данная из Государственной камер-коллегии камер-юнкеру Петру Вульфу на описанное за долги недвижимое имущество стольника Алексея Калитина // Государственный архив Тверской области (далее: ГАТО). Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 2305.

4

См. подробнее: Иванов И. А. *О пребывании А. С. Пушкина в Тверской губернии* // Тверской венок Пушкину. М., 1989. С. 71–72

5

Керн (Маркова-Виноградская) А. П. *Воспоминания о Пушкине*. М., 1987. С. 366.

Бакунин А. М. *Поэмы и проза* / Изд. подгот. Л. Г. Агамалян, М. В. Строгановым. Тверь, 2006.

Вершинский А. Н. *В вотчине Вульфов в первой половине XIX века* // В наши дни (Калинин). 1936. № 2.

8

Наши сведения об отце А. Н. Вульфа Николае Ивановиче ограничиваются данными “Аттестата” о службе, где сказано: “Дан сей из учрежденной при Государственном Ассигнационном банке конторы о покупке металлов титулярному советнику Николаю Вульфу в том, что он в службу его императорского величества вступил из дворян лейб-гвардии в Преображенский полк 1783 года ноября 29-го, из оного переведен в Семеновской полк сержантом 1784 марта 4-го, прапорщиком 1793 генваря 1-го, подпоручиком 1795-го генваря 1-го, поручиком 1797 апреля 16-го, уволен к статским делам титулярным советником того ж года декабря 31-го; а в сей конторе находясь с 27-го февраля 1798-го года кассиром, порученные ему дела исправлял с отличным прилежанием, редкостным усердием и успехом, вел себя весьма похвально; в рассуждение чего по рекомендации конторы за отличность правлением Государственного Ассигнационного банка прошлого 1798 года представлен Правительствующему Сенату к награждению следующим чином; ныне же по прошению его от дел конторы уволен. При сем случае контора долгом поставила вторично представить начальству с изъяснением отличной его службы о награждении чином, апреля 11-го дня 1799 года”. Далее следуют подписи и печать конторы (ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 713. Л. 59–59 об.). Чин коллежского асессора Н. И. Вульф получил 30 марта 1800 года (там же. Л. 60).

9

Керн (Маркова-Виноградская) А. П. *Воспоминания о Пушкине*. С. 148–149.

Бурченкова Р. В. *Комментарии к фрагментам личного дела Алексея Вульфа, дерптского студента* 1822–1825 *гг.* // Михайловская пушкиниана. М., 2000. Вып. 6. С. 76.

11

Фамильные бумаги Пушкиных-Ганнибалов. СПб., 1993. Т. 1. Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к их дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828–1835. С. 33.

12

Там же. С. 31 и след., 69–70.

13

Пушкин. *Полное собрание сочинений*: В 16 т. [Л.], 1937. Т. XIII. С. 538, перевод с франц.

14

С. А. Фессалоницкий (*Пушкин в кругу старицких дворян* // Тверской венок Пушкину. С. 82–85, 102–107) оспаривает какое бы то ни было сближение Пушкина и Вульфа. Как любая крайность это не верно.

15

Семевский Михаил. *Прогулка в Тригорское*. С. 81.

16

Там же. С. 395–396.

17

См. письма Пушкина к А. П. Керн от 14 августа, второй половины августа и 28 августа 1825 года.

18

Ср.: Махов А. Е. *“Опасение верности”: Алексей Николаевич Вульф на rendez-vouz* // Апокриф: Культурологический журнал. М., [1994]. С. 77–79.

19

Пушкин. *Полное собрание сочинений*. Т. XIV. С. 22.

20

Языков Н. М. *Полное собрание стихотворений*. М.; Л., 1964. С. 633. В послании речь идет о московских журналах, предлагать которым свои стихи Языков либо боится (“Московский вестник”, который издает М. П. Погодин, “выступает в чине строгом”), либо не хочет (“Атеней” сравнивается с петербургским журналом “Благонамеренный”, о котором Языков писал в письме к брату от 3 февраля 1824 года, что “он пуст, как безвоздушное пространство”).

21

Семевский Михаил. *Прогулка в Тригорское*. С. 250, 262, 410–411.

Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1915. Вып. XXI–XXII. С. 395.

23

Семевский Михаил. *Прогулка в Тригорское*. С. 264.

Пушкин и его современники. Вып. XXI–XXII. С. 395–396.

25

См. это предположение: *Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина*: В 4 т. / Сост. Н. А. Тархова. Т. IV: 1833–1837. М., 1999. С. 425.

26

Об этой несостоявшейся дуэли см.: *А. С. Пушкин в воспоминаниях современников*: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 335–338, 348–351, 508–510.

Пушкин и его современники. Вып. XXI–XXII. С. VI.

Следует заметить, что в истории русского изобразительного искусства сведения об авторах обоих портретов отсутствуют. Об Александре Ивановиче Григорьеве (1794–1852) известно, что он в 1803–1817 годах учился в Академии художеств, которую окончил с аттестатом 1-й степени (*А. С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины 19 века*. Л., 1985. Страницы не нумерованы. Аннотация к № 94. А. Н. Вульф. 1828). О Т. Плотникове существует недокументированное указание, что он был крепостным художником (http://izi.travel/nl/7a25-muzey-a-s-pushkina-bernovo/ru). Отсутствует информация и о Н. Шаде, авторе акварельного портрета Вульфа (1832–1833), на котором он изображен в гусарской форме. Очевидно, это объясняется тем, что Вульфы не были настолько богаты, чтобы заказывать свои портреты известным и модным живописцам.

Вяземский П. А. *Сочинения*: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 70.

30

Семевский Михаил. *Прогулка в Тригорское*. С. 300.

31

См. об этом: Ильин М. А. *Бунт крепостных в селе Берново в 1827 году //* Вопросы биографии и творчества А. С. Пушкина. Калинин, 1979.

32

О скупости П. А. Осиповой в последние годы ее жизни см. выразительные свидетельства в переписке ее дочерей: *Пушкин и его современники*. Вып. XXI–XXII. С. 330, 337, 350 и др.

33

Семевский Михаил. *Прогулка в Тригорское*. С. 299. Здесь же (с. 299–300) сводка данных об этом конфликте.

34

Документы, написанные М. Е. Салтыковым-Щедриным в защиту крестьян в период его службы тверским вице-губернатором (1860–1862 гг.) / Публикация В. Д. Чернышова // Из истории Калининской области: Статьи и документы. Калинин, 1960. С. 133.

35

Цит. по: Журавлев Н. В. *М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери. 1860–1862.* Калинин, 1961. С. 125.

36

Документы, написанные М. Е. Салтыковым-Щедриным в защиту крестьян в период его службы тверским вице-губернатором (1860–1862 гг.). С. 139.

Журавлев Н. В. *М. Е. Салтыков-Щедрин в Твери*. С. 125.

38

Было: Откинув посторонние причины, придающие нам, как русским…

39

Было: из истории Мазепы: заговор Кочубея…

Было: очищает Пелопоннес.

41

Было: Последствия нашим дружественным…

42

На полях против этого описания – карандашный рисунок залы. – Ред.

На полях вписано: Атрешьевы.

На полях: “Пустая фраза”.

На полях: “Пустая фраза”.

Было: В своей странности.

Стихи Баратынского:

И сладострастных осязаний
Живой язык употребил. (*Прим. А. Н. Вульфа.*)[77]

На полях приписано: Кагадеева.

49

Во время стычки с казаками и поляками ранено у нас в эскадроне 3 рядовых и юнкер Мешаев, но легко. (*Прим. А. Н. Вульфа.*)

50

Дивизия конно-егерская была так расстроена, что из 4 полков едва можно было составить 1 бригаду, годную в дело. (*Прим. А. Н. Вульфа.*)

Этим выражением я не совсем еще доволен: оно, кажется, неточно. Я помню, как Пушкин в 28-м году искал оного. Мы сбивались на какое-то другое слово, которого теперь не помню[11]. (*Прим. А. Н. Вульфа.*)

В список включены только те имена, которые встречаются в тексте дневника и в записной книжке Вульфа.